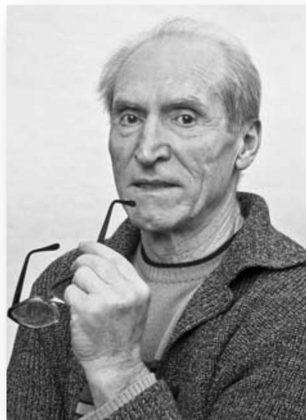


ОЛЕГ ЖДАН

Белорусцы

Повесть в трех сюжетах

Скандал в Великом посольстве

Дневник Петра Вежевича[1], стольника и подкомория мстиславского, записанный нынешними словами

В попонах с позолотой, в зеленых бархатных колпаках. Под шкурами леопардов, на белом медведе.

Хорошо, славно начиналось наше посольство. После православного Рождества повалил снег и отяжелевшие леса замерли, словно боясь, что осыплется, рухнет с ветвей эта чистейшая красота. Правда, лошадям было нелегко идти по такому снегу, но это куда лучше, чем тащить груженые сани по заледеневшей земле. Да и мужицкие кони уже пробили дорогу от деревни к деревне. Иной всадник вдруг пускался вскачь, и тогда снежная пыль долго серебрилась следом.

Морозец был знатный, мужики время от времени выскакивали из саней и с криком валяли друг друга в сугробах, чтобы погреться. Да и не только мужики — также и молодые шляхтичи, а порой и пан Песочинский с Сапегой. Они тоже подталкивали друг друга, покрикивали, словно освободились на время от своей родовитости и высоких званий. Приятно глядеть на больших панов, когда они веселятся.

Мы с Модаленским, мстиславским войским, и Цехановецким, подстольничим, тоже не сидели сиднем, а самым непосредственным образом участвовали в этих дорожных забавах. Больше всего попадало Цехановецкому — рослому, но неуклюжему: если падал, то всегда носом в снег. Впрочем, был необидчив, сам же и начинал всякий раз.

Сперва, из Вильни до Смоленска, мы ехали своей дорогой, своим обозом. Образовался обоз немалый: впереди построились пять лошадей его милости пана Сапеги, богато убранные, в попонах с позолотой, в зеленых бархатных колпаках. Эти лошади назначались как подарки московскому государю и его близким, я тоже приобрел трех хороших коней для той же цели, — слышно было, царь обожает коней, но была и еще причина, о ней я скажу позже. Затем — двадцать шесть молодых шляхтичей тоже на хороших конях, более полусотни венгерских драгун, и наконец десяток возов с провиантом. Ненадолго останавливались в Толочине и Черее, где у пана Сапеги были дворцы и земли, затем взяли направление на Смоленск.

---

[1] Автор пользовался Дневниками Петра Вежевича в переводе на русский язык доктора филологических наук И. В. Саверченко.

В Москву мы направлялись для подписания вечного мира после Смоленской войны, и предстояло быть мне писарем, секретарем, а если потребуется, то и толмачем. Впрочем, почти все неплохо говорили по-русски, и толмач мог потребоваться только при составлении документов. Возглавлял посольство от Польской Короны пан Александр Песочинский, от Великого Княжества Литовского — пан Казимир Сапега. Шел 1635 год.

Красиво двигался наш обоз! В Смоленске добавился обоз пана Песочинского, то есть еще сто пятьдесят верховых коней, причем многие шли под шкурами леопардов, а те, которые в хомутах, были украшены лисьими хвостами. Стражники шли с длинными красивыми ружьями, а за ними ехал сам Александр Песочинский в санях в виде огромного белого медведя. Посол сидел в красной бархатной шубе, подшитой соболями, два бравых холопа в овчинных кожушках-сибирках стояли сзади на приступке. Затем опять сани с мужиками, пара запасных турецких коней под зелеными попонами для посла, десятки саней с продовольствием для людей и кормом для лошадей, хотя придорожное население обязано кормить посольство.

Не без волнения подъезжали мы к речке Поляновке, где полгода назад было заключено перемирие. Волнение было оттого, что, во-первых, не так давно закончилась тяжелая война, и кто знает, что думает вчерашний неприятель; каждый народ хорош и плох по-своему. Поляки, к примеру, не сильно похожи на нас, белорусцев, а мы на тех, кто живет ближе к Москве. Во-вторых, работа послов вообще опасная. Не раз слышали мы, что часто зазря попадают они в узилище. Двадцать лет назад пропали в Москве послы Священной Римской империи Григорий Торн и Иосиф Грегорович — ни слуху ни духу. Грешна и Корона: не так уж давно польские люди замучили до смерти казацкого посла в Киеве.

Могут и просто как бы ненароком обидеть, а то и оскорбить послов ни за что ни про что.

Вот и первый случай убедиться в этом: за речкой по уговору должны были нас встретить московские послы со своей свитой, — предполагалось знакомство и взаимное приветствие, — но ни одного человека не виделось впереди, только снега, снега да леса слева и справа. Разве можно вообразить, что это к нам, в Великое Княжество, едут московские послы, а мы и в ус не дуем?

Волновались мы оттого, что не сильно выгодно было Поляновское перемирие для Москвы, а значит, неприятен и договор, который везли: границы останутся прежними, как семнадцать лет назад, по Деулинскому перемирию, да и двадцать тысяч, что должна выплатить царская казна — не радость, а стыд немалый. Недаром московиты просили не говорить вслух про эти тысячи... Не все и наш слух ласкало: должны убрать войско с русских земель, король Владислав окончательно отказывается от русского трона, город Серпейск уходит к Руси, католики не получат права строить костелы, не разрешено покупать русские вотчины...

Паны Александр Песочинский и Казимир Сапега остановились на другом берегу Поляновки для размышления о том, что делать, а следом, конечно, остановился и весь обоз. Я, писарь посольства, по прозванью Петр, по роду Вежевич, стольник и подкоморий мстиславский, ехал следом за ними, всегда готовый выпрыгнуть из саней и бежать к ним слушать, а затем и записать важное слово. Но никто не позвал меня. Вместе со мной в карете ехали мои земляки, Модаленский и Цехановецкий. Конечно, у каждого была своя карета, но втроем, что ни говори, веселее да и теплее — уж больно морозная стояла зима. По этой же причине в одной карете ехали Песочинский и Сапе-

га. Впрочем, объединились они только сегодня, — а прежде ехали даже по разным дорогам со своими обозами — иначе не прокормиться: после войны деревни Смоленщины обезлюдели и обнищали, *вотчины побиты, а люди наги и босаты разбрелись безвестно*, как объясняли оставшиеся мужики и бабы. *«Насилства и великие обиды чинили нам литовские люди. Много помирает голодной смертью безконны и беззапасы». «Гулящих людей развелось, не хотят пахать хлеб, валяются по кабакам. Я бы и сам, кабы не дети, давно сволокся на Дон»,* — говорил высокий, по виду вконец отощавший небожка, у которого мы спросили дорогу.

Пан Казимир Сапега свой обоз и вовсе разделил на две части, так что до Поляновки шли аж тремя колоннами.

Наверно, час простояли на берегу в ожидании послов Москвы. Наконец увидели двух всадников. Они, однако, приближаться не стали, развернулись и поскакали обратно. Ну а великие послы решили двигаться в Вязьму. Скоро с московской стороны опять появились верховые — казаки, числом не менее сорока. Эти прискакали, повертелись у посольской кареты и тоже помчались обратно.

У города остановились и снова вернулись, но не одни, а с царскими посланниками, приставами Малютой, Филоном и сотней стрельцов. Малюта вышел из кареты и стал ждать, когда выйдут для переговоров пан Сапега и Песочинский. Но вышел к нему лишь Модаленский.

— Почему не встретили нас на границе? — спросил он. — Вы понизили нашу честь! Послы не выйдут к вам из карет!

Один из приставов — маленький, злой с виду, позже мы узнали, что зовут его Филон, тотчас ответил:

— Тогда мы ни о чем говорить не станем!

— Станете! — повысил голос Модаленский. — Снимайте шапки и подойдите к карете послов!

— Нет, — тотчас заявил Филон, — это не подходит для царского величества Федора Михайловича! Мы так некрасиво не поступим!

И сразу отправились к своим каретам. Мы ждали молча, а Филон с Малютой о чем-то говорили и спорили. Наконец что-то решили: Филон и еще два посланника все же сняли шапки и приблизились к карете Песочинского и Сапеги. Тогда, не торопясь, покряхтывая, как бы нехотя, выбрались к ним и послы.

— От великого государя, царя и великого князя Михаила Федоровича, всея Руси самодержца и многих государств владетеля, — бормотал он малую царскую титлу, — посланы встречать вас, великих послов наияснейшего Владислава Четвертого, Божией милостью короля польского, великого князя литовского и иных, и корм вам дать от его царского величества.

Голос у Филона оказался тихий и неразборчивый. А пан Песочинский ответил ему внятно и внушительно:

— Мы, послы наияснейшего Владислава Четвертого, Божией милостью короля польского, великого князя литовского... — заговорил он, не глядя на посланников, — ...к великому князю Михаилу Федоровичу, всея Руси самодержцу и многих господарств обладателю, — о великих делах... — тут он запнулся, изменился в лице и уперся взглядом в Филона. — Вы нас обесчестили, не встретили нас! Но мы, невзирая на вашу глупость и гордыню, приехали!

Сказать, что Филон и Малюта приняли такие слова равнодушно, нельзя. Все ж таки послы. А если так, то и принимать надо, хочешь не хочешь, как следует. Короче, ночлег нам был приготовлен, хотя и в черных избах, а также и ужин, и корм для лошадей.

Панов Песочинского и Сапегу поместили в разных домах, но похолки бегали туда-сюда и скоро донесли, что провианта у Песочинского маловато. Весть эта будто даже обрадовала пана Казимира, он тотчас кликнул своего стольника и приказал послать пану Песочинскому такой ужин, какого хватило бы и на всю его челядь. Песочинский ужин принял, но, кажется, немного рассердился от такой щедрости, однако промолчал. А вот стольник его, не позаботившийся как следует о пропитании, наверно, получил то, что заслужил.

Утром пан Песочинский сердито заявил Малюте и Филону:

— Обойдусь без вашего корма! Скажите только, где и что можно купить!

Но приставы промолчали. Позже мы уразумели, почему: во время войны придорожные деревни так оскудели, что и денег им не надо — нечего продать. Сами они даже за свои, за царские деньги, ничего не могут купить.

Перед Вязьмой местные люди встретили с попом на дороге, пали на колени, запели: «Умилися на наши слезы...» Пан Песочинский нахмурился, отвернулся, а пан Сапега сыпнул мне горсть талеров, чтобы раздал. Я их отдал попу-печальнику, пускай делит на всех.

— Удивляюсь! — поддержал Песочинского пан Казимир Сапега. — Как вы обращаетесь с нами? В прежние времена великих послов встречали у вас с честью и уважением! Мой отец, Лев Сапега, тоже посещал вашего государя как посол. И встречали его как должно!

И правда, Великое посольство Льва Сапеги встречали приставы с конвоем в несколько тысяч, а за полмили до Смоленска навстречу выехал воевода с тремя тысячами и первый приветствовал послов.

Тут опять Филон и Малюта клятвенно заверили, что как только посольство окажется в Москве, будет всего вдоволь.

Несмотря на такие заверения, пан Песочинский сильно сердился. А вот Казимир Сапега был почти спокоен, даже приказал принести вина. Налил полный кубок и предложил Филону. Очень заинтересовался Филон. «Что это за вино?» — спросил. «Венгерское», — ответил пан Казимир. Филон попробовал и как бы задумался: вкусно или нет? Еще попробовал. А потом отпил половину и протянул кубок Малюте. Малюта тоже пробовал осторожно, будто опасаясь — не отравлено ли?

— Чего вы боитесь? — спросил пан Казимир.

— У нас только хлебную горелку пьют до дна, а у вас сильно крепкое питье.

— Вы думаете, наше вино крепче вашей горелки?

— Само собой. В горле сидит. Пошли-ка, Малюта, домой, а то скоро петухами закукарекаем. Я знаю, у них — что у ляхов, что у литвы — вино страшней нашей горелки. Розум у человека отнимает.

Пан Казимир рассмеялся, и даже Песочинский заулыбался, но все равно Малюта и Филон торопливо ушли.

День прошел в пререканиях по поводу малого довольствия и корма для лошадей. А поскольку на всех не хватало, пан Сапега приказал сено купить. Сено деревенские мужики все же заготовили впрок. Опять наши стольники ссорились с Филоном, но вечером он явился снова.

— Можно мне выпить вашего вина за тебя, великого посла? — спросил Филон.

Пан Казимир Сапега немного удивился такой просьбе, но тут же приказал принести вина и наполнить кубки.

— Можно, — отвечал он. — Заранее благодарю тебя и принимаю твои слова.

Филон низко поклонился и с явным удовольствием, даже наслаждением выпил, пожелав пану Казимиру успехов в деле служения Речи Посполитой

и Великому Княжеству Литовскому, доброго здоровья, счастливого возвращения в свое Отечество и заслуженной награды короля.

На этот раз выпил до дна, до последней капли и даже подержал кубок опрокинутым в рот. Наслаждение его было столь явным, что пан Казимир приказал налить ему еще раз. Слуга тотчас подошел с большим кувшином, но кубок Филона наполнил лишь наполовину. Это Филона обидело.

— Криво делаешь! — сказал он.

Однако слуга отошел и недоброжелательно глядел на него.

— Государь, вели наполнить как положено!

Но и пан Сапега молчал. Вот тебе за споры о довольствии, — так я понимал его. Тогда Филон, совсем уж обидевшись и огорчившись, загадочно произнес:

— Алтын на копейку не меняют, государь Казимир Львович.

Наказав душевно Филона и Малюту, пан Казимир кивнул слугам:

— Несите!

Вот теперь появилось вдосталь и вина, и всякого иного угощения, — видно, так пан Казимир это задумал. Повеселели все, обрадовались, заговорили громко и охотно, вспоминали — надо или не надо — отца пана Казимира гетмана литовского Льва Сапегу, успешно примирявшего обе державы, но, к несчастью, два года тому ушедшего в мир иной.

Когда прощались, пан Сапега встал, а Филон и Малюта благодарили и низко кланялись.

Между прочим, угощение пошло впрок. Список довольствия, представленного на следующий день, выглядел по-другому.

Каждому великому послу:

по два калача, ценой один грош,
по шесть чарок крепкой горелки,
по десять кружек паточного меда,
по одному ведру сладкого питного меда,
по одному ведру крепкого меда,
по три ведра хорошего пива.

Прямо скажу: хотя собственных припасов у нас до Москвы хватило бы, великие послы были довольны.

Посольских людей тоже не сильно обидели: по четыре чарки горелки, по две кружки меда, по кружке пива.

Конечно, мед и горелка — хорошо, весело, но все же главное — хлеб насущный.

Для свиты тоже прислали:

яловиц — шесть,
баранов — пятьдесят пять,
кабанчиков откормленных — десять.

Кроме того, по полтора десятка гусей, зайцев, тетеревов, кур... Не забыли и о приправах, прислали четверть пуда лука, чеснока, два пуда масла. А уксуса привезли бочку аж на шесть ведер. Что ж, наверно, в Москве так пьют и едят.

Но и это не все. На каждого посла обещали выдавать по десяти щук замороженных, по одной щуке запеченной, по одной — с хреном, одну — с ухой и одну соленую; добавить также обещали леща для поджарки и леща на засолку. И пуд черной икры.

Вечером того дня я все это тщательно записал. Возможно, и королю, и сейму будет интересно, как мы ехали, что пили-ели. Пишу я чаще всего гусиным пером, хотя пробовал и вороньим, и лебединым, и павлиньим. Гусиное, однако, более ухватистое, а если хорошенько выварить его, то и очинка получается лучшей, не надо за двумя-тремя словами клевать чернильницу. Перья беру из левого крыла — по изгибу они лучше подходят к руке, если — правша. И приготовил их целую связку. Есть у меня и очинка, и скребочек на случай помарки. Бумаги у меня тоже достаточно: две дести итальянской, и одна десть французской.

Панночка Анна

Не знаю да и знать мне не положено, почему пан Казимир Лев Сапега приезжал в Мстиславль. Может, по дороге в Смоленск у него охромела любимая лошадь, и он решил провести у нас несколько дней, пока выправится, тем более, что Мстиславль для него не чужой город: в свое время воеводой здесь служил пан Андрей Сапега, двоюродный брат отца. А может, решил поглядеть, как живут-мирятся православные, католики и униаты: десять лет прошло со времени гибели униатского епископа Кунцевича, а круги все еще шли по воде. Еще меньше знаю о том, почему на третий день пребывания его милости в городе меня вызвали пред очи его, и пан Казимир, с интересом оглядев меня, спросил, хочу ли я служить ему.

Как не хотеть! Я закончил полоцкий коллегиум, знал польский, греческий, латынь и, конечно, русский, у меня были хорошие отметки по риторике да и по другим наукам, я уже стал мстиславским подкоморием и стольником, но в молодости всем кажется, что способен на большее: хочется послужить Отечеству, но — как, чем? Короче, в душе вопрос о будущем стоял остро.

И все же, почему пан Казимир выбрал меня? Прослышал о моих успехах в науках? Или в память моего отца, погибшего в Дорогобуже в войске короля Владислава? А еще пан Казимир выбрал Модаленского, мстиславского войского, и Цехановецкого, подстольничего, и тоже непонятно почему. С другой стороны — как иначе? Побывал в городе и ничего не изменилось ни в чьей судьбе?

В общем, в скорочасье мы оказались в Вильне. Я служил писарем в канцелярии виленского воеводича (и усердием своим, некоторыми способностями, кажется, не разочаровал пана Казимира Сапегу). Конечно, первые месяцы часто вспоминал Мстиславль, мать, сестер и братьев, а еще по десяти раз на день вспоминал Кристинку.

Я впервые ее увидел, когда... Нет, не так, я видел ее сто раз, но это ничего не значило, как вдруг вечером заметил, что она моет в нашей сажалке ноги, она тоже меня заметила и торопливо сбросила на ноги подол сарафана. Глядела, словно ожидала, что скажу. Может, напомню, чья это сажалка и она не должна совать в нашу воду свои белые ноги. Я улыбнулся в ответ, а она нет. Ополоснула ступни и пошла по траве к своему дому. Назавтра я опять укараулил ее, и опять ничего не дрогнуло в лице Кристинки. А может, не в белых ногах дело, а в том, что в последнее время в доме нередко произносились женские имена, как возможных невест для меня, и ее имя в том числе. Но и о том говорилось, что хороша шляхтяночка и родители достойные люди, но беден ее отец, как Лазарь, яко наг, яко благ.

Так это и продолжалось. Каждый вечер она приходила мыть ноги, я следил из-за куста малины, а потом возникал на дороге. Равнодушие давно

исчезло с ее лица, но в том-то и дело, что уже приехал в Мстиславль пан Казимир и судьба моя была решена.

Пришел и день отъезда. Мы паковали наши вещи, ходили из дворца к карете, Кристинка тоже вертелась неподалеку, и я раз за разом поглядывал на нее, а она — на меня. Наконец, собрались, уложились. В путь? Братья, сестры стояли у кареты, мама утирала слезы, но и Кристинку я боковым зрением не упускал из виду. В путь! Один поворот, другой — вот и позади вся прошлая жизнь. Никогда больше ее не увижу. Но что это? Метнулась тень на выезде из города. Нет, этого не могло быть, далеко эта улочка от ее дома. Но — видел. Как это могло быть? Не знаю. Но ведь было...

Почти год прослужили мы с Модаленским и Цехановецким в канцелярии виленского воеводича, и вдруг узнали, что готовится великое посольство в Москву и нам предстоит ехать.

Определился и срок: 1-го февраля по нашему календарю. Но до этого дня и этой — кому радости, а кому печали — в моей жизни случилось нечто такое, что назвать я не умел и не смел. Как далеко улетела в одночасье бедная белоногая Кристинка!..

Конечно, ничего бы не случилось, если бы его милость пан Казимир не пригласил меня с Модаленским и Цехановецким на банкет, который устраивал по случаю отъезда посольства в Москву, и там я увидел панночку Анну, его младшенькую, любимую дочь.

Нет, я и приблизиться к ней не посмел. Я только глядел, как она танцует, и ненавидел Модаленского, который шел с ней в торжественной Ягеллонской алеманде. Кроме врожденной робости была и иная причина моей нерешительности: в иезуитском коллегиуме нас не учили танцевать. Модаленский был счастливее: он закончил Виленский университет. Там, конечно, танцевать тоже не учили, но студиозусы осваивали это искусство самостоятельно.

И все же глазами мы встретились. И это уже была беда.

— А что, хороша панночка? — произнес Модаленский после банкета, а мы с Цехановецким промолчали, потому что уж очень была она далека от нас, не бедных, но и отнюдь не богатых шляхтичей.

Но в том-то и беда, что мне показалось — вот она, рядом, сто́ит лишь встретиться взглядами.

На следующий день я побежал в костел Святой Анны, куда ходила семья пана Сапеги, чтобы увидеть панночку. В костелах я, хотя и учился у полоцких иезуитов, чувствовал себя как в театре: интересно, красиво — а не дома. Иезуиты не раз пытались склонить меня покреститься в римскую веру, однако я так и остался православным. Но сейчас не об этом речь, а о том, что я сходил на мессу в костел Святой Анны и не раз пожалел об этом. Я и сегодня жалею. Жизнь почти вся прошла, а жалею. Если бы она, панночка, — конечно, опять нечаянно, случайно, — не посмотрела на меня, возможно, пролетела бы та встреча мимо, как улетело вспоминание о Кристинке.

Накануне отъезда пан Казимир пригласил нас с Модаленским и Цехановецким на прощальный обед. Нет, за стол с нами панночка не села, лишь пробежала, правильнее, проскакала мимо, с любопытством взглянув на нас. А мне и этого хватило, как оказалось — на всю жизнь.

Несколько дней спустя мы тронулись в путь. Ненадолго заехали в Толочин и Черею, где у его милости были дворцы и земли, затем взяли направление на Смоленск. В Смоленске мы должны были встретиться с паном Песочинским, первым послом, и уже вместе двигаться в Москву.

Панночка Анна тоже выпросилась у отца ехать, но не в Москву — там ей делать нечего, — а в Черею, которую она любила, где проводила летние месяцы,

а теперь появилась возможность побывать там и зимой. На остановках, когда пан Казимир устраивал обеды и приглашал нас, мы оказывались почти рядом в тесной для всех карете, и хотя страшно было мне глядеть на нее — потому, что боялся увидеть в ее глазах догадку и недоумение (кто я? как смею?), я ловил ее взгляды, — другой возможности сообщить о моем счастье-несчастье не было. И она, наверно, догадалась, приняла мое сообщение — улыбнулась. Нет, я прекрасно понимал, что улыбка адресовалась не мне, это была улыбка женщины, получившей еще одно подтверждение своей красоты, но наверно, сущность женщины такова, что желает получать все новые и новые подтверждения, и мало ей дела до того, что душа моя мучается и рвется, а все равно жаждет таких мучений. К концу нашего путешествия она уже не только улыбалась, но и гримаски строила, и голосок ее звенел, как у поющего ангела.

«Ты заметил, как она улыбалась мне?» — спросил однажды Модаленский. «Тебе?» — чуть не вскрикнул я, но сдержался. Да, замечал, но ведь улыбка улыбке рознь. Ему она улыбалась, как кавалеру, с которым танцевала алеманду, мне — как человеку, который... Ну, не знаю. Главное в том, что между нами образовалась тайна.

Но вот и Черея. Пять дней мы провели здесь, поскольку его милость занимался делами. Здесь же полностью собрались в дальний путь. Я уже не надеялся проститься с ней. Но, бегая из дворца к карете отца и обратно, она вдруг замерла в двух шагах от меня, положила ладонь на грудь и заглянула в мои глаза — нет, конечно, не в глаза, а в самую душу. И поскакала дальше.

Так вот и рушится жизнь.

После завтрака и молебна двинулись. Что ж, дней двадцать займет дорога в Москву, столько же — обратно, примерно, неделю — заключение вечного мира... В общем, через полтора-два месяца — дольше и права не имеем задерживаться в Москве — будем опять в Черее, но как дожить до этого дня?

И все же, что это было? Куда мчалась, почему остановилась передо мной? Почему положила свою маленькую ладошку на грудь? Может быть, случайно? Вспоминала, все ли взяла в поездку? Или... Нет, не уходило из головы.

Считается, что я счастливчик. Как же, еще молод, а уже писарь Великого посольства. И что благодарен я должен быть пану Казимиру Сапеге, который явно благодетельствовал мне. Это правда. Но почему? Да, была семейная легенда о том, что пан Казимир и мой отец были дружны в молодости и милая мать моя нравилась обоим. Как-то я и поинтересовался у нее: так ли это?

Нет, неправда, ответила. Но как хорошо краснела моя милая мать!..

Через год после поездки в Москву, уже вознагражденный за труды и его милостью королем, и паном Сапегой, но ничуть не более счастливый, чем прежде, я стоял в костеле Святой Анны, где происходило венчание панночки, и думал о Мстиславле, о милой матери, сестрах и братьях, о Кристинке — о том, что, может быть, там я был бы более счастлив или по крайней мере, не был бы так несчастен...

Оказии в Мстиславль случаются редко, и гость оттуда или хотя бы письмо — всегда большая неожиданность и радость. Но минувшей зимой вдруг прилетела веселая санная тройка, и я увидел сестру свою милую, братьев Федора и Степана, а потом и мать. Она так долго выбиралась из зимней кареты...

Они прожили в моем теперь уже небедном, но пустом доме, почти месяц, а когда уезжали обратно, я вдруг понял, что вижу мать в последний раз, и так захотелось сесть с ней рядом и уехать в Мстиславль. Там все станут моложе, здоровее, там все будет хорошо.

Еще через год я получил весть, что мамы нет. От материзны, то есть ее наследства, я отказался, братья и сестры поделили его между собой. Больше они не приезжали, бывала у меня только сестранка Алена, дочка сестры Катерины, и сыновец Антон — племянник, сын Федора. Я для них почти чужой человек, а приезжали они, чтобы увидеть Вильню.

Сабли наших предков

Между прочим, когда раскинули обещанный провиант — всех тех яловиц, баранов да кабанчиков — на два обоза, оказалось, что не так уж много этого провианта нам выделили. Напротив, мало. И пан Сапега, посчитав и подумав, решил отправить обратно десять карет и сорок человек. Деревни, по которым мы проезжали, обязаны давать и кров, и пропитание, но так оскудела эта земля, что рассчитывать было не на что. Однако пан Песочинский упросил его не отправлять, поскольку надо поддержать авторитет посольства, а будет небольшим обоз — высмеют московиты, дескать, что это за королевство, что за король?

Казалось бы, частично вопрос решился, можно отправляться в Москву. Но нет, Филон и Малюта ехать не собирались, ссылаясь на неготовность своих подвод и начинающуюся метель. Между прочим, говорил он по-нашему: завируха. Опять стали ссориться.

— Мы больше не можем стоять здесь! — кричал пан Песочинский, он вообще часто сердился, кричал и тогда быстро ходил взад-вперед. — Мы сейчас сядем на коней, оставим здесь весь обоз и поедем в Москву. Мы расскажем царю, как вы обходитесь с нами, великими послами.

Пан Сапега тоже вступил в разговор:

— Мы приехали не для того, чтобы впустую тратить время. Мы должны исполнить волю нашего короля. Если не желаете сопровождать нас, мы поедем без вас. Сабли наших предков проложили хорошую дорогу в Москву. — Угроза была явной, но голос пана Казимира звучал спокойно.

В результате на следующий день Филон доложил, что они готовы сопровождать нас. *Завируха* за ночь утихла, и мы скоро выехали. Надо сказать, что дорога и в самом деле была тяжела: еще глубже, чем у нас, в Великом Княжестве, оказался снег, кони с трудом пробивались вперед. Особенно тяжело приходилось передним, через каждую версту их меняли местами. До брюха доходил снег.

На Мстиславщине такие снежные зимы не редкость. На Рождество отец приказывал запрячь «гусем» две лучшие лошади, усаживал, а правильнее — бросал нас в сани, сам, без кучера, брал в руки вожжи, и мы мчались за тридцать верст, в Рославль, где у отца была сестра, оттуда — уже на Крещение — в Починки, где жил какой-то его друг или родственник. Мчались — это сказано для красы, на самом деле — пробивались через цельные поля снега по едва намечавшимся дорогам. Именно по брюхо лошадям лежали снега.

Отец любил зиму. Когда становился лед на Святом озере, он с мужиками расчищал большую площадку, пробивал долбнями лед до воды, клал колесо, вставлял шест и давал вмерзнуть. Потом мужики привязывали большие сани — кучей налезали в них дети, — раскручивали шестами эту зимнюю карусель — счастливый визг несся над озером.

Если бы не та война, думаю, отец и теперь жил бы в Мстиславле и, может быть, мне не пришлось бы уезжать.

В Колочинском монастыре, где мы остановились на ночлег несколько дней спустя, опять произошла ссора. Вдруг Филон и Малюта явились к нам раным-рано и будто бы от имени думных бояр, приславших грамоту, заявили, что мы ведем с собой больше людей, чем было условлено. Особенно — пан Сапега. К тому же у нас много гайдуков, будто мы идем не на добрый разговор, а на бой. И будто думные бояре требуют отправить часть людей обратно. Значит, не зря они вчера и позавчера ездили взад-вперед, видно, хорошо посчитали, сколько у нас саней, лошадей и людей.

— Удивляемся нашим братьям, думным боярам! — воскликнул пан Сапега. — Что за отношение к посольству! Что за разговоры! Хотите командовать нами? Не выйдет! Сообщите думным боярам, что мы отправились в путь не по их приглашению, а по воле нашего короля. Король знал, как и с чем нас отправлять. У нас нет лишних людей. Что касается продовольствия, пусть думные бояре не переживают. Половину корма мы покупаем сами.

Оттого, с каким удовольствием переглянулись Филон и Малюта, получив отповедь, стало ясно, что передадут слово в слово и еще от себя добавят, чтоб не думали бояре, будто они тут лынды-мулынды бьют. Оба еле сдерживали улыбки.

Великие послы поначалу сильно рассердились, однако, увидев, как приставы переглядываются и улыбаются, успокоились, а пан Сапега даже пригласил Филона и Малюту на завтрак. За завтраком опять пили венгерское вино, причем Малюта глотал из кубка торопливо, шумно, словно опасался, что вырвут из рук кубок, а Филон чмокал, шмыгал простуженным носом, и все произносили красивые слова за здоровье короля и московского царя.

Пан Песочинский говорил о необходимости вечного мира — он вообще любил сказать что-то важное, державное, такое, чтобы слушали со вниманием и почтением, чтобы понимали, кто перед ними.

— Если дружба рухнет — лес быстро засохнет! — так закончил он. Лес — это, надо понимать, люди наших государей, мы с вами. Произнес он по-польски, и когда я перевел, все закивали головами.

А Малюта стал рассказывать о бескрайних землях царского величества, где всякое зверье есть и даже белые медведи. Люди там живут с узким глазом, а ездят на собаках и оленях-малых коровках с ветвистыми, как у деревьев сучья, рогами. А ночь в той земле длится всю зиму.

Короче, разошлись с хорошим настроением. Великое дело — вино. А у меня душа радовалась от того, как согласно думали и говорили пан Песочинский и пан Сапега. Проводив приставов, они еще полчаса мирно беседовали между собой.

Вы нас поморозили!

Тогда на Руси из-за голода было запрещено варить пиво и гнать горелку. Шинки, или по-российски — кабаки, тоже были закрыты. А наши купцы везли с собой целые бочки крепкого хлебного вина, полугара. И мужики, казалось, готовы были отдать за него все. Пили безбожно, мы такого пьянства никогда не видели. А потом началась дикая драка. Дрались кнутами, палками, оглоблями, дугами... Увидев такое бесчинство, Малюта приказал стрельцам схватить драчунов и тут же приговорил к битью кнутами.

Тотчас нашелся желающий исполнить приговор — бил жестоко, с оттяжкой, поворачивая на четыре стороны света. Смешно, что поднявшись с земли и немного протрезвев, холопы не обижались, а благодарили за такое пожалование и мирно, а то и посмеиваясь, отходили.

Малюта и Филон попросили больше полугар не продавать: *как бы холопы, упившись, какого дурна не учинили.*

Понемногу мы приближались к Москве. Слух о нашем приближении уже шел, и перед речкой Ходынкой начали собираться люди: и московиты, и немцы, и татары. Чем ближе к столице, тем больше людей. Были и холопы, и богато одетые люди на добрых конях.

Перед заставой, за версту от города, нас встретили бояре Михаил Козловский, Григорий Горихвостов, Никита Ниглецкий, а также дьяки Неверов и Неронов. Они подъехали на лошадях верхом и остановились с левой стороны от кареты послов. Мы тоже остановились. Московиты попросили послов выйти, чтобы обговорить какие-то вопросы.

— Мы не выйдем из карет, — ответил я от имени послов. — Пускай сперва они сойдут с лошадей, подойдут к нам и передадут бумагу царя.

— Нет, мы не сойдем с лошадей. Хоть всю ночь будем стоять здесь.

— Ну и стойте, — ответил пан Сапега. — Даже если мы тут замерзнем, не выйдем. Мы — великие послы и должны хранить нашу честь.

Несколько часов так простояли одни против других. Правда, бояре и дьяки время от времени отъезжали, видно, посовещаться, а может, просто погреться.

Наконец, к вечеру, приставы, Малюта и Филон, сообщили, что бояре намерены сойти с лошадей и подойти к послам первыми, но и послы должны выйти из кареты.

Тогда, чтобы наказать бояр за упрямство, послы заявили, что у нас не принято выходить на левую сторону и потребовали, чтобы бояре перешли на правую. Неохотно, но московиты выполнили эту нашу причуду.

Послы вышли из кареты и сразу остановились. Бояре снова оказались в затруднительном положении: какое такое обсуждение каких-то вопросов, если говорить придется громко, почти кричать, а праздный народ стоит вокруг и слушает, раскрыв рот. Опять стали переговариваться.

— Мы сошли с лошадей и подошли близко к вам, вы же не хотите сделать навстречу и шага, — громко заговорил князь Козловский, он, по-видимому, был старшим. — Этим вы унижаете честь его царского величества. Мы приехали встречать вас не по своему желанию, а по приказу нашего царя. Вы же очень некрасиво поступаете.

Затем Горихвостов, человек старый, обращаясь к пану Казимиру Сапеге, добавил тихо, укоризненно, но все мы расслышали его:

— Твой отец, Лев Иванович Сапега, воевода виленский, великий гетман и первый канцлер, бывал у нас послом для свершения великих дел. Он приезжал к прежним, светлой памяти, царям. Он-то хорошо знал обычаи и не поступал так, как поступаете вы.

— Мне хорошо известно, что мой отец бывал здесь послом и как поступал он. И я хочу поступать так, как он, как надлежит великому послу, приехавшему совершать великое дело, — ответил пан Казимир.

Песочинский тоже обратился к московитам, но глядя на меня и по-польски:

— Если бы вы не торговались с нами, мы бы давно вышли из кареты и подошли к вам. Это вы некрасиво поступаете. Так не принимают гостей, с которыми хотят жить в дружбе и любви. Вам нас, послов, должно было принять с добром, а вы нас поморозили, без надобности держали в поле несколько часов.

Князь Горихвостов опять тихо ответил на это:

— Великие послы, окажите нам хотя бы немного уважения, и мы тоже станем с вами обходиться по-братски.

Наверно, не столько слова, сколько голос князя Горихвостова подействовал на всех, кто здесь был, — бояре и послы сделали по несколько шагов навстречу друг другу. Князь Горихвостов снял шапку, и ему тотчас последовали другие.

— Великий государь, царь и великий князь Михаил Федорович, всея Руси самодержец и многих государств обладатель, прислал нас, дворян, своих холопов, к вам, великим послам Владислава Четвертого, Божьей милостью короля польского, Великого князя литовского и иных. Его царское величество спрашивает, хорошо ли вы доехали и в хорошем ли здравии прибыли?

Отвечал пан Песочинский:

— Благодарим его царское величество за гостеприимство и заботу. Благодаря Богу приехали в добром здравии.

Вступил в разговор и князь Козловский:

— Его царское величество спрашивает вас, имели ли вы, великие послы, достаточно людей и лошадей в пути и хорошо ли жили в дороге?

Ответил ему пан Сапега с усмешкой:

— Имели столько, сколько нам давали. И за то спасибо. Но очень уж скромно давали.

— Не удивляйтесь, великие послы. Земля в тех краях сильно разорена. Но здесь всего в достатке. Все дадим и вам, и вашим дворянам, и холопам вашим, и коням.

Высказав все это и многое иное, обе стороны наконец пришли к полному согласию, еще раз уже совсем тепло поприветствовали друг друга, сели в кареты и двинулись к Москве...

Итак, больше месяца заняла дорога.

Между прочим, в Вязьме нас догнал нарочный из Вильни. Как оказалось, привез он послание от короля и канцлера, а еще и письмо от дочери пана Сапеги. Я это понял по его лицу, расплывшемуся от улыбки. Эх, как хотелось мне заглянуть в листок через его плечо!

Михаил Федорович, самодержец. «Я тебе, холоп, так дам...»

Прием у царя был назначен на полдень в последний понедельник февраля. За час до приема явились к нам бояре, разодетые в торжественные одежды, расшитые золотом. Такие одежды не могут принадлежать даже самым богатым боярам, определенно они хранятся в царской казне и надеваются лишь по особым случаям. Мы тоже нарядились в новые жупаны и кунтуши, а под них спрятали мултаны — короткие мечи: кто знает норов нового русского царя? Тем более, что были хорошо наслышаны о том, что творилось здесь при Иване IV.

Не знаю, как остальная часть нашей свиты, как паны Сапега и Песочинский, а меня трясло от волнения: все же впервые я участвовал в таком приеме.

Сопровождали послов знатные дворяне Польши и Великого Княжества, а также приставы — два с правой стороны, один с левой. Послы шествовали посередине, а в конце ехали большие крытые сани с подарками и шли молодые шляхтичи, что будут вручать их. С обеих сторон, начиная от посольского дома и до Кремля, эти сани охраняла стража с ружьями и саблями наголо. Кто знает местных людей, особенно холопов: налетят толпой безымянные воровские люди — ищи-свищи потом. Охотников воровать и шарпать развелось после войны много.

Погода была по-прежнему морозная, но спокойная, без ветра, и солнышко уже немного пригревало. В Вильне, конечно, зима помягче, а вот в моем Мстиславле точно такая.

В Кремле нас встречали стрельцы, построенные в несколько шеренг. Людей собралось великое множество, часть стояла вдоль дороги, иные взобрались на церкви, на крыши домов, на деревья. Отнюдь не все они глядели на нас с простым любопытством: не так давно закончилась война, и многие не против были бы выпустить нам кишки. Так что сабли под кунтушами, что ни говори, придавали нам уверенности и независимости.

Когда поднимались по сходням, нас с двух сторон сопровождали приставы. Пан Сапега шел в середине, справа от него Песочинский, а я, как мне и положено, между ними. С нами же шел боярин Козловский. Он был толст и неповоротлив, двигался с трудом и раз за разом толкал пана Песочинского. Пан Александр попросил его идти либо впереди, либо сзади, раз уж так ему много требуется места, однако Козловский то ли был глуховат, то ли из-за врожденного упрямства не пожелал уступить, напротив, еще сильнее стал подталкивать посла. Наконец, Песочинский не выдержал и взъярился:

— Я тебе, холоп, если будешь мешать, так дам, что полетишь к дьяволу! Не посмотрю на то, что идем к царю! — И сильно пихнул его.

Однако Козловский, поскольку был высокий и толстый, не упал, даже не споткнулся.

— Пускай Казимир Львович идет впереди, — сказал он, — а мы вместе — за ним.

Однако миролюбивый пан Сапега тоже возразил:

— Не много ли ты хочешь — чтобы Сапега ходил впереди тебя? Ты не только зря сказал это, ты зря подумал!

— Подумай своими куриными мозгами хорошенько, достоин ли ты вообще разговаривать с Сапегой! — злым шепотом кричал Песочинский. — А тем более тереться о его бок! Или поучить тебя на виду у думных бояр?

Вот как дружно они говорили тогда! «Как умно поступил король Владислав, послав в Москву их обоих», — подумал я.

— Кому вздумал советовать? Мне? — рассердившись, пан Песочинский всегда долго не мог успокоиться. — Иди впереди нас, как и положено ходить прислуге!

Да, на Москве прислуга ходила впереди, и это нашим послам было известно.

При входе в первый дворец нас встречал князь Горихвостов и дьяк Анкифьев. Дьяк обратился к послам с речью:

— Великий государь, царь и великий князь Михаил Федорович, самодержец всея Руси, государь и обладатель многих держав оказывает честь брату своему, великому государю Владиславу IV, королю польскому, великому князю литовскому и иных земель. Он повелел встречать вас, великих послов, князю Афанасию Григорьевичу Горихвостову и мне, дьяку Калистрату Анкифьеву.

Потом с такими же словами нас встречали князь и стольник Буйносов-Ростовский и дьяк Иван Федоров. В каждой палате сидели бояре в златоглавых муфтах и черно-бурых шлыках. Наконец, вошли в третью дверь дворца, в Грановитую палату, где уже находился царь. Он восседал на великолепном золотом троне, одежды его украшены были жемчугами и драгоценными камнями. К трону вели четыре большие ступени, а повыше их — три маленькие. Четыре молодца-рынды в горностаевых накидках, в шлыках из рыси, в белых сафьяновых сапожках, с бердышами на плечах стояли по обе стороны трона и каждый был перепоясан золотыми цепями.

Войдя, Песочинский и Сапега сняли шапки, и Песочинский начал читать заготовленную речь:

— Божьей милостью наияснейший и великий господарь Владислав Четвертый, король польский, великий князь литовский, русский, прусский, жмудский, мазовецкий, киевский, волынский...

Пошло обычное перечисление владений нашего короля, произносимое с сильным польским акцентом, и я перестал следить за его речью. Кому, как не мне, писарю Великого посольства, было знать это обращение. Я стал опять рассматривать убранство Грановитой палаты. Пол, устланный коврами вблизи царя, скипетр в его руке, державу, высокую корону на голове. Может быть, корона была немного тесновата царю, посажена была мелко и оттого казалась слишком высокой. Рынды были молоды и статны. Очень внимательно они поглядывали на всех нас. Некоторые бояре, сидевшие на лавках, тоже были молоды и красивы.

А речь Песочинского продолжалась, долетали до моего сознания отдельные слова: «...черниговский, полоцкий, витебский, *мстиславский*... — понятно, что я сам вписывал все земли, а вот мелькнуло *мстиславский* и сознание тотчас отметило: родина. Столь же подробно перечислялись владения царя — ...Тебе, великому государю, царю и великому князю Михаилу Федоровичу, всея Руси самодержцу, владимирскому, московскому, новгородскому... царю казанскому, царю астраханскому, царю сибирскому...» Особенно вертеть головой по сторонам было нельзя, и хорошо я видел только Ивана Грамотина, как потом узнал, печатника думного, роль у которого была сейчас примерно такая же, как у меня. Он слушал речь Песочинского внимательнее других, поскольку это была его работа. Наконец, Песочинский закончил:

— ...Твоему царскому величеству, брату своему, доброго здоровья, добрых мыслей и приязни о всех добрых делах сердечно желает и передает через нас, великих послов.

Надо сказать, что слушал речь посла Михаил Федорович внимательно, может быть, кроме текста, его заинтересовал сильный польский акцент Песочинского, — а теперь поднялся с трона, но короны с головы не снял.

— Брат наш, Владислав король, здоров ли?

— Божьей милостью король наш на Польском королевстве и иных господарствах счастливо властвует.

Тут послы надели шапки, и Песочинский намерен был продолжить речь, однако печатник Иван Грамотин его прервал:

— Снимите шапки, — потребовал он. — Не знаю, как у вас, а перед нашим государем в шапке стоять нельзя. Мы не позволим вам унизить нашего государя.

Такое заявление оказалось неожиданным, и в Грановитой палате повисло молчание.

— Я умею почитать царское величество, — наконец ответил Песочинский. — Мы сняли шапки, когда называли титулы. Но теперь не снимем, поскольку я наделен достоинством нашего короля. Не больше, но и не меньше. — Это пан Александр произнес по-польски и поглядел на меня.

Я шагнул вперед и перевел, стараясь сохранить и передать все его интонации.

— В таком разе вы ни нашего царского величества государя не уважаете, ни своего короля. Ибо вы от лица вашего государя к лицу нашего великого государя говорите.

— Если бы я от своего имени и со своими нуждами приехал к его царскому величеству, я бы не только шапку снял, но и разговаривал с вашим госу-

дарем на расстоянии. Но, будучи великим послом великого господаря, иначе не могу поступить.

Я слушал их перепалку, переводил, когда Песочинский переходил на польский, и поглядывал на царя: он с явным интересом следил за разговором. Казалось даже, хотел бы встрять в спор, но положение не позволяло.

А Иван Грамотин между тем гнул свое:

— Бывали мы и не один раз в Литве. Знаем, как тщательно оберегают честь вашего короля: обращаются к нему, только сняв шапки. Так же вы у нас должны поступать. Здесь, у нашего великого государя, его царского величества, бывали послы царя Римского, Турецкого... Немецкие, английские, персидские и иных окрестных держав государи. Они всегда снимали шапки, обращаясь к его царскому величеству. Да и твой отец, Казимир Львович, не единожды бывал здесь послом и пред прежними царями, блаженной памяти, шапки на голову никогда не клал. Он-то хорошо знал, как нужно справлять посольство. Никто такого бесчестия нашим государям не чинил.

— Нигде не указано, что послы польского короля, отправляя посольство, должны снимать шапки, — твердо заявил пан Песочинский. — Не впервой мне быть послом и к другим монархам, равным царскому величеству. Нигде мы не снимали шапок.

Похоже, что Иван Грамотин растерялся. Он подошел к царю, пошептался с ним и, судя по лицу Михаила Федоровича, государь был недоволен. Грамотин опять обратился к послам.

— Вы, великие послы, если приехали на добро, так делайте так, как в Московском государстве ведется.

Однако пан Песочинский тоже стоял на своем.

— Мы видим, что здесь все сидят и стоят в шапках. Почему мы должны снять их? Будь бояре с непокрытыми головами, и мы бы сняли шапки.

— А мы ваши речи и слушать не станем, если не снимите.

— Что ж, — сказал Песочинский, — если вы не желаете выслушивать наши речи, мы, объявляя свое почтение Богу, царю небесному, а затем и его царскому величеству, отъедем в свое отечество. Не нашего короля и не наша вина будет в том, что разорвется доброе дело, хорошо и счастливо начатое.

Опять Иван Грамотин оказался в сложном положении и снова отправился к своему царю. Снова, но уже не так настойчиво, потребовал снять шапки. Но послы заявили:

— Не пристало нашему народу слушать пустые слова и бессмыслицу.

— Ладно, — сказал Грамотин. — Говорите. Но и мы в следующий раз будем поступать так перед вашим королем!

Целовать ли руку?

Пан Песочинский начал свою речь тотчас — в шапке, но если поминалось имя царя или короля, мы головы обнажали. Похоже, это понравилось всем: и царю, и думным боярам. Они как бы раз за разом получали подтверждение чести царя.

— По воле и благословению Господа Бога, в руках которого и мир, и война... послы при встрече на реке Поляновке... наступило время вечной дружбы между вами, великими господарями... Его милость король прислал нас сюда... довести до конца начатое доброе и великое дело... Пусть Господь Бог благословит и соединит ваши сердца, великих господарей... покроет бессмертной славой... Пусть... Пусть... Пусть...

Весьма торжественно закончил он свою речь. Наступил черед Казимира Сапеги.

Не стану снова приводить начало его речи, в течение которой мы стояли без шапок, тем более, что новых слов в его речи было не много. Однако были и важные:

— ...Наш король жаждет остановить кровопролитие... установить братские отношения... — и, наконец, главное: — Ради надежного согласия и дружбы он согласен на уступки, ограничение владений, которыми Господь Бог вознаградил его.

Пришлось говорить и мне, как писарю великого посольства.

— Вам бы, великому государю и великому князю Михаилу Федоровичу, всея Руси самодержцу, повелеть боярам своим с панами королевского величества, великими послами договориться о тех статьях, которые раньше были отложены, и доложить вам, великим государям. А договорившись, велеть бы свою господарскую запись в заключительную грамоту от слова до слова вписать. И то, о чем теперь договоримся, приписать, печать приложить и своим целованием перед нами, великими послами, укрепить. И по тому, как в окончательных записях написано есть, пусть будет исполнено.

Кажется мне, что никого бояре и сам государь не слушали так внимательно, как меня.

Совершив посольство, все мы пошли к царской руке. Пан Песочинский при этом передал грамоту от короля. Михаил Федорович в этот момент держал, как обычно, скипетр в правой руке. Но левой рукой брать грамоту царю никак не пристало, и пришлось ему переложить скипетр, освободить правую. Целовал ли пан Песочинский руку царя, я не заметил, а вот пан Казимир Сапега точно не целовал, только приложился челом.

— Не по обычаю подходишь к царскому величеству! — тотчас заявил Грамотин.

На это пан Казимир, усмехнувшись, ответил:

— Достоин ли я целовать руку такому великому монарху?

Недобро сверкнули у печатника глаза, но — промолчал. Счастье, что на троне сидел Михаил Федорович, а не Иван Васильевич. Рассказывают, тот внимательно следил за этим обрядом и не приведи господи, если кто-то вместо поцелуя тыкался в руку носом.

Затем Грамотин пригласил меня, и, чтобы не вызвать новых споров, я царскую руку поцеловал, я не так независим и смел, как пан Казимир. Целовали и другие члены нашего посольства. Грамотин аж пригибался, чтобы лучше видеть: целуем или нет. Надо сказать, что рука у Михаила Федоровича плотная, сильная. Молод он, нет ему еще и сорока лет.

Затем перешли к подаркам, которые мы так осторожно везли и тщательно хранили, ради которых шло с нами столько венгерских драгун и вооруженных шляхтичей. Часть подарков уже внесли в сени, часть оставалась на подворье. Озвучивал дарение по списку, опять же, Иван Грамотин — красиво, надо сказать, голос у него был — иерихонская труба.

— Великому государю, его царскому величеству посол Александр Песочинский челом бьет: конь гнедой турецкий из краманских лошадей; сабля рубинами и бирюзой украшенная; камень рубиновый; часы из золота и хрусталя; медный таз австрийской работы с наливачкой для умывания; золотистый австрийский кубок.

Заметно было, что Михаилу Федоровичу небезразличны слова печатника, интересно ему, что привезли великие послы. Понятно было также, что подарки Песочинского понравились, особенно конь турецкий, сабля, часы...

да и медный таз с наливачкой. Но и немного был разочарован царь: маловато. Затем Грамотин объявил подарки пана Сапеги, и тут уж Михаил Федорович был вознагражден: карета в красном бархате, обитая золотом и серебром; к той карете — шесть замечательных гнедых коней. Упряжь бархатная красная, серебряно-вызолоченая, камень алмазный, большие часы с изображением воскресения Христова и механизмом внутри, который сам играет, а еще и часы с боем.

Я, писарь великого посольства, мстиславский стольник, не могу равняться с панами Песочинским и Сапегой, однако три турецких коня, за которые я отдал все деньги, которые у меня были, со всей упряжью, украшенные дорогими каменьями и рубинами, с гусарскими седлами-ярчаками, бархатными попонами, расшитыми золотом, тоже произвели впечатление на Михаила Федоровича. Но честно признаюсь: не ради московского царя я приобрел этих коней, а единственно ради панночки Анны, то есть в расчете на то, что услышит она доброе слово обо мне, узнает что-то еще, кроме моего несчастного существования.

Пан Модаленский, мстиславский войский, подарил царю гнедого коня неаполитанской породы с гусарским снаряжением. Большего он себе не мог позволить. Пан Цехановецкий, мстиславский подстольничий, тоже подарил верховую лошадь, пару пистолетов в пальмовой оправе, кобуру из зеленого бархата к ним, разукрашенную золотом. Затем дарили другие участники посольства: пан Кретовский, пан Цеханович, пан Масальский, пан Третинский, пан Галимский и другие. Всего было четырнадцать дарителей, и конечно, чем ближе к концу списка, тем подарки становились скромнее. Например, Пестрецкий, старший слуга воеводича, подарил просто саблю, правда, украшенную каменьями, да и ту, я думаю, ему перед тем передал для подарка пан Казимир Сапега. Теперь все были довольны и веселы, как будто и не было спора о шапках. Разве что пан Казимир Сапега был не в духе. Что-то его заботило.

Все я приготовил и предусмотрел, но записывать пришлось так много, что перья стали заканчиваться. Я обратился к нашему целовальнику, и уже на другой день мужики принесли добрую дюжину гусиных крыльев. Ну, гуси что в Москве, что в Вильне; очинка у меня острая, и задача только в том, чтобы сделать правильный ощеп и желобок, а в этом я поднаторел. Минута — и перо готово. Сам любуюсь его правильностью и красотой.

«Жалует вас обедом и чашей вина...»

Жили мы на посольском дворе, в тех дворцах и хатах — а по-русски говоря, избах, — которые построили давно, специально для великих послов, в которых останавливался и отец нашего пана Казимира Лев Сапега. Правда, поскольку наше посольство оказалось более многолюдным, пришлось поставить еще три избы и две большие конюшни. Дома были просторные, но комнат и топчанов мало, и челядь наша спала вповалку. Правда, многие пошли жить к московитам, которые оказались очень любопытны и в первый же день пришли к воротам звать к себе постояльцев. Денег они не просили, но и не отказывались, если предложить.

— Царское величество жалует вас обедом и чашей вина, — сказал на прощание Иван Грамотин, и мы отправились по домам.

И правда, скоро явился князь Федор Куракин, стольник, а с ним около трехсот человек сопровождения, которые и доставили еду и питье. Куракин

приказал накрыть стол тяжелой скатертью, на нее положили три ложки, но не поставили ни одной тарелки. Что бы это значило? Странные порядки в Москве. Есть хотелось невыносимо. Наконец, слуги принесли какие-то вина и кушанья. Выпили сперва крепкого хлебного, которое они называли боярским, за здоровье царя и короля, затем испробовали березовицы пьяной, затем мальвазии. Князь Куракин быстро опьянел и наливал себе раз за разом, но когда пан Песочинский предложил выпить за московских бояр, он отказался. Дескать, мне еще надо пить за царских детей, а я уже пьяноват, да и не все бояре стоят того, чтобы за них пить. Есть хорошие, настоящие, а есть супостаты и обидчики, например... А примера-то и не привел. Побоялся. И правильно сделал, у стен, как говорится, тоже могут быть уши, мы уедем, а ему здесь жить.

Кушанья приносили поочередно. Дьяк, стоявший за стольником, держал в руках большой лист бумаги и зачитывал названия блюд. Перемен было немного, может, шесть, может, больше, но вкусные и сытные, хотя звались они подчас незнакомо. Впрочем, если дьяк объявлял *«заяц с репой»* или *«курник»*, то есть пирог с курицей, или *«каравай яцкий»,* то есть с яйцами, — что тут непонятного? На *верхосыт* принесли квас — его после такого обеда пили жадно, обливая усы и бороды.

Когда прощались, Куракина сильно повело в сторону, едва успели его удержать. Песочинский пил немного, но поскольку был староват, тоже опьянел, а вот пан Казимир Сапега — как ни в чем не бывало. Во время обеда пан Казимир раз за разом поглядывал на Песочинского, будто что-то хотел сказать ему. Но поскольку первый посол опьянел, отложил разговор на завтра. Похоже, что назревало что-то опасное.

На следующий день разговор возник неожиданный. Пан Сапега напомнил, что пан Песочинский поцеловал руку царю, а делать этого, мол, никак не следовало, поскольку царь являлся врагом короля и еще не принес присяги на дружбу и вечный мир. Пан Песочинский в ответ заявил, что он — первый посол и знает как себя вести и что делать, а пан Сапега — второй и должен учиться у него и помалкивать. Пан Казимир стал громко кричать, может, и нарочно, так, что слышали все слуги, что Песочинский вел себя, как предатель, а не посол и заслуживает смерти с женой и детьми. Тогда пан Песочинский стал отговариваться, мол, он тоже не целовал царской руки...

Но если бы это было так, царь или Грамотин указали бы, как указали Сапеге.

С этого дня настроение в посольстве сильно изменилось. Песочинский и Сапега даже из дворцов своих теперь выходили редко и старались не встречаться один на один. Почувствовала это и челядь. Все стали мечтать о возвращении на родину. Но московитам торопиться некуда...

Иногда мы с Модаленским и Цехановецким выбирались из Посольского двора поглядеть Москву, чтобы было о чем рассказать на родине. А посмотреть было на что. Каждое воскресенье, отстояв утреню, молодые московиты шумят, пляшут, а то и дерутся в кулачки на Москве-реке. Особое впечатление было от долгового правежа в Кремле: стояли у стены человек десять, а то и больше, должников, и палач бил их по икрам батогом. Кричали должники благим матом, вот только казалось, что палач бьет по-разному: кого сильнее, кого слабее. Как потом мне объяснили знающие: если сунуть палачу пятиалтынный — будет миловать, пожадничаешь — получишь сполна. Здесь же стоят московские менялы, или, как нас учили в коллегиуме, аргентарии, им вопли должников — музыка для души. А еще показалось, что московиты не очень боятся боли: знают, что будут бить, а все равно не возвращают долг.

По воскресеньям барышни ходили по улицам взад-вперед, и Модаленский постоянно вертел головой по сторонам: очень они ему нравились. Был он бойкий, речистый, и они охотно отвечали ему. Говор наш не сильно отличался от московского, но все равно они раз за разом пырскали со смеху, вслушиваясь в его веселые речи. Однако больше других интересовал их Цехановецкий, наверно, из-за очень высокого роста, неуклюжести и вечной улыбки без всякой причины. Впрочем, подолгу они с нами не задерживались: видно, в Москве не принято девицам разговаривать с молодыми мужчинами, тем более — приехавшими из другой страны.

Большим огорчением явилось сообщение, что Дума не одобряет хождение по городу наших людей. Ну а московитам и вовсе запретили навещать посольский двор. Все почувствовали себя взаперти. «Сидите, — сказал пан Казимир. — Здесь не поглядят, что вы белорусцы: ноздри вырвут». После таких слов даже у Модаленского пропала охота гулять по Москве. Что ж, нового в этом было мало. Писарь прошлого Великого посольства Пельгржимовский и вовсе записал: «Стерегут, как зверей».

Поставили стражников и внутри посольского двора и снаружи, а подойди кто из московитов поглазеть да скажи слово — тотчас потащут на спрос в Посольский приказ.

Новая и главная встреча с царем откладывалась со дня на день. Сперва ссылались на нездоровье Михаила Федоровича, потом — на великий пост, когда негоже заниматься простыми делами, потом... Причины находились разные.

Целование креста

Наконец, уже в конце марта, был назначен день целования креста.

Царь в тех же дорогих одеждах снова восседал на троне золотой палаты. Как и прежде, в одной руке он держал скипетр, во второй — державу, но корона на нем была другая, поменьше. Войдя, мы поклонились, сняли шапки. Иван Грамотин тоже снял шапку и обратился к послам:

— Великий государь, царь и великий князь Михайло Федорович...

Ну и так далее, по списку его званий и владений. Интересно, что у Грамотина, когда зачитывал, был торжественный голос, теперь оказалось, что есть у него и другой, тоже торжественный, но еще более значительный, видно, для разных случаев — разный.

— ...Чтобы мы установили вечный мир между нами, великими государями, и нашими великими государствами, скрепили его своими душами, печатями и руками...

Конечно, царь знал все эти слова, принимал участие в составлении, но сейчас слушал, как впервые, — с таким вниманием и интересом. Этому, конечно, и голос Грамотина причина. Он даже поглядывал на нас, дескать, каково? Недурно, да? Вряд ли вы найдете в своей Польше такую трубу!

— Все, о чем вы, великие послы, с боярами и думными людьми с повеления нашего царского договорились, все то будем твердо исполнять. Надеемся, что и наш брат, ваш великий государь, также будет исполнять эту заключительную грамоту и мирный договор.

Слушали царя все, сняв шапки. И наконец, Грамотин провозгласил:

— Великий государь хочет целовать крест в подтверждение того, что записано в заключительной грамоте!

Тотчас принесли высокий столик, накрыли церковным покрывалом. На столике лежал крест. Послы встали со своей лавки, приблизились, думные

бояре тоже встали по обе стороны трона. Михаил Федорович поднялся, сошел по ступенькам, склонил голову для снятия короны. Корону с головы царя снял его дядя Микитинич и держал так, чтобы видно было всем.

— *Божественным повелением мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Федорович...* — довольно буднично произнес он, — *этот животворящий крест целуем. Все, что записано в заключительной грамоте, будем нерушимо исполнять вовеки.*

Михаил Федорович склонился и поцеловал крест. Затем позволил Микитиничу снова надеть корону и сел на трон.

Нам известен был и сей обряд, и содержание, а все же вздохнули с облегчением. Слава Богу! Свершилось!

Во время присяги бояре держали открытым заключительный договор, а теперь завернули в красную китайку, и царь передал его в руки послов.

Сейф с тремя замками

Когда мы возвращались к себе, пан Модаленский, мстиславский войский, нес договор о вечном мире впереди послов. Сойдя с лошадей, мы отправились к пану Песочинскому, и там Модаленский положил договор на стол. Я, как писарь и секретарь посольства, хотел забрать договор, но Песочинский попросил оставить у него на ночь. Дескать, хочет еще раз перечитать статьи вечного мира.

— Договор никуда не денется, — сказал он. — Утром я отправлю его к вам и к пану Сапеге.

Не доверять ему не было причины. Все мы имели право знать подробно содержание договора. Ни я, ни пан Сапега не стали перечить.

Однако утром пан Казимир тоже захотел поскорее просмотреть договор и послал за документом к Песочинскому. Вот тут-то и началось: Песочинский отказался вернуть документ. Стала понятна суть его вчерашней уловки с задержанием документа якобы на одну ночь.

Пан Сапега сильно удивился такому обороту.

— Вышло так, как московские цари говорят: «Думайте, бояре, что царь удумал». Ваша милость обошли нас в хитрости. Вижу, что ваша милость хочет в одиночку сжать то, что вместе посеяли. Жаль, что мы сейчас находимся в чужом государстве. Иначе вы бы не избежали заслуженного наказания.

В это время явились к нам царские приставы и попросили составить список лиц, которые будут присутствовать на обеде за царским столом. И сразу произошло новое столкновение.

Пан Песочинский хотел, чтобы за царским столом сидели в той очередности, в какой происходило приветствие царя. Он не желал мириться с тем фактом, что с паном Сапегой приехало много знаменитых особ, государственных чиновников. Песочинский настаивал на том, чтобы с одной стороны стола сидели люди пана Сапеги, а с другой — его люди. Пан Казимир сильно рассердился.

— Может, хватит выдумывать? — сказал он.

— Я не выдумываю. Таков правильный порядок.

— Ваша милость ставит нас в трудное положение. Я вообще очень удивляюсь, глядя на вас. Почему вы нам, панам зацным, не верите, коль сам король доверяет. — И наконец не выдержал, перешел на «ты». — Почему ты договор своровал? — закричал он, а голос у пана Казимира таков, что кони на посольском дворе шарахаются.

— А потому, что опасаюсь, как бы ваша милость у себя не спрятал! — тоже криком, но тонким, отвечал тот. — Дайте подтверждение ваших намерений!

— Чем подтвердить? Может, кровью? Будь уверен, из вашей милости не молоко потечет!

— Я старый полковник и готов распрощаться с жизнью!

— У меня тоже сердце жолнера! До нашего Отечества далеко, но и здесь найдем просторное поле, где можно сразиться!

— Ценю вашу воинскую доблесть! Но я готов погибнуть, только бы проучить вас!

Однако хотел бы я увидеть первого посла со шпагой в руке, если он со страху перед московитами держит при себе жабинец — камень, что оберегает от яда.

И тогда Сапега возвратился к главному:

— Каждый знает, что договор не принадлежит вам. Вы без причины задержали его у себя, а проще сказать — украли. Теперь всем следует опасаться вашей напускной честности, за ней скрывается ложь. У пана Вежевича, как секретаря посольства, должен храниться договор, а не у вашей милости.

Мы с Модаленским оказались посредниками в дискуссии зацных панов, длившейся долго. Конечно, меня все это касалось в первую очередь. В конце концов нашли выход, пришли к согласию: хранить договор в сейфе с тремя замками и по одному ключу получит каждый, то есть пан Песочинский, пан Сапега и я. Никто в одиночку не смеет открывать сейф, — только при согласовании, только втроем можно открыть и передать договор королю. Правда, находиться сейф будет у пана Песочинского.

Так и совершили. Встретились, положили договор в сейф, нарочно для этой цели купленный, замкнули и передали первому послу. Однако ключи пан Сапега оставил у себя и сразу же в хорошем настроении отправился к себе. Песочинский даже не сразу понял, что произошло. Но очень скоро послал к пану Сапеге человека с требованием вернуть один ключ. Однако пан Сапега отказался отдать.

— Достаточно того, что у пана Песочинского сейф. А у меня пускай будут ключи. У него не будет чем открывать, а у меня не будет что открыть. — И рассмеялся.

Песочинский был сильно поражен поступком Сапеги, тем, как его обвели вокруг пальца. Шумел, кричал, топал, называл Сапегу разбойником. И смотрел на меня, словно призывая в свидетели.

Дом его находился рядом, крики были слышны и в доме Сапеги и, похоже, приносили пану Казимиру немалое удовольствие.

Кто знает, как устроится моя жизнь в Вильне, может быть, в Мстиславле я был бы счастливее. Но не так богата наша семья — отца давно нет, мать вышла замуж за небогатого шляхтича, подросли два брата и сестра: кому-то надо искать другой доли. А пан Казимир Сапега и добр, и щедр — не оставит.

Когда он уезжал из Мстиславля, полгорода вышли провожать. Понятно: денег дал и костелу, и униатской, и православной церквям.

Понятно, я на его стороне. Что мне пан Песочинский?

Прощальный обед и две оливки

Прощальный обед у царя был назначен на последний день месяца. Но перед тем как отправиться в Грановитую палату, пан Сапега попросил царя об аудиенции. От имени короля он обратился с просьбой освободить из плена

Григория Торна и Иосифа Грегоровича — послов Священной Римской империи. Они направлялись с посольством в Персию, но были задержаны и уже почти двадцать лет находились в неволе. Царь выслушал просьбу через Ивана Грамотина и через него передал, что ради братской дружбы и любви с королем, своим братом, согласен выполнить просьбу. Приказывает освободить этих людей. Если, конечно, они до сих пор живы.

Но вот этого мне узнать не пришлось. Может, и живы, может, и освободили. Хотя двадцать лет в узилище хоть в Москве, хоть в Риме... Помереть можно от одной тоски.

В Грановитой палате стояли четыре стола. За первым, на троне, сидел сам царь — без короны, в шапке из черно-бурой лисицы, в платье подшитом соболями. Рядом с ним никого не было, кроме кравчего и подчашего. Не было и тех молодцев-рынд, что стояли на первом приеме. Второй стол находился справа от царя, в шести шагах от него. За ним сидели думные бояре и первым среди них был князь Черкасский. Здесь же сидел протопоп соборной церкви Благовещения Никита Василевич — царский духовник. Третий стол, такой же, стоял слева от царя. За ним сидели великие послы. Четвертый находился вблизи колонны. За ним расположились люди посольства, которые не поместились за третьим столом. Все столы были накрыты скатертями и, как прошлый раз, не было ни одной тарелки.

Обед начался в час пополудни. Сперва кравчий Василий Сулешов поднес царю тонко нарезанный хлеб. Царь послал кусочек этого хлеба князю Черкасскому, затем — пану Песочинскому. Затем снова кому-то из думных бояр, потом — пану Сапеге. Перед всеми гостями и боярами были положены такие хлебцы. Наконец поднесли напитки. Царю подавали их в больших чашах, а царь затем наливал из них в кубки. Подчаший Борис Репнин-Оболенский пробовал каждый напиток, а царь пил после него. Кубок у Михаила Федоровича был хрустальный и сверкал под светом десятков, если не сотен, свечей. Потом пили думные бояре и мы, послы. Наливали нам романею, мальвазию, пиво и боярскую водку.

Интересно, что в это время стольники, взявшись за руки, парами ходили вокруг колонны, не снимая шапок, не кланяясь ни царю, ни великим послам. Что это — так же, как и хлеб вместо тарелок — значило, мы не поняли и насторожились, но тут они вышли за дверь и возвратились с едой: принесли черной и красной икры, лимонов. Первым блюда пробовал царь, затем они подавались думным боярам, затем — великим послам, и уже потом другим участникам царского застолья. Одно блюдо сменяло другое, а всего я насчитал двенадцать. Однако приборы на столах стояли оловянные, а не серебряные, как бывало прежде в Москве. Видно, войны последних лет нанесли казне немалый урон.

Застолье продолжалось до ночи. Когда кушанья убрали, перед царем поставили несколько подносов с оливками. Михаил Федорович разрешил своим стольникам взять по две оливки, но больше никого не угостил, наверно, в Москве оливки считались редким лакомством.

В конце застолья снова обратился к нам от имени царя печатник, сообщил, что теперь послам будет дана перемирная грамота, в которой все записано, о чем договорились. Пан Песочинский взял грамоту из рук царя, перекрестил его и поцеловал руку. Затем подошел пан Сапега и тоже целовал царскую руку.

— *Целую руку твоего царского величества, поскольку ты принес присягу его милости королю, нашему пану милосердному. Желаю твоему царскому величеству...* — Ну и так далее.

Я тоже подошел к царской руке, за мной — Модаленский и все другие.

Ну, а когда застолье закончилось, и мы выходили из палаты, думные бояре и дьяки подходили к нам, и мы все радовались и обнимались, и поздравляли друг друга с удачным докончаньем. Обнимались и наши люди: скоро домой.

«От вашей козьей бороды нет никакого проку...»

Однако скоро началась новая злая звада из-за места хранения царской грамоты. Пан Песочинский, получив грамоту как первый посол, спрятал ее за пазухой. Пан Сапега этого простить не мог. Но в том, что произошло, отчасти виновен и я. Я, конечно, только писарь, но простить пану Песочинскому пыху, с которой обращается ко мне, не могу. «Как вам это нравится? — сказал я пану Казимиру. — Может, мы и вовсе здесь не нужны? Пан Песочинский все устроит сам? Как это возможно?» — «Нет, невозможно», — ответил он и я понял, что кровь его закипает.

— Ваша милость хорошо наловчился в воровстве, — сказал он Песочинскому. — Сперва украл договор, а теперь и царскую грамоту. Ваша милость обманул нас хитрыми и лживыми словами. Особенно затронута честь пана Вежевича, в обязанность которого входит хранение договора. Если бы не шла речь о моей репутации и репутации нашего короля, я, несмотря на всю мою сдержанность и рассудительность, нашел бы способ проучить вашу милость за недостойные поступки. Но придет время, и ваша милость за все ответит.

На это пан Песочинский отвечал:

— Я терпел вашу милость, пока ваш авторитет и слава нужны были для пользы государства. Теперь все позади. И больше нет надобности заботиться о дружбе с вами.

Но и сейчас еще была возможность закончить спор взаимной угодой, однако пан Сапега зло рассмеялся:

— Рад, что ваше величество признались мне в этом. Вы украшали себя чужими перьями, а теперь все присваиваете себе. На ваше коварство я отвечу по заслугам вашим. Даст Бог, поквитаемся.

— Ваша милость должен выразить мне надлежащее уважение, поскольку я сижу на сеймах рядом с королем. Твоих угроз я не боюсь, — отвечал пан Песочинский, перейдя на «ты». — Тогда будешь угрожать мне, когда у тебя вырастет такая борода, как у меня.

— Вы первый из вашего рода, кто удостоился занять место в Сенате. Поэтому не слишком заноситесь. Мои предки с давних времен занимали высокие должности, а от вашей козьей бороды нет никакого проку. Никто такую бороду и не желает иметь.

Вот так, со взаимными оскорблениями, и вернулись мы к посольскому двору.

Понятно: кто первым станет перед королем и сеймом с царской грамотой, тот и получит благодарность. Есть у короля земли, которыми может он щедро вознаградить за труды, и пан Песочинский весьма желал бы такой благодарности. Думаю, пан Казимир тоже не отказался бы... Да и я, прошу прощения, не стал бы возражать королю, хотя мне, писарю, особенно рассчитывать не на что. Но кто знает? Я тоже старался по своему званию и в меру сил.

Хорошо получить благодарность от короля. Но еще лучше, если бы пан Казимир Сапега сказал: «Красивое слово ты сказал перед московским царем,

хорошо поддержал меня против этого козлобородого и потому отдаю тебе в жены мою дочь Анну!»

Не простое дело вечный мир. Однако важнее иное: мы сделали главное, чего ради приехали.

Прощание. Дай, Боже, вечного мира

Пришло время прощания. Стоял апрель, цветное воскресенье. В этот день мы собирались в дальний путь. Надо было спешить: вот-вот вскроются реки, начнется ледоход и мы со своим сейфом застрянем в Московии. Слава Богу, весна выдалась поздняя, иначе пришлось бы бросать сани и покупать телеги. Великие послы к этому времени так поиздержались, что денег на колесные кареты уже не было.

Конюхи проверяли копыта лошадей, сбрую, полозья саней. Холопы укладывали вещи. Людям не было никакого дела до свар послов, они весело бегали по двору, перекликались, переговаривались. Домой, домой!.. И холопа, и посла где-то ждут. А вместе с тем и грустно было на душе: больше в Москве не бывать, звона ее колоколов не услышать.

Выехали мы из Москвы в первый день страстной седмицы, в Великий понедельник. Провожающих было мало, только случайные ротозеи: за месяц московиты привыкли и к ляхам, и к белорусцам.

Утром принесли подарки от царя: для двора пана Сапеги — восемь сороков соболей, Песочинскому и мне — по шесть сороков. Видно, пан Казимир понравился Федору Михайловичу больше, нежели Песочинский и я. Вот тебе и целование руки...

Остальным шляхтичам досталось по сорок соболей.

Цехановецкий намеревался, перейдя Смоленск, повернуть на Мстиславль и уже испросил согласия пана Сапеги, а я о такой радости и мечтать не мог: должен присутствовать при вручении договора и перемирной грамоты королю. Мечтал я об ином: поскорее добраться до Череи и увидеть панночку Анну, услышать ее смех. Смеялась она часто и без особой причины, просто сообщала: я здесь! Весело ей было всегда, а скучно — никогда. И если по правде — хотел я подарить ей свои шесть сороков соболей. Чем еще мог я заслужить ее благосклонный взгляд, если больше у меня ничего не было: все, что имел, отдал за тех коней, которых оставил в Москве.

Как-то раз мы, земляки-мстиславцы, обсуждали, как бы в шутку, а не всерьез, что самое примечательное в панночке? Может, походка вприпрыжку, привычка поглядывать искоса, не поворачивая головы, может, россыпь смеха?.. Цехановецкий грустно молчал, я тоже помалкивал, зато Модаленский говорил за всех. И сводилась его речь к тому, что много у панночки достоинств, но есть и такое, какого ни у кого в Великом Княжестве нет: немыслимое богатство и власть пана Казимира, ее отца. Возражать ему не хотелось, чтобы не сознаться в том, что все в ней самое примечательное, но никак не богатство пана Казимира: не этот огонь греет меня.

Модаленский, упаковывая своих соболей в мешок, как бы по секрету сказал: «Мне они не нужны. Знаешь, что я сделаю? Подарю панночке». Я расхохотался, как никогда прежде: вообразил, как будет смеяться она, когда мы встанем перед ней со своими подарками. Хотя... Возможно, наши соболя станут для нее лишь подтверждением собственной красоты.

Пан Сапега, прощаясь с московитами, тоже наградил многих: кому — саблю, кому — меч, а кому — и турецкого коня со сбруей. Всем, кто услу-

живал эти дни, — дозорцам, целовальникам, пекарям, сторожам, дворным и прочим — по несколько десятков талеров.

Когда добрались до речки Поляновки, где предстояло расстаться с приставами Филоном и Малютой, пан Сапега подарил им по три лошади. Приставы не сильно бедны, но очень были рады подаркам... С легкой душой возвратятся они в Москву, с надеждой, что государь еще и поверстает их добрыми окладами.

Обнялись, простились со всеми. Глядели друг на друга как лучшие друзья, как братья. Неужели — все, больше не увидимся? Да мы уже жить не можем без вас!.. Московиты — люди хорошие, коли не надо справлять обязанности. Может, и они также говорят о нас.

Веселее свет и яснее небо стало над нами. Впереди — Родина. Дай, Боже, ей вечного мира.

Царев град

Когда Алексей Михайлович прижал его седую голову к груди, слезы брызнули из глаз князя, он пробормотал: «Умру за тебя, государь», и двадцать, а то и тридцать раз поклонился ему до земли. «*Белорусцев православной христианской веры, которые биться не учнут, в полон не бери и домы не разоряй»,* — произнес Алексей Михайлович. Это же напутствие повторил Якову Черкасскому, который выступал к Смоленску, и Борису Шереметеву, шедшему на Витебск. Патриарх Никон прочитал молитву *на рать идущим*. Были и послы от гетмана Богдана Хмельницкого, присягнувшего со всей Украиной на подданство Москве.

Князю Трубецкому со своим Особым Большим полком, с полковниками Куракиным, Долгоруким, Пожарским предстояло идти к Брянску, затем на Рославль, Мстиславль, на Могилев, чтобы как можно скорее добраться до Борисова и там соединиться с Большим полком Якова Черкасского. Торопиться следовало потому, что войска Богдана Хмельницкого недолго могли выстоять против ляхов. Что ж, и Мстиславль, и Могилев — православные города, воеводы и каштеляны, даже если католики, против своего народа не пойдут, и князь Трубецкой рассчитывал бодрым маршем быть у Борисова через пятнадцать-двадцать дней. За Москвой он сразу же из кареты пересел на вороного астраханского жеребца и проскакал вдоль полка, зная, что ратникам больше по душе воевода верховой, нежели в карете. Ратники шли хорошо, увидев князя, кричали «Слава!» — весело было на них глядеть. Дружно рысили так же рейтеры и драгуны, лоснились под жарким солнцем крупы их упитанных коней, косили глаза на скакавшего мимо князя.

К вечеру, однако, пересел в карету: все же пятьдесят пять зим и весен за спиной, не так легко сидеть в седле с утра до вечера. Настроение у него было доброе. Вспоминалась светлая патриаршая обедня в Успенском соборе, приглашение государя *хлеба есть*. А главное, слова, сказанные им прилюдно: *«Заповеди Божии соблюдайте и дела наши с радостью исправляйте; творите суд в правду, будьте милостивы, ко всем любовны, примирительны, а врагов Божиих и наших не щадите»*, — слова эти были обращены к нему, князю Трубецкому, но все внимали, будто обращены к каждому. Государь, вкусив освященного хлеба, сел на свое место и жаловал всех водкою и медом. *«Передаю вам списки ваших полчан, храните их как зеницу ока и берегите по их отечеству... к солдатам, стрельцам и прочему мелкому чину будьте*

милостивы к добрым, а злых не щадите; Если же презрите заповеди Божии, дадите ответ на страшном суде!»

До Брянска дошли за три дня, день отдыхали, тогда и прискакал гонец из Рославля с сообщением, что город сопротивляться не будет, городские повара с поварихами варят кашу, ждут. Такая новость всем понравилась, хотя другой и не ожидали, другой не могло и быть. В Рославль пришли к вечеру. Каши здесь в самом деле наготовили столько, что хватило и наутро. А главное, весь город высыпал навстречу, били в бубны, дудели, плясали. Понятно, не войску радовались, а тому, что обошлось без крови. Спать не дали от радости. А утром пошагали к Мстиславлю. Князь сразу же послал гонцов впереди себя, чтобы сообщили в Мстиславле о войске, приготовили кров и сытный обед.

Больше восемнадцати тысяч ратников шагало — пыль стояла столбом. Позади строя на двуконных хорошо окованных повозках везли коротко-ствольные полевые пушки.

* * *

О том, что новой войны с Московией не избежать, мстиславский воевода Друцкой-Горский знал с того времени, как посольство Репнина-Оболенского возвратилось в Москву ни с чем. Московиты требовали, чтобы Корона заключила мир с Украиной, с Богданом Хмельницким, и ликвидировала унию. А еще требовали казнить того королевского писаря, который в обращении к царю Алексею Михайловичу пропустил «повелитель всея Руси». Мог ли Ян Казимир пойти на это? Ясно, что нет.

Кто сомневался — и в Короне, и в Великом Княжестве, — что московиты готовятся к большой войне, если помчались посланцы в Швецию, Данию, Голландию, на больших кораблях везли свинец, порох, мушкеты, пищали? Если уже формировали полки иноземного строя: рейторские, драгунские, гусарские... Да и посольство Репнина-Оболенского не мир ездило заключать, а высмотреть, что делается в Речи Посполитой, сильна она или слаба, готова к войне или нет. А покоя в Короне не было, не было и мира меж поляками и литвинами. Януш Радзивилл, польный гетман Великого Княжества Литовского, и вовсе заявил: «Придет время — поляков в окна выкидывать будем!» Давно пора звание *польный* сменить на *великий гетман литовский,* но не желает Ян Казимир возвышения Радзивилла. Какой уж тут мир? Однако король есть король, гетман есть гетман и приходится обоим друг друга терпеть.

Городские униаты тревожно собирались у своих церквей: что-то будет?.. Православные тоже были насторожены: московиты — единоверцы, но ведь — войско, а от войска добра ли ждать? Католики и вовсе были испуганы: известно, как московиты любят их вместе со всеми кардиналами и Папой Римским. Они, католики, побежали в костелы, в надежде узнать от ксендзов что-нибудь утешительное, но ничего не услышали, кроме призыва молиться Иисусу Христу.

«Хрестьянского закона ни в чом не ломити», «хрестьянства греческаго закону не рушити, налоги на их веру не чинити, а в церковные земли и в воды не вступитися», — требовали указы Яна Казимира от воевод, которых он назначал в большие города. Относилось это прежде всего к воеводам-униатам и католикам. В Мстиславле никто поначалу не «ломил, не рушил» православную веру, но скоро влияние и католиков, и униатов стало расти... Теперь же у всех тревога была одна.

Между тем, гонцы, которых по нескольку человек Друцкой-Горский держал и в Орше, и в Смоленске, и в Брянске вести приносили неважные:

Смоленск обложили крепко, роют ход под крепость, и часть войск двинулась к Орше. Самая худшая новость: полк князя Трубецкого пришел в Брянск и двинул на Рославль. Значит, войска идут в двух направлениях и очень скоро их можно ждать в Мстиславле.

То, что московиты их не пожалеют, Друцкому-Горскому было понятно. Надежда была только на помощь Януша Радзивилла. Или же на милость князя Трубецкого, если присягнуть, перейти под руку Алексея Михайловича. К Янушу воевода сразу послал гонцов, и вернулись они ободренные: я вам помогу, держитесь, передавал он. Такой ответ мало успокоил Друцкого-Горского, было ясно, что Радзивилл лукавит, хочет, чтобы войско московитов подольше задержалось у Мстиславля. Ему надо выиграть время в расчете на помощь короля Яна Казимира.

Если намерен помочь Мстиславлю, так помоги сейчас! Но и за такой ответ спасибо.

На другой день Друцкой-Горский собрал магистрат и городскую шляхту, священников православных и униатов, ксендзов. Что будем делать? Биться с московитами или откроем город? Разное предлагали. Молодые говорили: биться. Пожившие: сколько нас, что мы можем? Мнения разделились даже в магистрате: *биться!* — кричал городской войт Вырвич, сверкал красными, словно вечно не выспавшимися, злыми глазами; *московиты только начинают поход, силы у них через край, понимаете, что здесь будет?* — возражал бурмистр Добрута. В конце концов, решили закрыться на Замковой и ждать Радзивилловой *отсечи*. Конечно, часть православного священства да и шляхты готовы были встретить Трубецкого хлебом-солью в надежде на милость, однако на какую милость могут рассчитывать ксендзы, шляхтуны-католики и униаты? Они и поддержали воеводу: закрыть ворота, а биться, если московиты станут штурмовать Замок. Не может быть такого, чтобы не помог польный гетман, войска у него двадцать тысяч.

Были и такие, что не явились на сбор. Их, не явившихся, оказалось немало. Что ж, если удастся прогнать московитов, останутся после войны без поместий.

Громкоголосые бирючи побежали по посаду: кто хочет, может укрыться на Замковой. Опоздаете — поднимем мост, закроем ворота. Однако живность — коров, лошадей и другую, какая у кого есть — с собой не брать: чем ее кормить-поить там? С живностью уходите подальше из города, а лучше всего — в леса.

Люди на Замковую повалили толпами. В панике были и мстиславские евреи: дошел слух, что в Дорогобуже московиты собрали на площади и силой покрестили в православие всех иудеев.

Надо сказать, что молодая шляхта держалась бодро: плен — позор шляхетскому званию, сражаться будем, пока сабли в руках. Пробовали даже петь военные песни, правда, не слишком громко. Войт Вырвич тоже подпевал и ходил с ними по Замковой, изображая бодрость и веселье. А вот магистратские радцы с лавниками поглядывали на них недоверчиво: без причины веселье, словно говорили они. Бурмистр Иосиф Добрута и вовсе выглядел озадаченным, даже растерянным.

Оказалось, ночью отправил семью в Радомлю, где у него были родственники — от Мстиславля, примерно, тридцать верст.

Бурмистру Добруте исполнилось сорок лет, Анна, его жена, была немногим моложе. Жили они вместе лет двадцать, но детей у них не было. Оба

давно смирились с одиночеством, как вдруг Анна испуганно сообщила ему: «Бремената я, Осенька». Он и не понял сперва, недоверчиво поглядел на нее. Жизнь устоялась, устроилась, а новость эта обещала такие осложнения, что Добрута и не рад был ей. Несколько дней с ожиданием поглядывал на жену: может быть, признает, что ошиблась? Очень скоро, однако, надежда и несмелая пока радость вытеснили все иные чувства и опасения. Теперь он и утром, и вечером, приходя из магистрата, всякий раз спрашивал взглядом: все хорошо, Аннушка? Анна была так же молчалива, как он, и отвечала улыбкой: хорошо, Осенька.

Поздние роды прошли тяжело, родилась девочка. А потом Анна взялась беременеть едва не каждый год-полтора. Когда родилась первая дочка, Добрута испытал странное чувство: жалость к ничтожному человечку и страх за него. Но когда девочка поползла, а там и потопала на кривых ножках, все чувства вытеснило главное — нежность.

В будущем тоже рождались девочки, и теперь у него было пять дочерей. «Обсыпался девками», — посмеивались в магистрате.

Сомнений в том¸ что делать перед опасностью, у него не было: надо спасать дочерей. Пусть погибнет Мстиславль со всеми жителями — шляхтой, кметами, холопами, наконец, пусть погибнет он сам — были бы живы его дочки.

Он приказал кучеру, что служил ему много лет, запрягать; супруге с девкой Дусей — собираться, и на рассвете проводил их за город, до Большого оврага, а сам, как только они исчезли вдали, возвратился на Замковую. Шел и не видел дороги: слезы застили глаза. Казалось ему, что и жену, и дочек видел в последний раз. Но что ж, думал он, даже если в последний, — была в его жизни любовь, был в жизни смысл.

* * *

О том, что бурмистр отправил семью в Радомлю, Дарья, жена Друцкого-Горского, узнала в тот же день и тотчас отправилась к мужу. Побелевшие, плотно сжатые губы говорили, что приняла решение и не собирается уступать.

— Ты нас не собираешься отправлять?

Вопрос не застал врасплох, об этом он думал каждый день. Может, и надо было, когда узнал об осаде Смоленска, отправить их в Оршу, где стояли войска Януша Радзивилла. Но, во-первых, московиты уж точно пойдут на Оршу, и как там сложатся обстоятельства, непонятно; во-вторых, надеялся, что на Мстиславль они не пойдут: что им здесь, в малом городе? Ну а когда примчались гонцы из Смоленска, а затем из Орши, то есть, стало известно, что туча войск московских идет на Великое Княжество, и непонятно, сможет ли Януш Радзивилл остановить их, уже и смысла не было отправлять.

— Поздно, — ответил он. — Даст Бог, продержимся. Да и что скажут люди?

— Что мне до них? — сказала она. — Я возьму детей за руки и пойду пешком.

Друцкой-Горский был во втором браке. Первая жена, дочь Смоленского воеводы Самуила Соколинского, умерла десять лет назад от непонятной болезни: утром почувствовала недомогание, а к обеду ее уже не стало. Год спустя в его дворце в Мстиславле оказалась Дарья из рода Храповицких. Впервые он увидел ее в Полоцке, когда приехал к тамошнему воеводе польному гетману Янушу Ки́шке, с женой которого, Кристиной Друцкой-Соко-

линской, он был в дальнем родстве. Приехал для того, чтобы подивиться на Софийский собор, недавно восстановленный после пожара. Такая же беда случилась в Мстиславле — сгорела православная Троицкая церковь — и он хотел заполучить мастеров. Приехал на неделю, но задержался сперва на две, потом на три, но и через месяц, уже собравшись в дорогу, понял, что не в силах уехать. «Отдай мне Дарью», — в тот же день обратился к Янушу Кишке, дядьке Дарьи, который давно понял причину его гостевания. «Долго думал», — проворчал тот в длинные усы. Дарья жила у него с пяти лет. Когда родители ее погибли во время очередной войны с Московией, Януш Кишка забрал Дарью к себе. Конечно, пора отдавать девицу замуж, но своих детей у Януша с Кристиной Друцкой-Соколинской не было, и оба они и с радостью, и с грустью приняли эту весть.

Ну а Дарья была счастлива. Не так уж плохо сироте выйти замуж за красивого воеводу, пусть он и старше на двадцать пять лет. Жизнь обещала ей и любовь, и спокойное будущее. Была у нее и служанка, кметянка Януша, Кася, девица не многим старше Дарьи. Она прислуживала ей много лет, привязалась душой и сильно печалилась, когда догадалась, почему загостился Друцкой-Горский. «Поедешь со мной?» — спросила Дарья незадолго перед отъездом. И по тому, как вспыхнули ее глаза, поняла, что только об этом и мечтала последние дни.

Вскоре после приезда в Мстиславль Друцкой-Горский подарил Дарье кобылу-трехлетку с коляской двуколкой. Однако Дарья вдруг отказалась от коляски и попросила седло. Сидела она в седле ловко, скакала легко и, снимая ее с седла, Друцкой-Горский чувствовал, что нежность к этой молодой женщине, не иссякает в душе. Вот только скоро ее прогулки верхом закончились. Лошадь была породистой, но имелся у нее недостаток: была она «босоногой», то есть у нее были тонкие и плоские копыта. Однажды, поранив ногу, она взвилась на дыбы, и Дарья свалилась с лошади, — ничего себе не повредила, но казалась сильно озадаченной. В тот же день она виновато прислонилась к мужу. «Дитя я жду», — произнесла, словно повинилась перед ним. Понимая ее состояние, Григорий осторожно обнял ее. Слава Богу, беду пронесло мимо. В положенный срок Дарья родила здорового мальчика.

Все заботы по уходу и воспитанию мальчика взяла на себя Кася, оттесняя даже Дарью. С еще большим рвением и старанием хлопотала, когда родилась дочь.

Однажды Дарья решила, что надо найти Касе жениха. Она была бы хорошей матерью, а возраст требовал с замужеством поторопиться. На богатого рассчитывать не приходилось, но работал в магистрате конюхом молодой вдовец Гришка. Он охотно женился бы на Касе, если дать приданым кусок хорошей земли. Понятный разговор уже произошел между воеводой и Гришкой. Он побывал в доме Друцкого-Горского, с интересом поглядывал на Каську и она, казалось, благосклонно взирала на него. Но когда Дарья решила поговорить о будущем, Кася неожиданно заявила, что замуж не собирается, а хочет уйти в Могилевский Свято-Никольский монастырь. Желание богоугодное, но Дарья не ожидала такого решения и грустила: не хотела расставаться с Касей, к которой привязалась, как к сестре.

«Когда ты хочешь постричься?» — «Теперь», — ответила Кася. Что ж, она всегда была богомольной, Дарья не раз среди ночи заставала ее на коленях у маленькой иконки Богоматери, которую держала на своем столе. «Подожди до лета», — попросила Дарья.

А летом началась война.

* * *

Полк шел без обеда, рассчитывали, что в Мстиславле, как и в Рославле, будет приготовлена каша на всех, — шагали дружно и чем ближе к городу, тем веселее. Конечно, сам Трубецкой мог найти возможность поесть — кто осудит немолодого князя? — хотя бы пожевать мака, что поднесли ему купцы в Рославле, или орехов, которых начистил для него полковой поваренок Митька, — нет, он хотел быть заодно с войском. В Хославичах, когда до Мстиславля оставалось тридцать верст, поваренок с горшком каши встал на дороге, но князь его прогнал. Тем более, что увидел: скачет во весь опор навстречу всадник и всадник этот никто иной как его посыльный, что еще с вечера поскакал в Мстиславль — повез грамоту Алексея Михайловича. Грамота была известная, о том, что белорусцам нечего опасаться, пускай откроют город и спокойно ждут гостей. Спешился у самой морды коня Трубецкого, рухнул на колени.

— Не пропустили меня к воеводе, княже! — прокричал, запыхавшись.

Раз за разом кланялся посыльный у копыт княжеского коня, будто истово бил в церкви поклоны — сильно испуган был вестью, которую привез, и то: плеткой мог получить по спине, хотя и безвинен. Князь никогда долго не думал, как поступить: вспыхнут черные глаза — загорятся даже глубокие глазницы, просвистит трехвостая татарская плетка. И лучше не подавай голос: охнешь — получишь еще раз и два, — сколько его рука захочет. Впрочем, вскрикнешь — получишь то же самое. А если хорошая весть, мог даже сойти с коня, принародно расцеловать посыльного.

— Как вымерли! — продолжал посыльный. — Кто спряталася за городенем, кто ушел из города! Только собаки бегают! Мост подняли... Перелез овраг, кричал, бил в ворота — смеются за городенем, иди в Москву, юрода, кричат...

«Смеются?..» — разом закипело в груди Трубецкого.

Очень хотелось князю полоснуть его плеткой за такую весть, но и показывать гнев нельзя: нет причины, а впереди по земле белорусцев долгий путь. Плеткой он угостил своего коня и помчался вперед, словно и вообще ничего особенного не услышал. Проскакал, опередив головной строй рейтеров на три версты, и остановился: вдруг подступила одышка, словно не на холеном жеребце скакал, а бегом бежал. «Старость», — подумал. Одышка стала возникать в последний год без всякой причины, достаточно было малого волнения, и так же вдруг исчезала. Долго сидел, пригнувшись к луке, но когда показались головные конные желдаки, выпрямился и помчал обратно. Проскакал до самого конца строя. Шли ровно, бодро, сотенные стяги с большим крестом посередине, увидев приближающегося князя, подняли высоко. Сотник Бурьян, взвеселившись душой, что-то крикнул своим боевым холопам, и они тотчас грянули: «Слава!» Особенно хорошо шли стрельцы: пищали с перевязями-берендейками для пороха, сумки для фитиля и пуль, бердыши на спине, сабли или шпаги на боку. Все это радовало и веселило князя.

Долгорукий, Пожарский и Куракин шли со своими полками. Он их позвал, не слезая с коней, коротко обговорили мстиславскую новость. Да и о чем говорить? Мстиславль без помощи королевских войск — шишка на ровном месте, и не заметим как сковырнем.

Возвращался в голову колонны и опять услышал дружное: «Слава!» Музыканты-сиповщики и барабанщики тут же грянули марш. Хорошо начинался поход!

Ратники князя Трубецкого любили. Многие не впервые шли с ним походом, знали, что зря в битву князь не пошлет, обед, хотя бы раз в день,

обеспечит. Однако был строг: «*А деревень бы не жечь, те деревни вам пригодятся на хлеб и на пристанище; а кто учнет жечь, и тому быть во всяком разорении и в ссылке, а холопу, который сожжет, быть казнену безо всякой пощады*». И приказ свой исполнял четко.

До Мстиславля оставалось верст пятнадцать-двадцать.

* * *

Плотник Никола Белый был хорошо известен на Мстиславщине. И не только потому, что руки золотые, а потому что вперед денег не требовал да и вообще цену не назначал. «Сколько дадите», — говорил. А вот чтобы за стол позвали, это любил, причем всенепременно с крепкой горелкой. Кое-кто и пользовался этим, так напаивали его, что забывал, где он и с кем. Но не позови за стол после работы — топор на плечо и пошел. А назавтра уже не придет, даже если крышу крыл — недокрыл. «Пошли, Никола! Горелки у меня полный глек!» — «Ну и пей, хоть залейся». Хоть танцуй перед ним — не вернется.

Говорили, что топор у него не простой — заговоренный. Жила-была да померла в Мстиславле старуха — всем известная ворожея. Сбил ей Никола топчан, а она и говорит: «Нет у меня никаких грошиков, а есть слово сильное. Хочешь, топор твой заворожу?» — «Давай!» — обрадовался Никола. «А как тебе ворожить, на худое или доброе?» — «Зачем мне худое? — отвечает Никола. — С ним за стол не сядешь, а сядешь — поперхнешься. Ворожи на добро». Она и наворожила. А еще предложила: давай и тебя самого заворожу на добро. Переменился после этого Никола Белый. Прежде на каждый праздник ходил пьяный по городу, бился с хлопцами, а теперь стал спокойный, как поп или монах.

А еще говорили, что топор этот два раза крали у него накануне престольного праздника святого тезки его Николы Угодника: один раз — на Николу Зимнего, другой — Летнего. Сильно переживал хлопец: ого, топор! Пошел помолиться, попросить какой-либо помощи, вернулся домой — вот он, лежит под лавкой. Так же было и во второй раз. Только не под лавкой лежал, а на лавке. Так оно и на самом деле было. Правильно наворожила старуха.

До той ворожбы в помощниках у старых плотников ходил — подай-сбегай-принеси, копай-бей — а тут наперебой стали звать люди. Теперь уже старые плотники его просили: возьми, будем тебе помогать. Молва шла, что особым чином освящен его топор, или и правда заговорен на добро, и жить в доме, срубленным таким топором, будет легко. Особенно молодые хотели, чтобы строил им. Чтобы дети росли здоровыми, чтобы сила не иссякала, чтобы, как говорится, и хотелось, и моглось. Чудесный был топор. К примеру, никак не беременела женка Игната Кривого Настя, а срубил им Николка хлевушек — сразу понесла. Конечно, языкатые бабы шептались, что если б Николка пришел к Насте без топора, то же получилось бы.

Старики тоже хотели новую хатку, пусть и маленькую, хоть бы на одно окошко, чтобы пожить подольше, но где ты времени наберешься на всех? «Хоть порожек в хате мне сделай», — просили иные. «Да что вы? — возражал он. — Как я успею всем?» А тут еще увидел как-то Василиску Рыжую и рот раскрыл, все глядел вслед. Она уже давно скрылась за калиткой, а он все глядел. Раньше видел — ничего, поглядит — и за работу, а тут глянул — и... Бывают, наверно, такие дни, хотя иные говорят — ночи. То есть, если на восходе луны глянешь — пропал.

Жил он с отцом-матерью, с братьями-сестрами — все в одной хате. Тесно, тяжко, а ему нравится. «А зачем мне хата? — говорил. — Мне и с вами неплохо». — «Что, всю жизнь быком ходить будешь? — сердились братья. — Иди к воеводе, проси леса в Дуброве. Он тебе не откажет».

Короче, пошел Никола к воеводе Друцкому-Горскому леса просить. «Ладно, — ответил воевода, — бери, где хочешь и сколько хочешь, вот только сделай порожек в моем доме». Бурмистр Добрута тоже тут как тут: «И мне!» А следом и урядники из магистрата, войт, даже возный, что с разными объявами по городу бегает: а нам? Чуть ли не год ходил Никола по хатам, строил порожки. В конце концов Василиска обиделась: «Не пойду за тебя!» Правда тут же тихо добавила: пока хату себе не построишь. Глупая девка, видно. Пойду-не пойду... Еще как пошла! Понеслась! Поскольку не она одна в городе, есть и другие. Идут мимо — остановятся, глядят, как Николка топором чешет. А если еще рубашку скинет, так что загорелая спина переливается... Тогда все городские девки, что на выданье, стоят толпой. Пойду-не пойду... «Не будь дурой!» — говорили ей отец-мать, свояки и соседи. В общем, быстро опомнилась.

Но и Никола поразумнел за год: начал себе хатку строить. Ох, как звенел его топор! Василиска, как только свободная минута, тут как тут: то ли на его спину глядит, то ли этот серебряный звон слушает. А еще потому стоит, глядит и слушает, чтобы никто больше не останавливался. Брысь, девки, брысь! Мое. Надо сказать, что и он, если выдастся минута, тоже глядит на нее, улыбается. «Чего лыбишься?» — спросит она. — «А чего мне не лыбиться?» — ответит он. А улыбки у них, что у него, что у нее, хорошие.

Между прочим, бывшие подружки невесты часто интересовались: а правда ли, что топор у твоего Николы заговоренный? «Конечно, правда, — отвечала, — а как же». — «А сам Никола — тоже?» — «И сам». — Но и она, Василиска, спрашивала Николу: правда ли? — «А ты что, не веришь?» — отвечал он. — «Верю». — «Ну так чего спрашиваешь?» — «Нет, ты мне прямо скажи!» — «Я и говорю». — «Что говоришь?» — «Это и говорю».

Такая вот у него была манера: спрашивай не спрашивай — ничего не поймешь. Только улыбается в усы и бородку. А бородка у него была пушистая, мягкая, и Василиска даже прилюдно не стеснялась потереться о нее. «Бесстыжая», — считали одни бабы. «Ага, — отмечали другие, — твоему бы такую бородку, тоже терлась бы, щекоталась каждый день».

И было это за год, а может полгода до того, как к Мстиславлю приблизился Особый Большой полк князя Трубецкого.

* * *

Вот он, Мстиславль! Увидели на холме город зеленый под заходящим солнышком и остановились, сгрудились. Как пасхальный кулич, украшенный куполами и маковками, поднялся он над окрестностями. Одна церковь, вторая, третья... Один костел, второй... Купола сияют, с неба ясный свет льется, словно сам Бог длань свою простер над этим местом земным, и живут тут люди да радуются. И ждут не дождутся их, ратников, людей и людишек Алексея Михайловича с пищалями, мушкетами, пиками, шестоперами да полевыми пушками.

Церкви — это хорошо, вот только кто там обращается к Богу? Не униаты ли? Слышно было: отнимают униаты храмы у православных. Ничего, теперь все будет, как было, как при наших отчичах и дедичах.

Сильно устали ратники к вечеру, а разом поднялось настроение. Все будет легко и хорошо, если так красиво. Непонятно только, почему князь Трубецкой приказал расположиться в пойме реки на ночь. И где каша? Почему молчит князь?

Осадив Замковую, Трубецкой приказал снова послать парламентеров к городскому воеводе, но опять мстиславцы ворота парламентеру не открыли. Это и привело в ярость. Такого — чтобы отказались разговаривать — у него еще не было. Да еще и смеялись за воротами. Кроме того, скоро Трубецкой узнал, что мстиславский воевода Друцкой-Горский собрал жителей на Замковой горе, держал перед ними слово, и все вопили в ответ: «Бьемся!» Это кто и с кем собирается «биться»? У него, Трубецкого, больше восемнадцати тысяч войска, не говоря о пушках, а у них?.. Главное, были на Замковой и церковники: ксендзы, попы и униатские, и православные, — отслужили всяк по-своему, тоже призывая к отсечи. Ксендзы — понятно, знают, что их ожидает, то же и униаты, но православные?! Должны понимать: их жизнь не переменится, ничего у православных не возьмем, все оставим как есть, ни полону не будет, ни разорения.

Понять здешний народ трудно. Лезут католики в каждую щелку, два костела подняли меньше чем за пятьдесят лет, униаты выжили православных с Афанасьевского пляца, — а все равно вопили все вместе: «Бьемся!» И конечно, местный воевода вдохновлял всех.

Рассказал обо всем этом переметчик. В одежде переплыл Вихру, поскольку на мосту стояла мстиславская стража, по лугу промчался к деревне Заречье. Дело было ночью, но его заметили с моста: луна светила ясно. Ударили из мушкетов, да не попали, кинулись вслед двое с саблями, — но тут ударили из мушкетов московиты, — остановились.

— Ведите его сюда, — приказал князь.

Ввели тотчас, видимо, знали, что князь пожелает увидеть, держали за дверью. Переметчик — это всегда хорошо, но стража с ним не церемонилась: впихнули грубо. И один глаз заплыл: поставили на всякий случай печатку, — вдруг не переметчик, а шпег?

Бросили на колени перед князем. Переметчик был еще молодой мужчина, лет тридцати. Рыжая бородка, рыжие волосы на голове торчком. Одежда на нем была мокрой, видно, не дали возможности хотя бы отжать.Трясло его и колотило от страха и холода.

— Говори! — приказал Кулага, полуполковник по званию, самый близкий Трубецкому человек.

— Православный я... — заговорил переметчик. — Кукуем меня зовут...

— Чего перекинулся к нам?

— Православный я! — твердил он.

Трубецкой внимательно разглядывал его. Переметчиков он повидал немало, все тряслись от страха, не зная, что их ожидает, а у этого и руки, и ноги ходили ходуном. Кулага заметил интерес князя, стал расспрашивать.

— Пушки в городе есть?

— На Замковой есть. Может, три... может, четыре... Не знаю. Я их не видел.

— А мушкеты, пищали?

— Которые огнем бьют? У шляхты есть. А еще шабли у них, а у холопов... у кого что. У кого топор, пика... Бердыши есть.

— Что они? Собираются открыть ворота или нет?

— Того не ведаю. Воевода, войт стоят за войну.

— А люди?

— Молчат.

— Ляхов много в городе?

— Ляхов мало. Католиков много. Два костела поставили! Унияты тоже... две церкви отобрали!...

— Что ж вы отдали?

— Это попы отдали. Им все равно как молиться, а народу не все равно. Бить их надо!

— Понятно, — произнес Кулага. — Будешь бить?

— Буду, панок, — ответил переметчик и за такие слова тотчас получил пинок сзади.

— Тут тебе не Литва, холоп!

Кивком головы Трубецкой приказал увести переметчика.

Униатов князь Трубецкой ненавидел больше, чем католиков. Католики — что ж, какие есть, такие есть, открытые враги православия, а униаты — волки в овечьей шкуре, еретики, изменники, предатели православной веры. И ясно сказал Алексей Михайлович перед походом: *католикам не быть, униатам не быть, жидам не быть на русской земле*. Ну, жидов в Мстиславле мало, а вот в униатство попы перетащили половину людей. Понятно: кто скрепя сердце, а кто и земного ради благоденствия переходил в унию, тащили за собой людей. Что ж, будет им и Папа Римский, и Чистилище.

Ярость его объяснялась еще и тем, что намерен был первым оказаться у Борисова, прежде Черкасского и Шереметева. Только и не хватало застрять у Мстиславля.

К этому времени мстиславскую стражу на мосту, что не пожелала сдаваться, утопили в реке.

— Ставьте пушки, — приказал Трубецкой.

Полковник Пожарский, командовавший пушками, обрадовался: будет случай проверить умельство молодых пушкарей.

* * *

Солнце уже поднялось, щедро золотило окна и стены — все, как всегда, вот только слышался за окнами дворца неясный ропот. Многие, видно, провели ночь без сна. Пролежал до рассвета, не закрыв глаза, и Друцкой-Горский. Поднялся, выглянул в окно, и, увидев бурлящий водоворот жителей, подумал: не надо было звать на Замковую людей.

Дарья тоже почти не спала этой ночью. Ходила в детскую несколько раз, о чем-то говорила с Ульяной. Пробовала прилечь и тотчас поднималась.

— Я умереть не боюсь, — вдруг сказала она. — А дети? Пусть бы пожили, хоть столько, как мы.

— Ну что ты, будут жить. Войско Радзивилла подоспеет через день-другой, — сказал он, хотя вовсе не был уверен в этом.

— Лучше бы ты открыл ворота, — пробормотала она.

Они говорили об этом не первый раз. Дарья считала, что надо впустить московитов.

Он не ответил. Умылся-оделся, надел кунтуш — синий, с серебряными отворотами — вышел на крыльцо. Люди почему-то жались ближе к дворцу, и пять стражников, стоя полукругом, закрывали вход. Гул тотчас утих, глядели на него во все глаза, веря, он знает нечто, чего не знает никто.

— Слава воеводе! — выкрикнул один из стражников.

— Слава! — обрадованно отозвались в толпе.

Каждый в эти минуты хотел высмотреть в лице воеводы уверенность, что все будет хорошо. Увидев Друцкого-Горского, люди бежали ко дворцу со всех сторон.

Из церкви Успения Богородицы доносилось пение. На Замковой униатской церкви не было, не было и костела, здесь молились православные, да и католики с униатами жались к церкви.

Вопросы людей сводились к одному: что будет? Можно ли ждать отсечи Януша Радзивилла? Да, помощь польного гетмана будет, полк уже идет к нам. Мы выходить на бой не станем, но ворота не откроем, а коль московиты пойдут на приступ, будем борониться. Люди с жадностью глядели в его лицо, вслушивались в слова.

В мстиславском гарнизоне было около трехсот ратников, и задача их была не воевать, а защищать город в случае нападения какой-либо блуждающей подорожной вольницы, отнимающей у крестьян живность. Все ратники были конные, поскольку воры ходили по деревням подчас далеким от города. Друцкой-Горский приказал отвести лошадей к коновязям: нынче они, скорее всего, не понадобятся, и поставил ратников вдоль всего городеня, чтобы сбивали московитов, если станут лезть наверх. «Дня три-четыре надо продержаться. Полк Януша Радзивилла идет к нам», — повторял он. И это не было обманом, сам верил, что подмога будет. В войске Януша, — а они были хорошо знакомы, даже дружили в молодости — двадцать тысяч человек, он может и должен помочь Мстиславлю, должен понимать, что своими силами городу с московитами не справиться. К тремстам гарнизона можно было добавить сотню молодых шляхтичей, но соотношения сил это нисколько не изменило бы.

А штурма, скорее всего, не избежать.

В Орше воевода держал несколько гонцов, с тем, чтобы они хоть при каком-то движении войск Януша Радзивилла в сторону Мстиславля сообщали ему об этом. Но пока ничего о том, что происходит в Орше, воевода не знал.

Разное было в лицах. Одни согласны терпеть муки осады, другие воодушевлены предстоящей схваткой, третьи хотели бы выйти с Замковой к московитам. Друцкой-Горский знал, что открыли ворота Невель, Полоцк, Дорогобуж, Рославль, и откуда-то люди тоже об этом проведали, видимо, разнесли гонцы, прискакавшие из этих городов.

Похоже было, что кое-кто, например, Добрута, хотели бы присягнуть русскому царю и сохранить свою службу. А там, даст Бог, получить не только прощение, но и звание ротмистра или полуполковника, если не полковника, как получали бурмистры и войты в других городах. Это для больших городов, для войск и знаменитых воевод — победы и поражения. В малых городах и понятий таких нет, им надо держаться в надежде на чью-то помощь, голодать в осаде, молиться с утра до вечера да проклинать врага и судьбу.

Друцкой-Горский прошел по Замковой, приказал раздать шляхте имевшиеся в Замке мушкеты, выкатить пушки. Со стороны Вихры, откуда прежде всего можно было ожидать нападения, мужики подтаскивали поближе к краю огромные бревна-катки, камни и колья.

У ворот Замковой раздался дружный хохот, а затем опять: «Слава воеводе!» То были молодые шляхтичи, все были возбуждены, даже, казалось, веселы: сверкали глаза и зубы, дружелюбно глядели на Друцкого-Горского.

— Что у вас? — поинтересовался он.

— А вот!

Друцкой-Горский увидел несколько долбленых ульев с пчелами.

— Что это будет?

— Подарок Трубецкому! Угостим сладким!

С удовольствием побыл с ними несколько минут. Вдруг подумал, что с такими молодцами они вполне могут выстоять перед Трубецким. Если, конечно, подоспеет полк гетмана.

Опасность со стороны московских единоверцев он чувствовал всегда, но Мстиславль от внезапного нападения защищали Орша и Смоленск. Похоже, однако, что нынче им самим впору было спасаться.

* * *

Шляхтянок с детьми на Замковой было много. Они сразу же образовали свою толпу, тревожно озирались и говорили, говорили. С ними же была Дарья. А в полдень они подошли ко дворцу.

— Выпусти нас отсюда!

Конечно, это было общее мнение и решение, но настроила женщин Дарья.

— Куда?

— Все равно куда. Здесь опаснее, чем в посаде.

Что ж, наверно, они были правы.

Войско Трубецкого уже стояло на лугу за Вихрой, осада еще не началась, и Друцкой-Горский распорядился опустить мост. «Я тоже пойду», — сказала Дарья. Ульяна уже приготовила детей, стояла у двери, взяв их за руки.

Запрягли две кареты и несколько кметянских телег. В сопровождение Друцкой-Горский выделил два десятка молодых шляхтичей.

«Ты нас прости», — сказала Дарья. Обвила за шею руками, и Друцкой-Горский ощутил ее вздрагивающее тело и на щеке слезы.

«Идите в горы, — сказал напоследок. — Может, встретите войско Януша».

Многие подошли попрощаться. А когда приворотники снова подняли мост, вдруг стало ясно всем, что боя теперь не миновать.

* * *

Есть люди, без которых не обходится никакой город. Был такой человек и в Мстиславле — то плачет, то смеется. Руки у него как руки, а с ногами беда: то ли одна нога короче другой, то ли одна здоровая, а вторая сухая. А все равно скачет, кувыркается... Одним словом, животряс. А еще свистит так, что у людей уши закладывает. И песни поет. Но не те, что люди, а какие-то свои — слов не разобрать. Правда, когда поет, то уже не кувыркается, а плачет, а люди слушают и тоже плачут. «Вот дурень, — говорят, — опять сердце рвет. Иди с глаз!» Отойдет в сторону и опять поет. В общем, как говорится, не поет, так свищет, не свищет, так прищелкивает.

Песни у него были разные, каждый день новая. Но одна песня особенная. Пел он ее один раз в году, на Троицу, и не прилюдно, а в одиночестве. Забирался еще с ночи на Девью гору, самую высокую в окрестности города, и ждал, когда выглянет из-за леса солнце. А выглядывало — смеялся, пританцовывал, что-то бормотал, ликуя оглядывался на город, будто люди сомневались, что покажется, а оно — вот. Смеялся и пел громко, с переливами. Так, что бабы — и молодые, и старые — из ближних хат выходили послушать и тоже смеялись: вот же Андрюха — голова два уха, а как поет! Но были и такие, что сердились: чего вы хохочете? Это ж он плачет!

Веры был, конечно, православной, церковь посещал часто, молился истово, и, если судить по слезам, что-то просил у Бога. А вот на исповедь к батюшке Павлу то ходил каждый день, то вовсе забывал о ней, не появлялся неделями, а вспоминал — каялся в грехах так истово, словно и не надеялся на прощение. Какие это были грехи, лишь им обоим да Богу известно. В глаза людям его грехи не бросались, хотя, конечно, были. У всех есть, как без них, такое уж создание человек, даже во сне грешит.

Мимо костелов проходил мирно, а мимо униатских церквей — перекрестится, потом отвернется и плюнет.

Все просил батюшку поставить его на левый клирос: молитвы он знал не хуже других, хотя никто не учил. Но как поставить? Все ж не такой человек, как все. Мало ли что, вдруг и здесь засвистит, защелкает?

Жил он один: ни отца, ни матери, ни сестры, ни брата. Ел, что придется и когда получится. То одна хозяйка похлебки нальет, то другая, а не нальют — накроется какой хламидиной с головой да и уснет на пустой кендюх. В самом деле, почему это надо есть каждый день? Кто сказал?

Самое интересное, что были да и есть женщины, которые говорили: перестань свистеть — возьму к себе. А как ему не петь-не свистеть, если, может, родился с серебряной ложкой во рту?

Был он не местный — приблудный. Только приблудился не издалека, а из-под Кричева, откуда прогнали его люди: не захотели слушать, как поет и свистит. Прибился он тогда на одну зиму к старику со старухой, но прижился и каждый день говорил: вот помрете, похороню вас и пойду дальше. Скорей помирайте! А то скоро меня опять прогонят, кто тогда будет вас хоронить? Однако старики померли, а люди мстиславские не прогоняли, им даже понравилось, как он поет и свистит. Остался. Опять же, хатка маленькая и дырявая, но жить можно. Летом в ней хорошо, потому что не жарко, ветерок в ней гуляет, осенью можно заткнуть мхом дырки в стенах и окошке, хламидину повесить на дверь, чтобы не дуло, а зимой Андрюху привечали монахи в Пустынском монастыре. Правда, монастырь этот теперь униатский, но попы там хорошие, можно перезимовать.

Нет, в Мстиславле ему нравилось больше, чем в Кричеве. Люди здесь, опять же, хорошие: то щец, то похлебки, то хлеба с молоком подадут. А бывает, и киселя.

Никто его особо не обижал, а с детьми он дружил. Правда, как-то раз побил кузнец Костыль: схватил за шиворот и вон, да еще выспятком в мягкое место. Объяснял потом людям, что сильно надоел Андрюха: стоит и стоит у горна, свистит и свистит. Поскольку раньше его здесь не били, обиделся, ушел из города, целый месяц жил в лесу. Весь город взволновался, особенно бабы: где он? А когда узнали, что кузнец бил Андрюху, заплевали его. Как так? Божьего человека выспятком? Даже мужики хмурились: нашел кого бить! Скоро, конечно, обнаружили его в Пустынском лесу. Пошли в город, звали. Не пойду, отвечал. Здесь буду жить. Здесь хорошо, птицы поют. Даже Костыль приходил, ругался с ним, дескать, перестань позорить меня. Нет, как оглох. Но ничего, похолодало — вернулся.

Очень Андрюха любил те дома и хаты, где тепло и сухо, особенно осенью и зимой. Там он пел свои самые лучшие песни. Пел-пританцовывал. «Хватит петь, — говорили ему, — щец стынет!» А он все поет и поет. Песня для него была важнее щей.

Но все же больше всего любил посидеть на травке — там, где Никола Белый рубил новые дома.

— Посвистеть тебе? — спрашивал.

— Посвисти, только не шибко, чтоб уши не заложило.

И Андрюха свистел.

— Молодец, — говорил Никола. — Здорово.

— А спеть?

— Спой, — усмехался Никола. — Только чтоб слезу не вышибало.

А вот этак не получалось. Люди собирались около него, и бабы обязательно начинали плакать.

— А давай я тебе хатку твою поправлю, — предложил как-то Никола. — Дверь не закрывается, дырки в углах. Замерзнешь зимой.

— Не надо, — неожиданно отказался Андрюха. — Я долго жить не буду. Пожил, хватит.

— Как так? Болеешь или что?

— Нет, не болею... — говорил с неохотой. — Мамка меня зовет. Каждый день, как лягу, зовет. Придут люди с огнем, говорит... Нельзя будет жить.

— А мне? — спросил Никола весело.

— Тебе можно. И Василиске можно. Живите.

Такой ответ Николе понравился.

— Ладно, — сказал, — поправлю твою хатку. Будешь жить. — И поправил, правда, уже в то лето, когда началась война.

Когда Андрюха узнал, что приближаются московиты, нисколько не испугался. А чего пугаться? Что Бог даст, то и будет. Ему, похоже, даже интересно было: какие они, московиты? Такие, как мы, или нет? Может, с ними будет хорошо и даже лучше.

Когда народ повалил на Замковую, он пошел следом. Ему ведь главное, чтоб людей побольше. А тут и дети, и мужики, и бабы, и шляхтуны, и попы с ксендзами. Весело! И там постоит-послушает, и здесь. Везде интересно, и не гонят. Что-то хорошее будет, непонятно только, чего все молчат, а если говорят, то тихо, так, что слов не разобрать. Но что-то будет. Даже магистратчики здесь во главе с войтом среди людей, даже воевода.

И детей много. Вот кого он особо любил, так это детей. И они его любили. Толпами бегали за ним: «Андрюха — голова два уха!» А то и в спину палкой или по голове. А он? Выйдет утром на улицу и смотрит: где дети? Вон они! «Ого-го-о! Ига-га-а!» И, конечно, через голову кувырком, туда-сюда, туда-сюда.

Он их тоже свистеть научил. Весь город свистел. Непонятно только, почему матери на них сердились. Некоторые свистели очень хорошо, уши приходилось затыкать.

Когда выкатили пушки, он тотчас вскочил на дуло, как на коня, но-о! — закричал, — но-о! — хворостиной стегнул, еще бы разок и — помчался, но прогнали, даже по шее легонько дали, пообещали добавить, если еще раз подойдет близко. И Андрюха опять не обиделся, а только захохотал, засвистал, как соловей-разбойник, закурлыкал, как журавль. Курлы-курлы-курлы!

Поздним вечером третьего дня к Друцкому-Горскому подошли три священника: отец Павел, ксендз Мартин и униат Софроний. «Открой нам малую брамку», — просили. «Зачем?» — «Пойдем к Трубецкому». Воевода молча глядел на них. Понимал, насколько безнадежны намерения священников. Но убеждать отказаться от попытки помочь людям?

— Открой, — приказал приворотнику. Тот тотчас распахнул кованую железом калитку, и священники исчезли во тьме.

Шли молча, обо всем было уже переговорено. «К князю от людей мстиславских», — говорили, если останавливала стража. Задержали их только у шатра.

С удивлением глядел на них Трубецкой. Православный — понятно, ему ничего не грозит в стане русского войска, но униаты и католики должны знать, как любят их и в Москве, и по всей Руси. Приглашать в шатер не стал. Дал возможность помолиться, насмешливо спросил:

— Что скажете, святые отцы?

Роли у священников, по-видимому, были распределены. Отец Павел тотчас ступил вперед и поклонился отдельно.

— Просить тебя, князь, пришли за людей наших мстиславских. Ты знаешь, что есть у нас православные, есть католики, униаты, есть иудеи. За всех мы пришли просить. Ты появился на Божий свет от православного отца, крещен в православие, тебе понятно, что такое смирение перед Господом нашим Иисусом Христом, который сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною». Бог наш терпелив и милостив. Пришли мы просить и тебя о терпении и милости к людям. У тебя силы много — не дай погибнуть городу Мстиславлю. Много людей в городе, все сейчас с надеждой смотрят на тебя и твое войско.

— Ты, ксендз, что скажешь?

Ксендз Мартин, сильно волнуясь, тоже шагнул вперед.

— И я пришел просить, князь. — Ксендз приехал в Мстиславль из Польши и говорил с сильным акцентом. Наверно, акцент и рассердил Трубецкого: нахмурился и даже резко отступил назад, как отступают от неприятного собеседника.

— Я тоже к милосердию твоему взываю, — продолжал ксендз. — С надеждой мы пришли к тебе. Нас не так много в городе. Мы никого не принуждаем переходить в нашу веру, люди выбирают сами. Пускай они живут и молятся, как хотят. Каждый человек ищет утешение, и мы ищем его вместе с ним. Это единственная наша цель. Только Бог может рассудить, кто прав, кто не прав. Не надо наказывать людей за их веру.

— Не надо наказывать? А вы будете строить свои костелы на православной земле, так? — насмешливо сказал Трубецкой. — Не мешать вам соблазнять людишек?

— Нет, князь, — тихо возразил ксендз, не поднимая глаз, — мы не соблазняем. Наоборот, мы говорим, что путь к вечной жизни с нами труднее, просто покаяния и исповеди мало. Путь к Богу долог и труден, но мы верим, что Езус Христ внимательнее следит за нами и этим помогает всем нам.

Не хватало еще слушать проповедь ксендза русскому князю! Трубецкой дернул головой, словно прогоняя досадную муху, сказал:

— Хватит!

Разговаривать с мерзким униатским попом Трубецкой был и вовсе не намерен, но тот без приглашения сам шагнул вперед.

— Люди унии не хуже православных, князь. К примеру, здесь, в десяти верстах от Мстиславля, есть монастырь в деревне Пустынь. Сто лет он простоял в разрухе после войны Ивана Васильевича в Ливонии, а сейчас наши люди взялись строить там новый храм во славу Господа. Чем это не богоугодное дело? Чем они заслуживают такую нелюбовь православных?

О том, что государь Иван Васильевич Грозный прошелся там железной рукой, Трубецкой знал от патриарха Никона.

— Строите храм в монастыре? А православные храмы не отнимаете? Наших попов не изгоняете? Православных верующих не преследуете? Сколько тысяч душ вы совратили среди белорусцев? Скольких изменою вере отцов лишили надежды на жизнь вечную? — Тот молчал. — Ступайте, — сказал Трубецкой, — и передайте вашему воеводе, чтобы открыл ворота, иначе пойдем на приступ. Он не продержится и один день.

Трубецкой ушел в шатер, задернул полог.

Уходили священники в молчании. Отец Павел был стар, наверно, потому и горбился больше других. А может, потому, что главные надежды люди связывали с ним, с его встречей с Трубецким, а он эти надежды не оправдал. Когда проходили мимо стражников, послышался смех и свист — относилось это, конечно, к ксендзу, которого узнали по сутане.

Трубецкой решил дать возможность мстиславцам опомниться. А между тем — посетить монастырь в Пустыне, о котором перед походом ему говорил патриарх Никон. Монастырь — с чудотворной криницей и посетить его следовало, дабы успешным был весь поход. Он и вообще любил монастыри, посещал их в каждом городе, в котором приходилось бывать по воле судьбы, любил и поговорить с монахами, чаще всего с настоятелями, но если по какой-то причине настоятель отсутствовал, не брезговал и простыми чернецами. Возвращаясь из походов в Москву, всегда рассказывал об увиденных монастырях и монахах государю, не забывая упомянуть о своих постах в понедельник, среду и пятницу, когда постился сам государь. Алексей Михайлович в эти дни постился строго: к пище вовсе не прикасался, лишь пил воду. Впрочем, и в остальные дни ел мало, порой один раз в день, и даже капусту приказывал подавать без масла. Трубецкой так жить не мог, хотя и старался следовать Алексею Михайловичу. Что ж, ему уже пятьдесят пять, а государь молод, недавно исполнилось двадцать пять. Несомненно, рассказ о Пустынском монастыре заинтересует Алексея Михайловича.

Однако тогда же патриарх сообщил, что ныне там хозяйничают униаты. Впрочем, это следовало проверить.

Трубецкой потребовал лошадь. Кулага, привычно поддержав ногу, помог взобраться. Драгуны сопровождения тоже приготовились ехать, но князь остановил их. Хотелось побыть одному. К Кулаге он настолько привык, что и не замечал его. Однако, миновав деревню Заречье, оглянулся и увидел, что драгуны в полуверсте все же следуют за ним.

До пустыни было около десяти верст, проскакали быстро. Вот и монастырь среди густых лесов.

Картина открылась печальная: стояла деревянная церквушка и чуть в стороне домик — самое большое на десять монахов. Следы очень давних пожаров еще заметны были там, где когда-то стояли два больших храма. Березняк и осинник подступали со всех сторон. За домом был участок обработанной земли, там с мотыгами ковырялись несколько старых монахов. Они разогнули спины, молча глазели на князя. Подъехали ближе к ним.

— Униаты? — спросил Кулага.

— Волею Божьей, — ответил старший из них и перекрестился.

Трубецкой с презрением поглядел на этих ничтожных человечков.

— Где святая криница?

Впрочем, можно было не спрашивать: утоптанная тропинка вела под гору. Спешились, пошагали вниз.

Монахи побросали мотыги, одни поспешили к своему храму, другие — к жилому домику. Но Трубецкой не собирался заходить ни в храм, ни в дом. Они с Кулагой спустились к подножию холма, на котором стоял монастырь, и сразу увидели небольшую часовню, конечно, униатскую, и криничку. Тонкий ручеек бежал внизу холма, огражденный невысоким срубом. Имелась и скамейка для паломников. Здесь же стояла и деревянная кружка для желающих попить святой воды. Трубецкой брезгливо отодвинул ее и пригоршней

зачерпнул ледяной воды. Наверно, водица и в самом деле была святая: настроение сразу повысилось, стало легко, весело, и даже на монаха, глядевшего на них сверху и готового к услугам, он посмотрел миролюбиво. Однако отвечать на поклон и приветствие не стал. Да, место было в самом деле чудесное. Рядом, в зарослях ивняка, струилась малая речка. За речкой плотной стеной подходил к берегу лес. Нет, не горстка монахов будет здесь жить и молиться, вспоминая Папу Римского, а будет центр православия возвращенных России земель. Не случайные паломники будут здесь омывать руки и лица, а сотни, а может, тысячи православных со всей Могилевщины и Смоленщины. Может быть, даже сам государь и патриарх захотят посетить этот святой уголок и он, князь Трубецкой, станет сопровождать их.

Завтра он возьмет Мстиславль и все будет, как должно быть. Православный издревле город снова станет православным, без католиков и униатов.

Монахи уже догадались, что не простой, а очень знатный человек посетил их монастырь, кланялись ему, улыбались. Любое почтение, даже врагов православия, было приятно, но вид Алексей Никитич делал, что не одобряет его. «Здешняя честь мне грешному, — часто повторял государь, — аки прах».

Обратно ехали шагом. Некуда торопиться, еще один день он оставляет мстиславцам на размышления. Погода поменялась, накрапывал дождь.

* * *

Четверо суток ждал князь Трубецкой, надеясь, что мстиславцы все же откроют ворота, но когда прискакал шпег из Орши, следивший за войском Януша Радзивилла, с сообщением, что вышел пятитысячный конный отряд в сторону Мстиславля и, возможно, завтра же будет здесь, понял, что пора брать город.

Дело сделать он решил немедленно, ночью. И пушкари, и ратники были наготове. Все глядели на Замковую и на князя Трубецкого, который должен дать сигнал к штурму, и на полковников Пожарского, Куракина и Долгорукого, на полуполковника Кулагу, которого неизвестно за что возлюбил и приблизил к себе князь. Но Трубецкой молчал, словно чего-то ждал, наверно, что-то свыше должно было подсказать ему нужное время. Яркие звезды уже давно высыпали на небо, гремели со всех сторон цикады. Говор ратников то усиливался, то затихал, доносились со стороны города неясные звуки. А когда ожидание стало самым высоким и могло вот-вот пойти на спад, Трубецкой громко и решительно произнес:

— Царев град Мстиславль!

Эти слова тотчас повторил князь Пожарский и даже взмахнул рукой так, как Трубецкой, и тотчас по Замковой ударили пушки.

После второго залпа загорелись и дворцы, и хатки, раздались крики. Огонь — это хорошо, значит умело сработали пушкари, не зря истратили порох и ядра. Война! Умирают люди? Что ж, он, князь Трубецкой, тоже всегда готов умереть за Святую Русь, за государя Алексея Михайловича, но исконные русские земли должны быть возвращены.

— Царев град Мстиславль! — опять воскликнул Трубецкой, что означало начало штурма, и клич его весело подхватили ратники.

Со всех сторон карабкались они по крутым склонам Замковой.

Ох, как красиво и страшно горела она в ночи!

Надо было бы открыть ворота, стать всем городом на колени в молитве, но не открыли, не встали, напротив, стреляли из мушкетов, пищалей, швыряли

горящие головешки, бревна... Сам воевода Друцкой-Горский и войт Вырвич стояли среди шляхтичей с саблями и пищалями в руках. Странное веселье накатило на них: чем ближе подбирались по горе ратники Трубецкого, тем азартнее становились их лица. Страх исчез с первыми выстрелами, казалось, еле сдерживались, чтобы не перепрыгнуть городень навстречу войсковцам.

Ксендзы, священники униатских и православных храмов молились под ядрами и пулями о спасении города.

* * *

Хатка у них была небольшая, но так срублена и поставлена, что летом в ней не жарко, а зимой не холодно. Осенью, сколько бы не шли дожди — сырости ни в одном углу, а весной и летом столько солнца вливалось в окна, что, казалось, и на зиму тепла и света хватит. В такой хатке хорошо мужу любить жену, а жене отвечать любовью. Вот только детских голосов не было в хатке. Но дело это, конечно, поправимое.

Вот, например, последние дни Василиска что-то сильно загадочно поглядывала на Николу и улыбалась. А Никола загадок не любил, он любил поговорить за обедом о чем-нибудь простом и понятном, хоть о дождичке или ясном солнышке, и потому недовольно спросил:

— Ты чего?

— Николка, сказать тебе нешточко?

— Говори, — еще больше нахмурился: дескать, скорее всего, глупость собирается молвить.

— Нет, не скажу. Может, тебе не понравится. Кто тебя знает!

— Что не понравится?

— Это.

Тут уж перестал хлебать, положил ложку.

— Ты что, Васька? — такое ей придумал имя.

До сих пор она улыбалась, а теперь рассмеялась.

— Сынок у тебя будет, Николка.

Никола недоверчиво глядел на нее: любит она придумывать то, чего нет. Например, говорила: «Не пойду за тебя» — и пошла.

— Правда?

И тогда тоже посветлел с лица, улыбнулся и опять взялся за ложку.

— Скоро?

— К весне.

К весне — это хорошо. Солнце, травка, птички поют.

— Откуда знаешь, что сынок?

— Баба Зося сказала. «Не сомневайся, — говорит. — Хлопчик».

Баба Зося — известная в городе повитуха.

— Надо ей порог сделать, давно просит, — сказал Никола.

И было это за несколько дней до того, как войска Трубецкого расположились на берегу Вихры.

Когда народ, напуганный бирючами, повалил на Замковую, они решили остаться: как бросить поросенка, козу, кур, если только-только взбились на какое-никакое хозяйство?

Однако и на другой день, и на третий ходил Никола по двору сам не свой.

— Василиска, ты видела за Вихрой московитов?

— Как же, видела. С Троицкой горы, от церкви их хорошо видать. Страшно. Но они наши, православные, так?

— Так. Только многие бегут из города.

— Ага, католики, униаты. Тетка Анфиса ушла в Святозерье. Она униятка. А там у нее сестра. — И с удовольствием добавила: — А мы с тобой православные.

— Пойди и ты к ней.

— Зачем?

— Так ведь войско. Ратников тьма. Мало что... Стрельба будет, если воевода белый стяг не поднимет. Да и если поднимет... Войско. А подальше есть у тебя кто?

— В Калиновке крестная.

— Иди в Калиновку. До Святозерья рукой подать. Сейчас иди. Возьми что в дорогу и иди. Они, думаю, долго не будут стоять в городе. Куда-то дальше пойдут. Может, на Кричев, может, на Могилев... Тогда вернешься.

— А ты?

— Я хату постерегу.

— Не хочу без тебя, Николка!

— Не бойся, я под ворожбой живу.

— Да ну, Николка! Разве ворожба на войне помогает?

— Помогает. Иди, иди... Я тебе что сказал? Иди!.. Если б ты одна была... а как вдвоем...

— Не, не пойду.

— Не пойдешь?

— Не-а. Ты под ворожбой — и я с тобой.

Никола глядел на нее, как на последнюю дуру.

— Я тебя никогда не бил, Василиска, а сейчас поколочу как сидорову козу.

Обыкновенно он улыбался, когда говорил с ней, а теперь нет. Потому и испугалась Василиска. Поднялась из-за стола.

— Что стоишь? Иди!

Таким она его не видела. Собиралась медленно, все оглядывалась: вдруг скажет: «Ладно, оставайся». Но Никола хмурился и молчал. Наконец, собралась. Он ей и калитку открыл. Обняла, потерлась о пушистые усы, взяла узелок и пошла, все быстрей и быстрей.

А Никола в тот день еще пошел к бабе Зоське, повитухе, жившей на краю города. Давно она просила сделать новый порожек, или хотя бы подправить старый, и не для счастья или здоровья, какое уж здоровье и счастье ей, одинокой, а потому что старая совсем стала, не переступить через дырку, уже падала сколько раз, когда-нибудь и не встанет. Порожек оказался и правда совсем негодный, как она до сих пор ноги не поломала. Он провозился с ним до темноты и не успел, решил остаться здесь на ночь, чтобы утречком закончить работу.

Это его и спасло.

* * *

Отправив семью, Иосиф Добрута подумал, что надо было уехать из Мстиславля и самому, это было бы правильно, чем он может помочь воеводе? Но что потом, когда закончится война? Как жить? Как прокормить-вырастить пять дочерей? Что скажет король, если узнает, что сбежал? С другой стороны, останется ли Мстиславль в Великом Княжестве Литовском, не окажется ли Московским городом, и кто тогда для него король? Тьфу. Ну а для московского государя кто он, сбежавший из Мстиславля католик? Нет, надо остаться в городе и будь что будет. О том же, наверно, думает Друцкой-Горский,

и, конечно, те же вопросы и сомнения мучают его, хотя и летает по Замковой, как орел. Конечно, он — воевода, он должен летать, такая у него работа, но почему простой бурмистр должен жертвовать жизнью? Наверно, есть люди, которым нравится воевать, рисковать, побеждать, но это никак не он.

Все они: и воевода, и магистратчики, и простая шляхта поимели свое счастье, жили не тужили до сих пор, а он только в пятьдесят почувствовал, что Бог наконец-то внимательно взглянул на него. И что станет с его семьей, если он погибнет? Что останется ей, милой супруге с детьми, кроме паперти церкви? Он вообразил их в лохмотьях, с протянутыми ручками, грязных, несчастных, и слезы закипели в глазах. Нет, он не должен погибнуть, он должен жить, жить во что бы то ни стало!

Когда ударили первые пушки московитов, и ядро попало во дворец воеводы, Андрюха — голова два уха сильно испугался: что это, почему? Начал бегать по Замковой взад-вперед, пытаясь что-то спросить или сказать, но никто его не хотел слушать. А когда загорелись другие дома, закричали-заплакали женщины и дети, понял, что надо спасаться.

Одно ядро разворотило ворота Замковой, и он выбежал на дорогу, что вела к реке, и, хромая, помчался вниз. Дорога была видна плохо, сухая нога цеплялась за траву, за кочки, он спотыкался, падал, десять раз проюзил на животе и спине, пока, наконец, спустился с холма. Здесь, внизу, увидел строй людей с саблями, пиками, шестоперами — все глядели на Замковую. «Царев град!» — раздался непонятный клич, и эти люди с криками кинулись вверх по Замковой, размахивая саблями. Стало еще страшнее, и Андрюха вспомнил про Пустынский монастырь, где спасался от холода минувшей зимой.

Дорога к монастырю шла через реку. Сразу за мостом в отблесках пожаров он увидел большой шатер, а перед шатром стояли три ратника. «Эй! — крикнул один из них. — Иди сюда!» Он послушно шагнул к ним и тотчас получил удар в живот. Андрюха упал, но тут же вскочил и кинулся к этому ратнику, чтобы объяснить, зачем он здесь, и получил еще удар. И все же надо было объясниться, сказать, что не виноват, и он опять поднялся. Но тут они почему-то рассердились и стали бить его все вместе, не выбирая как и куда, что посильней, и он забыл, что собирался сказать. Запел-засвистел, запрыгал на одной ноге, а стражники схватили его под руки и потащили подальше от княжеского шатра. Один из них, наверно, хороший, тихо и ласково спросил: «Ну что, юрода, оторвать тебе голову?» А второй, злой, громко сказал: «Пускай живет дурачок».

Дорога за Вихрой шла в гору, оттуда опускался теплый и нежный, как вода в Святом озере, прогретый до самых звезд воздух, и Андрюха, оттолкнувшись здоровой ногой, легко поплыл в нем, лишь слегка пошевеливая для равновесия руками-ногами, с наслаждением переворачиваясь с боку на бок, с живота на спину и обратно; он уже забыл, что случилось на том берегу, и тихо посвистывал. Было хорошо, и с каждой минутой становилось лучше.

* * *

Матвей Добрута понял, что произойдет на Замковой, как только загорелся первый дом. Сомнения исчезли сразу. В давно не подновлявшейся крепостной стене он знал пролом, в который, если хорошенько согнуться, вполне можно пролезть. За проломом ни дороги, ни тропы, конечно, нет, только крутой обрыв в овраг, окружавший Замковую, за оврагом — такой же крутой

подъем, но все это — свобода, а свобода — жизнь. Тридцать-сорок верст до Радомли, где сейчас ждет его семья, он будет идти днем и ночью, без еды и воды, только бы поскорее увидеть жену и детей. Нет ничего важнее. Что ему этот город, эти вопящие от страха и боли люди, Друцкой-Горский с его орлиной повадкой, что ему до того, что будет с ними со всеми. Вот этот пролом. Он просунул голову, руку, ногу, но больше не получалось: раздался за последний год. Пробовал просунуть сперва ноги, — тоже застревал. А грохот нарастал, уже стало светло от пожаров, крики людей пугали и терзали душу, уже мелькнула мысль, что так, в проломе, его и найдут утром, и он в отчаянии рванулся, обрывая пуговицы на кунтуше, разрывая рукава, и — вырвался, покатился в овраг, даже не пытаясь задержаться на крутом склоне, наоборот, помогая телу кувыркаться, прижав ноги к груди. Наконец, оказался в самом низу. Теперь — вверх, на другую сторону, так же высоко. Зацепившись впотьмах за корень дерева, он упал, но тотчас встал на четвереньки и пополз вверх, оскальзываясь, обрываясь. Чувствовал, что руки уже в крови и по лицу течет кровь, и сил нет, но и остановиться нельзя. Вдруг он понял, что, упав, потерял направление и ползет в обратную сторону, снова на Замковую, туда, где уже совсем рядом — огонь.

Он все же повернул туда, куда следует, и на этот раз быстро добрался до верха оврага, но когда ступил на твердую почву, увидел два силуэта рядом и голос: «Глянь, еще один! Бей его!»

Это и была свобода.

Князь Трубецкой стоял у своего шатра и глядел, как горит Замковая и огонь пожаров уже перебросился на городской посад. Слышно было, как трещат бревна в огне, крики людей. Это было неприятно, но вместе с тем он чувствовал удовлетворение: предупреждал. Виноваты они сами. Конечно, пострадают и православные, но ни Бог, ни Алексей Михайлович его не осудят: не открыли ворота, оказались заодно с католиками и униатами. Впереди большая война, долгая дорога к победе, и что ему думать об этом малом городе, случайно оказавшемся на пути. В конце концов, ратникам вначале войны нужна хотя бы такая небольшая схватка и победа. Кроме того, надо было опередить малый полк Януша Радзивилла, шедшего на помощь Мстиславлю, чтобы избежать еще большей крови.

Ночь стояла густая, темная, волны сухого жара наплывали со стороны города. Он вошел в шатер, задернул полог, прилег на приготовленную постель. Постель была проста: суконный зимний чепрак и седло вместо подушки. Прикрыл глаза, но спать себе не позволил: нужно было дождаться сообщения об окончании штурма. А еще нужно было обдумать послание государю и милой своей супруге Екатерине Ивановне, в девичестве Пушкиной. Они прожили вместе около тридцати лет, и с каждым годом она все сильнее тревожилась за него, но теперь пришла пора ему тревожиться за нее: очень плохо чувствовала себя супруга, когда он уходил в поход.

Его служба при Дворе начиналась удачно, уже восемнадцати лет был он назначен стольником при государе Михаиле Федоровиче, но вскоре попал в немилость. Причина была понятной: в трудные времена Смуты его родной брат Юрий примкнул к ляхам, вместе с ними ушел в Польшу. Не столько государь Михаил Федорович, сколь отец государя, патриарх Филарет, который провел девять лет в польском заточении, стал недоброжелателем всех Трубецких. Сперва отправил его в Тобольск, затем — в Астрахань. Только через два года после смерти Филарета он смог возвратиться в Москву. И кто, кроме Екатерины, поддерживал его все эти дни и годы? Только она.

Послания Алексею Михайловичу он надиктовывал писарю, но супруге писал сам. «...пишу тебе, благоверная супруга Екатерина, из-под града Мстиславля, что почти на границе Княжества Литовского с нашей святой Русью, — начал составлять он. — Богопротивные униаты и католики от неразумия своего отвергли мое предложение открыть врата на Замковую гору и присягнуть светлейшему государю нашему Алексею Михайловичу, и пришлось мне наперво осадить град, а затем с сокрушенным сердцем, приговорили с полковниками бить Пожарскому ядрами, послать Долгорукова и Куракина с их ратниками на приступ. Дело пошло успешно и сия великоважнейшая задача...»

Тут послышался топот копыт, кто-то спешился, и у входа в шатер раздался голос полуполковника Кулаги:

— Царев град Мстиславль!

Князь вышел к нему.

— Где мстиславский воевода? — спросил он.

— Ранен, князь. На копье взяли его.

— Экая болванщина, — сказал Трубецкой. — Воевода нужен живым!

— Не сильно ранен, будет жить, — неуверенно предположил Кулага. Главное в таких случаях — не позволить взорваться. Полуполковник догадывался, что князь приблизил его к себе именно для того, чтобы срывать свой необузданный гнев. Совсем иначе он говорил с Куракиным, Долгоруким, Пожарским.

— У нас потери есть?

— Есть, — ответил Кулага с чувством вины.

— Сколько?

— Пока не знаю. Много. Дрались белорусцы.

— Что значит много?

«*Передаю вам списки ваших полчан, храните их как зеницу ока и берегите по их отечеству...*» — вспомнился наказ Алексея Михайловича. Голос у него был звонкий, глаза ясные — совсем еще молод царь.

Сегодня Трубецкого раздражало все. И то, что есть потери, и то, что мстиславцы взялись драться всерьез, и голос Кулаги, и его молчание.

— Забери моего лекаря и поезжай к воеводе, — раздраженно приказал Трубецкой.

Вернулся в шатер, снова прилег. «...Дело пошло успешно и сия великоважнейшая... преполезная для... дерзость их... приговорили с полковниками... благочестивыми ратниками моими... укрепи во бранех дондеже... А еще глас бысть мне от образа Пресвятой Богородицы, глаголющ... исцелиши от недуга твоего... возложи на ю аггельский образ... припаде к честным ногам Ея...»

Нет, не составлялось письмо. Отвернул полог, вышел.

Солнце всходило над лесом, засверкала роса на просторном лугу. Едким дымом ночных пожарищ потягивало с городского холма, порой доносились неясные крики. Полковники еще не появлялись, значит, дело не завершено, но пушки уже молчали. Он спустился к реке, омыл лицо. Течение здесь было быстрое, вода холодная. Во многих реках пришлось ему за долгую жизнь ополоснуть руки, через много городов довелось пройти. Было тихо, только порой под кустами раздавались заполошные всплески. Поднялся на крутой берег, опять прислушался. Что за крики? Не мужские, но и не женские голоса.

А еще доносился запах жареного мяса: неподалеку расположилась кухня. Он завтракал рано, и повара начинали готовить на рассвете. Однако сегодня запах еды показался ему тошнотворным.

Скоро можно будет входить в покоренный город. Обычно он въезжал верхом, во главе роты драгун, с полковниками, с игрецами на сиповках,

с бубнами — это красиво, если красива победа, если люди встречают по обе стороны дороги, местные попы стоят с крестами и образами, жители кричат здравицы, а девки бросают цветы. Но здесь было что-то иное. Он вообразил картину, которая ожидает его, и настроение испортилось.

А вот и полковники показались: легкой рысью, не торопясь, весело. Конечно, на приступ они не ходили, но лица у всех были закопченные, усталые, — что ж, сутки без сна. Скрывая раздражение, Трубецкой обнял каждого, поблагодарил от имени государя Алексея Михайловича. Подтвердили: город замирен, ратники с полуполковниками и сотниками ищут пропитания. Не бедный город, найдут. Наши повара с поварятами тоже что-то варят...

Они спустились к реке, весело плескались там, громко охали — вода все же была холодна.

Вместе завтракали. Долгорукий рот не мог закрыть — все говорил и говорил. Именно его малый полк ходил на приступ. Ратники Куракина стояли во втором ряду, занимали дороги, — им нечем было похвастать.

— Ого, как дрались мстиславцы! Потому и рассердились полчане. Не хватало еще, чтобы убивали ратников наших в начале пути.

У каждого был свой шатер и, позавтракав, полковники отправились отдыхать. Князь Трубецкой тоже снова прилег и неожиданно крепко уснул.

Сон ему привиделся славный: патриаршая служба в Москве, хлеба у государя, прощальная речь Алексея Михайловича — и пробудился он в хорошем настроении. Вышел из шатра, увидел Кулагу, что давно ждал его здесь. Полуполковник вскочил.

— Все готовы, Алексей Никитич! — доложил он.

Все — это значит драгуны сопровождения, музы́ки и, конечно, полковники.

Трубецкой поежился: ночью похолодало, ветер нагнал облака, начал сеяться спорый дождь. И все же надо было входить в город. Драгуны стояли у лошадей, ждали. Подвели коней и Трубецкому, полковникам. Полковники еще молоды, вскочили легко, а ему как всегда помог Кулага.

— Алексей Никитич, сиповщиков взять?

— Не надо, — поморщился Трубецкой. Он любил бодрую военную музыку, но теперь, подумалось, что игрецы на сиповках и бубнах и вообще всякое трубное козлогласование ни к чему.

Они поднялись на Замковую. Вообще-то такого Трубецкой не ожидал. Тела лежали везде, куда ни посмотри: стреляные, резаные, колотые. Одни — лицом к земле, словно пытались бежать и пика или пуля догнала их на бегу, другие — на спине, будто хотели в последний раз глубоко вздохнуть и взглянуть в небо, одни — широко раскинувшись, иные напротив, подобрав под себя и руки, и ноги, словно затаившись в траве. Несколько женщин ходили от тела к телу, видно, в поисках близких, ходили молча, но вот и закричали-зарыдали сразу две: нашли. И другие тотчас откликнулись им.

Священник ходил с крестом и кадилом, тихо бормотал «за упокой».

— Поп православный? — спросил Трубецкой.

— Да, князь. Ксендзов и попов-униатов в городе больше нет.

Трубецкой повернул лошадь к выезду. Тела лежали и в посаде, в переулках больших и малых. Было видно, что не только убегали, но и защищались — и в одиночку, и сообща. Лежали на дорогах, на порогах хат, будто надеялись спастись за дверьми, висели, перевалившись через прясла.

Противно было на все это глядеть.

Хотелось поскорее покинуть город и никогда больше не вспоминать о нем.

Он вовсе не собирался жечь и убивать их. Это они разъярили его ратников. Почему не впустили парламентера? Почему не открыли ворота? Почему бросали бревна на ратников? И верх наглости: почему швыряли ульи с пчелами на головы? Сами виноваты во всем, что произошло.

Он вдруг подумал, что война будет тяжелой и долгой.

— Где воевода?

— Есть тут сколько домов... Там лежит.

— Поехали.

Драгуны тоже тотчас повернули за ними. Кулага поскакал впереди, поднимая пыль, и Трубецкой сердился. Нарочно придержал лошадь, отстал, но не потому что досаждала густая пыль, а чтобы полуполковник, оглянувшись, раскрыл рот от испуга. Но Кулага не оглядывался, и раздражение нарастало. Наконец, Трубецкой и вовсе остановился, чтобы наказать дурака страхом, заставить уразуметь свой промах и повинно возвратиться обратно.

Так и получилось, вернулся. Серое лицо выразило раскаяние и нешуточный испуг. Рука князя крепко сжимала трехвостую плетку, просила взмахнуть, взлететь, просвистеть, но не хотелось дарить такое развлечение драгунам — все они были немцы.

Хата-пятистенка, у которой остановился Кулага, была довольно просторной, находилась далеко от Замковой, потому и сохранилась. Кулага спешился и все еще виновато кинулся к князю, помог сойти. Драгунам Трубецкой приказал остаться на конях.

Старуха, стиравшая в корыте тряпки, увидев их, опустила руки, ссутулилась. Вода в корыте была красной от крови.

Друцкой-Горский лежал на обычном мужицком топчане, укрытый рядном. Наверно, семья, в которую он попал, была небедной: висела иконка Богоматери в красном углу, у топчана на полу лежал домотканый половичок, была чисто побелена большая печь, кафелем отделана ее передняя стенка.

Трубецкой остановился в двух шагах от воеводы, вгляделся в его лицо. Кожа лица была серой, с воспаленными скулами и веками, пересохшими губами, трудным было дыхание, но Трубецкой был уверен, что Друцкой-Горский в сознании и нарочно прикрыл глаза.

Долго стоять было бессмысленно, он резко повернулся, так что Кулага стоявший у порога, должен был отскочить, и шагнул к выходу.

22 июля *великою потугою и усилством через штурм мстиславский замок* был захвачен. *Народ всякий шляхетский, мещан и жидов, а также простых людей в пень высекли... среди трупов живых находили и в плен в Москву забирали, побито было больше десяти тысяч человек*, — записал свидетель побоища.

Пятитысячный отряд Януша Радзвилла дошел лишь до местечка Горы: стало известно, что произошло в Мстиславле. Не было причины идти дальше и губить людей.

А вот письмо Великого Государя, Царя и Великого Князя Алексея Михайловича Богдану Хмельницкому: *Взяты взятьем и шляхты, поляков и литвы и иных служилых людей и ксендзы и езвуитов и иного их чину побито больше десяти тысяч человек.*

Под именем московского князя — *Трубецкая резня* — та ночь вошла в историю города.

Конечно, высекли не всех. Выжил, к примеру, воевода Григорий Друцкой-Горский и еще пять лет справлял свою должность. Жив остался Степан Иванов по прозвищу Полубес, о котором речь впереди, плотник Никола Белый

и его жена Василиска. Остался на этом свете и Андрюха — голова два уха, однако сильно изменился после той ночи. Перестал свистеть и только пел свои песни с непонятными никому словами, а может быть, вовсе без слов. А еще, согласно кивая головой, повторял, раз за разом: «Царев град, царев!»

* * *

На другой день после взятия города, Трубецкой отправил войско по направлению к Могилеву: никак теперь не прокормить здесь весь полк. Сам остался, так как был у него еще один наказ государя: везде искать умелых людей, везти в Москву. Распоряжение такое он передал полковникам и полуполковникам, сотникам. Поворотливые Кулага и сотник Бурьян явились уже к вечеру, привели переметчика Кукуя.

— Мастера какие в городе есть?

Кукуй тотчас упал на колени:

— Есть один *недосека*, князь, — произнес он. — Плотник Никола Белый. Хороший плотник, топор у него заговоренный.

Князь насмешливо смотрел на него.

— За что ни возьмется, все звенит.

— Как *звенит*? — спросил Бурьян и коленом пихнул его в спину. — Говори понятно!

— З*воном звенит,* панок, сам слышал. Быдто и сверху, и сбоку.

— А отзаду?

— Отзаду? — опять получил в спину. — Не знаю, княже.

— Дурак, — сказал Бурьян. — Кто еще?

— Еще есть кафельщик хороший, Степка Иванов. Кличка у него Полубес.

— Что за кличка?

— А кто ж его знает. Так прозвали люди. Сказывают, малюет хорошо, узорочно. Намалюет козу — она траву скубет, молоко дает. Кошку намалюет — мышей ловит.

— Что ты говоришь, дурень? — Бурьян готов был влепить Кукую оплеуху, но не решился при князе, оглянулся: что делать?

— Бери обоих, — приказал Трубецкой Кулаге, любимому полуполковнику.

Странный город. Заговоренные топоры, намалеванные козы, кошки... Впрочем, все пригодятся в Москве после войны.

Какой-то мужичок с реденькой бородкой, широко улыбаясь, подходил к ним и, глядя на князя, ласково повторял раз за разом: «Царев град, царев!»

Чем-то его вид задел Трубецкого.

— Что он бормочет? — обратился к Кулаге.

— Царев град, говорит.

— Кто он? — нахмурился князь.

— Божий человек, — сказал Кукуй. — Андрюха — голова два уха. Свистит как соловей, а поет — что ангел.

— Этого не надо, — поморщился Трубецкой.

Два месяца спустя, в пору ясного бабьего лета, от сохранившейся в пожарах Троицкой церкви, после общей молитвы Пресвятой Богородице Одигитрии-путеводительнице, отправлялся обоз в Москву. На каждой крестьянской телеге, запряженной печальными беспородными лошадьми, сидели люди: по пять-шесть человек. То были мастеровые, собранные по всем ближним городам и весям, для отправки в Москву. Были здесь плотники, кузнецы, кафель-

щики, гончары, ткачи, медники, жестянщики, стеклодувы... Был среди них и мстиславский кафельщик-ценинник Степан Иванов по прозванию Полубес. Оказавшись в Москве, он украсил чудными изразцами, сохранившимися до сего времени, храмы Иосифа Волоколамского, Новоиерусалимского, Солотчинского, Григория Неокесарийского, Покрова Богородицы в Измайлове,— и тем прославил на Москве себя и далекий город Мстиславль.

Через день Трубецкой отправлялся в Могилев. Полки его с Долгоруковым, Пожарским, Куракиным уже наверняка приближались к городу.

Свою верховую лошадь князь отдал конюхам, сел в карету, позвал к себе полуполковника Кулагу. Когда выезжали из Мстиславля, увидели в центре посада людей, большей частью женщин, возле пожарища. Приостановились.

— Что они?

— Молятся.

— Церковь была здесь, — подсказал Кулага.

Трубецкой молчал.

От толпы отделился человек и рухнул на колени перед каретой князя.

— Возьми меня в службу, князь! — завопил он. — Мне тут не жить... Забьют католики! — то был переметчик Кукуй.

— Трогай! — сказал Трубецкой кучеру, но тот то ли сильно заинтересовался, то ли не расслышал. — Что стоишь? — полоснул его плетью по спине.

Не столько от боли, сколько от испуга кучер ударил по коням, карета рванулась и помчалась, поднимая облако пыли.

Странствие

Эпизод из жизни знаменитого мастера-ценинника Степана Иванова-Полубеса

На третьем году жизни в Москве Степан Полубес затосковал, казалось, без всякой на то причины. Его уже хорошо знали, как замечательного кафельщика, изразцы его увидела царица Мария Ильинична (Ильична — говорили в те времена) и предложила украсить внутренние ее палаты. Была у него и женщина — Варя. В Гончарной слободе он жил в чужом доме, а у Вари была пусть небольшая, но своя избенка, а главное, Варя его любила и, лежа на его руке, тихо повторяла, посмеиваясь: «Возьми меня замуж, Степушка! Ты еще не знаешь, какая я хорошая! Деток я тебе рожу сколько хочешь! Жить буду, сколько скажешь!..» Приходил Степан не часто, но ничего не скроешь на узкой слободке, с утра до вечера бабы обговаривали ее. Только Варе до их обговоров дела нет.

Степан молчал, и Варя знала, почему: он ее не сильно любил. А любил он другую женщину, которая осталась в Мстиславле, когда по указу царя Алексея Михайловича мастеровитых белорусов увезли в Москву. В указе том было сказано: *«брать белорусцев с женами и детьми, у кого есть, на вечное жительство»*. Но женщина та, а точнее — невеста, Ульяница, сказала: «Как же я поеду с тобой, Степушка, если мать моя при смерти? Как же я оставлю ее? Как я жить буду после этого? Как в святую церковь войду?» — «А как мне жить без тебя в чужом краю?» — спрашивал Степан не ради ответа, а потому, что сильно болела душа. А потом они всегда долго молчали, потому что ответов на такие вопросы не было и не могло быть. «Может, мне сбежать от московитов куда в деревню?» — «Куда? — возражала Ульяница. — Они тебя все

равно найдут. Вон сколько войска у них. Поезжай, Степушка. А я досмотрю мати и приду к тебе». — «Как ты дойдешь? Как найдешь меня? Москва — не Мстиславль, она большая. Там вон одних колоколен сорок!» — «Уж я знаю, что говорю. Дойду и найду. Только ты жди меня».

И так целовала его, прощаясь, что все тридцать пять человек, уже сидевшие на телегах, и даже стражники с сотником Бурьяном притихли, а бабы горько заплакали, хотя ехали в дальний путь с мужьями и детьми.

Три года терпел, ждал Степан — и затосковал. И решил идти в Мстиславль, когда потеплеет, чтобы, опять же, по теплу вместе с Ульяницей вернуться в Москву. Насушил сухарей, взял криво строганную ложку и кружку, которые сторговал на базаре за полкопейки, положил все это в заплечный мешок. И однажды Варя пришла к нему, в его закуток, а в закутке никого нет. Она и на следующий день пришла — нет. И на следующий...

Был он в это время уже далеко за Москвой, шел по городам и весям, по лесам и полям, холмам и низинам, и было ему легко и весело, и с каждым днем веселее. Шел он и напевал песни, а еще и вслух, и мысленно разговаривал с Ульяницей, которая, конечно же, ждала его и, может быть, чувствовала, что он идет. Шел налегке, была у него только котомка, а в ней узелок с сухариками, узелочек с малыми денежками и женские сапожки, купленные в Москве. Дорогу он помнил плохо, но знал главное: через Можайск, Вязьму, Смоленск, затем на Монастырщину. Однако сперва решил зайти в Воскресенск, хотя это было совсем не по пути. Хотел встретиться с отцом Гавриилом, испросить благословения, да и проверить, как будут слушаться ноги: от Москвы до монастыря примерно семьдесят верст. Что ж, все получилось. Вышел ранним утром, когда Гончарная слобода еще спала. Никто и не заметил, как он покидал Москву и к вечеру следующего дня был в Воскресенске. Отец Гавриил ему обрадовался, пригласил на вечернюю трапезу и благословил на дорогу. А после заутрени Степан, не оглядываясь больше ни на Москву, ни на Воскресенск, пошагал быстро и бодро.

Конечно, к вечеру он сильно уставал, так уставал, что хотелось лечь посреди поля, и лег бы, если бы не голод, а сухарики, которыми запасся, давно закончились. Он шел, пока не попадалась на пути какая-либо деревня, и тогда круто сворачивал к ней, а еще точнее — к бабам, что всегда хлопочут в огородах около хатки и с интересом послушают странника. Охочи они услышать что-нибудь новенькое — это и выручало Степана. Просил водички в собственную кружку и произносил простые слова: «Из Москвы иду». Тотчас следовал вопрос: «А куда?» — «В Мстиславль». — «Где это?» — «Далеко...» Завязывался разговор. А когда узнавали, что идет за невестой, которая три года ждет его, тут и обязательный ужин, и ночлег. Но ведь и в самом деле было что рассказать и о Мстиславле, и о Москве. Тем более о той войне.

Долго шел. Трава выросла на полях, потом ее скосили, высушили, сбили в стога, а он все шел. Вспоминал о том, что было, мечтал о том, что будет, а когда, наконец, миновал Монастырщину, а затем и Пустынки и начал приближаться к Мстиславлю, ему стало страшно. Есть ли он, город Мстиславль? Не было его, когда их увозили в Москву, только несколько мужицких хат осталось на окраинах. Ждет ли Ульяница, к которой так прилепилась душа?

Он, когда их увозили, ни о чем и думать не мог, кроме нее. «Эй! — порой окликали его и мужики, и бабы. — Ты что? Эй-эй!» А через полчаса опять: «Эй-эй!» Семь телег ехали одна за другой, на каждой — по шести человек. Три стражника сопровождали, четвертый — сотник Бурьян. Эти шли верхом.

— Эй, малой, ты что?

Малой — так прозвали его. И правда, росточка он был невеликого и в плечах не аршин, но — крепенький, хваткий и быстрый. Если что случалось в дороге — телегу приподнять, колесо поправить — он тут быстрее всех.

От Мстиславля до Москвы примерно пятьсот верст, а ехали чуть не месяц: то колесо ломалось, то ось, то захромала лошадь. Не старый еще человек помер на дороге, пришлось хоронить; одна баба поехала глуздами. Как увидит большое село, кричит радостно: «Амтислав! Амтислав!» То есть — Мстиславль. Пришлось искать попа, чтобы снял бесовство. Зато потом до самой Москвы ни звука не произнесла. Настроение у людей менялось: бабы порой пели, порой плакали, мужики были повеселее. Неправда, как-нибудь устроимся, будем жить. Несколько человек сбежало по дороге, стражники за ними особо не гонялись: хватит тех, что остались. Тридцать одного человека привезли в Москву. В Москву — так говорилось, на самом деле приехали и остановились в Воскресенске, верстах в семидесяти от престольной, в Новоиерусалимском монастыре. Приехали ночью, но монахи словно поджидали их: высыпали к воротам, вглядывались в лица, ласково здоровались, неразборчиво повторяли какие-то молитвенные речения. Похоже, были предупреждены о скором привозе белорусцев. Монастырь являл собой одну деревянную церковь да стояло несколько изб для житья братии и хозяйствования. Две избы тотчас освободили для прибывших, как устроились сами — Бог весть, впрочем, как известно, монахи мало спят и едят. Не сильно накормили и гостей: принесли по кружке воды и краюхе хлеба, — и за то спасибо. Семейных — с женщинами и детьми — тотчас отвели в деревню, как-то устроились и они.

Степан проснулся рано, почти одновременно с монахами, вышел из душной избы, оглянулся, и настроение у него сразу повысилось: чем-то похоже оказалось на Мстиславль, — петляющая речка, похожая на Вихру, холмы, поросшие лесом. Конечно, деревня — не город, церковь только одна, деревянная, монастырская, хатки у людей победнее, но как-то живут... Затрубил пастух в хриплый рожок, заскрипели ворота хлевов, бабы и дети выгоняли коров в стадо. Просыпались и земляки, вылезали на солнышко. Местные жители уже прослышали о приезде белорусцев, с любопытством выходили к дороге, разглядывали. Вот уж будет нашим девкам радость, — читалось в лицах, — а хлопцам переживания.

А еще вылезали из деревенских изб мужики, которых свезли из окрестных деревень. Рубили лес за Истрой-речкой, возили землю на холм, чтобы издалека видны были будущие храмы.

Это был любимый монастырь самого патриарха Никона, и должен он стать Вторым Иерусалимом.

В стороне стоял еще один небольшой храм, восьмиугольный, со звонницей и кельей. По утрам в келью входил какой-либо монах, а то и сам настоятель, проверяя все ли там в порядке, чисто ли, горит ли лампадка перед иконкой Богоматери. Здесь изредка, когда раз в месяц, когда и чаще, ночевал сам патриарх Никон, останавливаясь по пути в Иверский монастырь. Сюда и пригласил однажды настоятель отец Гавриил Степана, показал на небольшую печь — побеленную, с лежанкой.

«Ты, я слышал, ценинные изразцы делал?» — спросил он. — «Знаешь, кто в этой келье останавливается?» — «Как не знать? Все знают». — «Вот и хорошо. Можешь ее украсить?» — кивнул на печь. «Могу», — ответил Степан. «Ну так с Богом. Трудись во славу Отца Небесного».

Конечно, не так просто было приступить к изготовлению изразцов. Нужно было построить два горна для обжига, печь для получения золы,

сделать чан, чтобы растворять глину, выкопать колодец, поскольку требуется много воды. А еще жесть нужна листовая, чтобы сделать вывод жара и дыма наружу, шкура говяды для горна, уголь, много угля. Нужны и краски добрые, поскольку должно быть пригоже, а еще... «Все у тебя будет, — ответил отец Гавриил. — Начинай».

Назавтра же Степан получил в свое распоряжение коня с телегой и несколько дней ездил по окрестностям в поисках глины, мял ее, нюхал, пробовал на вкус: не должна быть ни сухой, ни жирной и чтобы поменьше песка. Выбрал на местном базаре две добрых бычьих шкуры. Наметил место для колодца, для чана.

А чтобы изразец был веселым, радужным, нужно приготовить на яичном желтке поливу и пять красок: синюю, желтую, красную, зеленую, голубую. А чтобы рисунок получился ясным, нужны кисти, много кистей. Их он изготовил сам: из свиной шерсти для первых линий, из конского волоса, из шерсти собачьей, из перьев молодых петухов. А рисунок должен быть такой, какой не встречается в жизни, но чтобы люди останавливались и говорили: красиво. Как это у *него* получилось? И чтобы говорили: кто это сделал? Покажите его нам! А он бы прошел мимо, как будто все это не стоило ему никакого труда. «Вот этот малой? Белорусец? Ничего не скажешь, молодец...»

Три монаха из молодых и три мужика из ближних деревень вызвались помогать: дрова возили вместе с ним, глину копали, строили. Наконец, приготовления были закончены. «Завтра начнем», — сообщил Степан отцу Гавриилу. Настоятель благословил на удачу в работе.

* * *

Долго шел. В середине пути, перед Вязьмой, попал в грозу, а спрятаться было негде, вымок, застыл и захворал. Сильно расхворался. Сам себе не признавался, что слабеет, шатает его слева направо, что свет Божий то меркнет в глазах, то ярче яркого вспыхивает, так ярко, как огнем горит. Наконец, понял: не дойдет до Мстиславля. Повернул к ближней деревне, увидел людей на улице, подошел. «Белорусец я, — сказал. — Из Москвы иду. Да вот прихворнул малость». Мог бы и не сообщать, что прихворнул, язык заплетался, и такой жар от него шел, что за три шага было слышно и видно. Но лучше бы все же не признавался: не так давно мор был в Москве, выкосивший половину народа, — испугались, отводили глаза, никто не позвал поесть-переночевать. Да и не надо — поесть, только бы голову где-нибудь приклонить, глаза, в которых жар и пожар, закрыть. Нет, глядят жалостливо, молчат сочувственно, а не зовут. Стоял Степан, уцепившись за забор, вот-вот рухнет вместе с ним, смотрел в землю, ждал, что скажут. А не дождался. Тогда оторвался от забора и побрел дальше, как мог, как получалось. Деревня была большая, с любопытством на него глядели и другие люди, но он уже не подходил к ним. Решил: выйдет за деревню и ляжет на травку — очень даже казалась она теперь мягкой, зовущей, — прикроет глаза, отдохнет, а там видно будет. И когда уже приостановился, чтобы лечь или рухнуть, услышал:

— Эй, белорусец, подожди!

Женщина бежала следом. Он ее не разглядел, не понял, чего хочет она, что говорит, понял только, что взяла его под руку и ведет за собой. Сперва — под руку, а потом взвалила на спину и потащила. Ну, это уже ему рассказали потом, когда болезнь миновала, и Степан, наконец, открыл глаза. А не мог он открыть их долго — может, неделю, а может, и две. Но вот увидел Божий свет,

то есть избу на одно окошко, большую белую печь и женщину, что стояла в двух шагах и глядела на него. Увидел все это и подумал: хорошо. А потом начал вспоминать.

— Где я? — спросил. Давно не говорил, голос прозвучал незнакомо: слабо и хрипло.

— Дашка меня зовут, — вместо ответа сказала она.

Ага, Дашка. Что-то вспоминалось, а что... Вспоминать — тоже нужна сила, а ее не было. Опять закрыл глаза и сразу уснул. Но это уже был другой, хороший сон. На другой день, опять увидев Дашку, он сказал:

— Поднимусь.

Да не тут-то было. Силы не хватило даже ноги с топчана спустить.

— Лежи, — сказала Дашка.

Голос у нее был хороший, и сама — приятная. Хотелось на нее глядеть.

— Чего вылупился? — И улыбка у нее была хорошая. — Спи!.. А потом, увидев, что глаза открыты, пояснила: — Две седмицы ты у меня лежишь. Все думали — конец. А я надеялась — будешь жить.

Еще день и ночь пролежал Степан, а потом все же поднялся. А когда поел похлебки, что сварила для него Дашка, почувствовал веселье в душе и радость.

— Как же ты меня тащила?

— А что тебя тащить? Ты же малой. Я бы таких два взяла.

Она и в самом деле была большая и сильная.

А еще через неделю почувствовал, что совсем здоров.

— Что тебе сделать? — спросил.

— Можешь мою избу перекрыть?

— Ясно, могу. Солома есть?

— Есть.

Два дня трудился над крышей. Потом она попросила его перекрыть соломой сараюшко, потом помочь убрать-обмолотить просо, потом рожь, потом заменить половицу в избе, потом дверь в хлеве, потом углубить и расширить подпол, потом...

Порой к Дашке подходили бабы, к нему — мужики. Всех интересовало главное: останется или пойдет в свой Амтислав. Все советовали остаться. Чем тебе плохо? Дашка хозяйка справная. У тебя руки на своем месте. Будете жить.

Однажды вечером вошел в избу и увидел, что Дашка стоит перед ним в красной кофте, с полевым цветком ромашкой в волосах. А на столе — горячие щи, стопка блинов, сальце скворчит, кувшин киселя стоит. А посреди стола — еще один кувшинчик, правда, небольшой — крепкой горелкой весело в избе пахнет.

Тогда и сказал:

— Прости, Дашка... Пора мне, не дойду до зимы.

Она давно ждала эти слова и сразу опустилась на лавку, словно ноги не выдержали, заплакала.

— Как же я отпущу тебя, Степушка? Как мне жить теперь? Я тебя полюбила. Лучше бы ты тогда прошел мимо, лучше бы не побежала за тобой...

Так горько плакала Дашка, что у Степана едва сердце не разорвалось. Сел рядом, обнял за плечи.

— Я тебя тоже полюбил, — сказал он. — Только ведь она ждет. Отпусти меня.

— Как же я тебя отпущу? Я, наверно, умру без тебя, Степушка.

И еще неделю или две он жил у нее. И каждый вечер говорили об Ульянице.

— Она какая? Молодая, пригожая? Лучше меня?.. Это ей сапоги несешь? И платок ей?.. Нет, она тебя не ждет. Может, и вспоминает когда, а не ждет. Три года для женщины — много. Нашла она уже себе человека, если молодая и пригожая. Зачем ты теперь ей? Не ходи, останься. Тебе со мной будет спокойно. Я хорошая. Никогда не попрекну, слова дурного не скажу. А в Москве у тебя была женщина? Ясно, была. А она какая? Ты и ее бросил? Сильно тебя любила? Не жалко тебе ее было? Как ей теперь жить? А меня тебе не жалко? Сердце у меня кровью обливается, как подумаю, что хочешь уйти.

Но пришел день, и Дашка с сухими глазами сказала:

— Будешь возвращаться в Москву, зайди ко мне. Может, тогда останешься. Я тебя буду сильно ждать.

А еще на прощанье сунула ему в руку четвертачок, то есть полуполтинник. «Залог тебе, — сказала. — Будешь идти обратно, отдашь».

* * *

— Красота, — сказал настоятель, батюшка Гавриил, когда увидел, что получилось. — Недолго ты у нас поживешь. Заберут тебя.

Так и вышло.

Архипастырь приехал поздним вечером, было уже темно, келью освещала только лампадка, и он не заметил перемены. Келья была просторной, но для него, высокого и могучего, казалась мала. Впрочем, такую он захотел, заказал при строительстве. Долго молился перед образом Пресвятой Богородицы, лег отдыхать в призрачном свете лампадки, но утром, увидев покрытую изразцами печь, даже прервал молитву. «Кто сделал?» — спросил отца Гавриила. «Степан Иванов-Полубес, белорусец». — «Покажи его мне». И когда увидел Степана, сильно смутившегося перед ним, пред его горящими, как черные угли, глазами, Патриарх удовлетворенно кивнул. «Заберу его у тебя, — сказал настоятелю. — Поедет в Москву, в Гончарную слободу. Государыня Мария Ильична просила найти мастера по печным изразцам. Он и храмы наши московские украсит». Согласия Степана никто не спросил, и спустя несколько дней он оказался в Москве.

Гончарная слобода была веселым местом. Горшки, кувшины, кружки и, конечно, всевозможные игрушки, свистульки делали тут каждый Божий день с утра до вечера. Звон стоял, когда горшечники, проверяя свои изделия или продавая, смело стучали палочками по бокам. Звук должен быть звонкий, плотный, со всех сторон одинаковый и, упаси Господи, не дребезжащий. Тоже и горшечники оказались людьми веселыми, доброжелательными. Узнав, что появился новенький, шли знакомиться. Кто таков, откуда, что умеешь? Узнав, что не горшечник, а ценинник, выказывали уважение: таких мастеров мало, а на Гончарной и вовсе нет. Непонятно было, для кого работает Степан, а когда узнали — для царицы и патриарха Никона, — были озадачены: очень большой человек. И ответственность у Степана будет большая: страшно. Куда спокойнее продавать горшки бабам и мужикам.

Перевезли из Воскресенска и его горны, формочки, столы и полки для сушки, краски. Землю для работы отвели недалеко за Гончарной. Искать здесь глину ему не пришлось: гончары показали овражек, где в обрыве виднелась хорошая большая прослойка почти без песка. Песок для изразцов — беда. Для того и устраивают чаны, чтобы растворять глину, чтобы песок оседал на дно. Осядет — воду, не возмутив, надо слить... Потом глину собрать в кругляши, высушить, разбить в пыль, просеять... «Э, нет, — сказа-

ли гончары. — Нам такая работа не по душе». Весь поселок ходил поглядеть, как работает белорусец. С Варварой тоже познакомился здесь. Все женщины поселка перебывали, как их запомнишь? А Варю запомнил: улыбка у нее была такая, что сразу запоминается. Будто немного совестно ей, что пришла незваная, стоит за плечами.

«Быстро бегаешь, белорусик, красиво работаешь», — сказала. Так и звала его впредь: белорусик. А приходила часто. Все уже нагляделись, потеряли интерес — работа и есть работа, — а она приходила. Стоит, смотрит, молчит и — будто грустно ей. А наверно, и было грустно, потому что хоть и красивая, а Степан не оборачивался к ней, работал, будто никакой женщины за спиной нет.

— Поговори со мной, белорусик, — жалобно произнесла однажды.

Он только что размешал глину в чане, ждал, когда осядет песок. Сел на скамейку рядом. Если женщина просит поговорить с ней, значит, хочет о себе рассказать.

— Говори, — сказал он.

И она рассказала, что отец ее был гончар, и замуж она вышла за гончара, муж был хороший человек, но два года уже как нет его: распился, убили. Деток у нее нет и родителей уже нет. Живет тем, что продает на Москве чужой товар: кружки и свистульки, а как будет жить дальше, неизвестно.

— А хочешь блинов с грибками?

— Хочу, — ответил он.

— А кисель ты какой любишь? Овсяный, гороховый?

— Любой.

— Тогда я тебе оба сделаю.

Он ей тоже рассказал про себя. Про город Мстиславль, про войну, когда войско Трубецкого вырезало весь город, про Новоиерусалимский монастырь, про то, как понравилась его работа самому Никону.

— А жена аль невеста у тебя в Мстиславле есть? — жалобно спросила она.

— Есть. Невеста. Скоро придет в Москву.

Варвара вздохнула, дескать, так я и знала.

А когда признался, что было у него в Мстиславле странное прозвание «полубес», она рассмеялась.

«Какой ты полубес, ты — ангел».

Так вот они и сошлись.

* * *

В основном шел пешком, но иногда удавалось подъехать. Обычно, услышав стук колес, оборачивался, просительно улыбался во весь рот. «Подвези, родимый!» Останавливались, конечно, не все. Иные вперялись равнодушным взглядом, как в пень или сухую осину.

Вчерашним днем, услышав позади лихой галоп и веселые крики, отступил на обочину, не надеясь, что остановятся. Проситься есть смысл только к тем, кто-либо плетется шагом, либо бежит жалкой рысью, но никак не к тем, кто с песней летит по воздуху. Впрочем, и эти, увидев его, начали придерживать коней, но лишь настолько, чтобы не промахнуться. Хлестнули кнутом по спине и с хохотом помчались дальше. Это была ему наука, больше не оглядывался, не просился: как-нибудь доберется пешком, днем больше, днем меньше. А если, к примеру, опять мчалась веселая тройка, то и вовсе соступал с дороги подальше, поскольку не только кнутом можно получить, но и попасть под оглобли.

Еще проблема — как прокормиться. Была у него малая денежка: один целковый, один полтинник и два полуполтинника, то есть четвертака, но их он хранил для Ульяницы. Если шел по большому селу, подходил к людям, просил любую работу. Почти всегда находилась немощная старуха или отягощенный заботами хозяин, которые охотно принимали его. Пришлось по дороге и крыши крыть, и могилы копать, и заборы чинить. В общем, заработать на один обед или ужин удавалось почти всегда, а кто сказал, что есть надо два раза в день?

Вчера, за Вязьмой, остановил его человек не вполне мужицкого вида: сермяга не сермяга, и назвать непонятно как, сапоги сбитые, кривые, но все же не лапти.

— Куда путь держишь?

— Далеко, отсюда не видно, — охотно отозвался Степан.

— Хочешь поработать на моего барина?

— А что делать надо?

— Стойло почистить.

Что ж, дело простое, но... Увидев вопрос в глазах Степана, незнакомец продолжил:

— Пятак не обещаю, но щец наешься до отвала и в дорогу что дам.

Согласился без разговоров. Хорошо бы, конечно, сперва поесть, а потом работать, но постеснялся сказать, что голоден, а тот, видно, не догадался.

Стойло оказалось большое, на десять коней: барин был не бедный. Особо запущенным оно не было, однако последнюю неделю явно не убиралось.

— Конюх помер неделю тому, — пояснил человек, которого Степан про себя назвал «полупанком».

Получил вилы, лопату, скребки, тачку на одном колесе и с охотой начал работать. Отметил в памяти это село, где, по-видимому, можно заработать, когда будет идти с Ульяницей.

Трудился в поте лица и к вечеру навел в стойле порядок. Полупанок заглянул, кивнул, принимая работу, сказал: «Иди за мной».

Идти пришлось недолго. Дом его — довольно большой, высокий и просторный, но все же мужицкий — стоял неподалеку от барского.

— Подожди, — сказал и ушел за калитку. Вернулся скоро, вынес краюху хлеба.

— А щец? — спросил Степан.

— Щец прокис, — ответил полупанок, захихикал и скрылся в доме.

Хотел Степан запустить краюхой в спину, уже и руку занес, но одумался. Голод — сильнее обиды. Пошел дальше. Опять же, если кто пустит на ночлег и пригласит за стол — совсем иное дело, если сядет со своим хлебом. А вот и чистый ручеек на дороге. Сел на берегу, достал кружку из котомки, зачерпнул воды. Хлеб у полупанка оказался, хоть и черствым, но вкусным. Все же хорошо, что не запустил краюхой ему в спину.

Когда выходил из Москвы, лето было в самой лучшей поре — Троица. Вполне можно было переночевать под кустом, а лучше — в стожке свежего сена. Теперь ночи стали длиннее и холоднее, звезды посыпались одна за другой, по утрам легли густые туманы. Счет дням он давно потерял, а недели прикидывал по православным праздникам. Нынче, услышав звон колоколов в попутном селе, свернул к церквушке и, недолго помолившись, понял, что сегодня — Рождество Богородицы, значит, начинается осень. Желтизна уже пробивала кроны деревьев, земля по утрам была холодна. Сперва он шел босиком, теперь пришлось надеть лапти. Пары лаптей хватало только на два-три дня. Искать липки на лыко не было времени, приходилось драть кору осиновую, а плести наловчился на ходу.

Перед Смоленском шумная деревенская свадьба встретилась на пути. Но не потому Степан прирос к земле, что столь уж необычным было это зрелище или так уж хороша была невеста с венком и цветными лентами на головке. А потому, что рядом с женихом стояла Ульяница.

Ульяница? Это она выходит замуж в Смоленскую деревню? Она стоит перед честным народом, не стыдясь своей измены, и это ей бабы визгливыми голосами поют свадебную песню?

Ой, матушка моя родная, бояре едут, бояре едут!
Ах, дитятко мое милое, сиди, не бойся, сиди, не бойся.
Ой, матушка моя родная, во двор въезжают!
Ах, дитятко мое милое, сиди, не бойся...

Он, конечно, прошел бы мимо, поглазев минуту-другую, если бы невеста не смахнула ладошкой кудерцу со лба — точно так, как делала это Ульяница.

Нет, не сразу отлегло от сердца. Пришел в себя только, когда все повалили в хату. Он тоже пошел, хотя никто не звал, пил крепкую горелку, ел-закусывал, а временами опять приглядывался: не Ульяница? А когда голосистые бабы запели величальные гостям и в медную кружку посыпались полукопейки, копейки, семишники и даже алтынки, он встретился взглядом с невестой — нет, не Ульяница! — и с облегчением, с радостью опустил в кружку четвертачок. Не жаль было бы и полтинника, но впереди долгая дорога с Ульяницей в Москву...

Царица Мария Ильична хорошо заплатила Степану за работу, но половину отдал белорусцам с Таганки, которая как раз выгорела дотла, — плач стоял по всей Москве, — купил Ульянице красивые сапоги и турецкий платок, Варюшке подарил стеклянные бусы и цветастый набивной платочек, хозяйке, у которой жил, половник с резной ручкой и поливанный кувшин... Скоро ничего не осталось.

На большие праздники, особенно двунадесятые, Степан ходил в гости на Старопанскую слободу к Никите Батую, мстиславцу, — у него собиралось много белорусцев. Пили крепкую боярскую водку и рассказывали, кто как живет. Одни были *полоняники*, другие сами пришли в Москву *на государево имя*. Разных занятий люди: кузнецы, гончары, сапожники, резчики, каретники, портные... Одни уже устроились и успокоились, другие перебивались с хлеба на квас. К примеру, Герасим Окунек из Быхова делал резные иконостасы для больших храмов и получал кормовых по гривне в день, значит, больше восемнадцати рублей в год, да хлебного жалованья 22 четверти ржи и овса, но Окунек имел звание «государев мастер», а Федька Юрлов из Копыси был простым сапожником, подверстался на два рубля и жил впроголодь, хотя умел шить даже немецкие сапоги. Ему за сапоги для Ульяницы Степан дал аж полтора рубля. Портной Иван Волошевич из Дубровны зарабатывал восемь рублей — этот много умел: шапки немецкие, чулки польские, рукавицы персчатые. Хотел Степан заказать себе для красоты шапку русскую и рукавицы персчастые, но мало оставалось денежек, пожалел.

Собравшись, обсуждали новости, какие кто слышал. Вот вышел указ перекрещивать белорусцев, поскольку в Литве были будто не истинно крещены. Вот появился некий расстрига — обещает конец света сразу после Рождества. Вот поймали трех воровских человеков, одного сразу забили до смерти, двух сдали стрельцам... Наговорившись, пели песни — свои, с которыми жили на родине.

Маці сына выражала,
Месяцам аперазала,
Зоркаю засцібнула,
Доляю абгарнула...

— Мне уже там не бывать, — сказал однажды Никита: с собой привез двух хлопчиков и здесь родил дочку. — А ты молодой, можешь сходить...

Тогда у Степана еще не было этой мысли: отправиться в Мстиславль.

И когда собрался, сказал Никите: «Пойду я». Тот сразу понял — куда. «С Богом», — тихо сказал и дал в дорогу полтинник.

— Тпру! — раздался позади голос. — Садись, подвезу.

Крупный мужик лет сорока, похоже, подвыпивший, насмешливо глядел на него.

Это было кстати: никакого села впереди не было видно, а ноги к вечеру гудели, как колокола.

— Куда путь держишь?

— В Амтислав.

— Ого, слышно было, в пень высек его князь Трубецкой... Откуда шагаешь?

— Из Москвы.

— Вона! Крепкие у тебя ноги. Ну и что твоя Москва? Жить там можно?

— Как везде, кому можно, а кому нельзя.

— Я, к примеру, в Москву не хочу. Как там жить, если столько людей? Одно хорошо: грошей там много.

Тем временем въехали в большое село Монастырщино. Остановились у старой избы.

— Иди ко мне, если хочешь, поночуй, — предложил мужик.

Очень кстати было приглашение.

— Найдется местечко?

— Сколько хочешь. Один живу... А чего в Амтислав идешь?

— Невеста у меня там.

— Ага, — сказал тот. — Дарунок ей несешь?

— А как же? Сапожки купил в Москве.

— Правильно, без дарунка нельзя.

Распряг конягу, завел в стойло, задал корм.

— Заходи, будешь ночевать.

В избе было пусто и голо, будто вынесли все вещи перед переездом. Стояла, конечно, большая печь, лавка у стены. Песок скрипел под ногами, на столе, кое-как сбитом, стоял немытый горшок с деревянной, криво выструганной ложкой. Однако все это Степана не касалось: живет человек как хочет и может.

— Чем в Москве на жизнь добываешь?

— Изразечник я. Поливанные изразцы делаю для храмов, — похвалился Степан. — Даже для царицы Марии Ильичны делал.

— Ого, — сильно удивился мужик. — Подкинула тебе целковых? Девке своей несешь?

— Ага, — сказал Степан и рассмеялся. — Несу, аж плечи гнутся. — Очень ему понравилось предположение, что несет Ульянице много денег.

Между прочим, насмешливая улыбка давно сошла с лица хозяина избы.

— Голодный?

— Поел бы.

— Репу будешь?

— Да хоть что.

Навалил вареной, но холодной репы в немытый горшок, соль поставил. Поели.

— Здесь будешь спать, — показал на лавку, кинул что-то вроде мешка, набитого соломой. — Перины нет.

Для Степана лавка — барское ложе. Положил котомку под лавку, с удовольствием вытянулся. Подумал, что это его последняя ночевка, а завтра последний переход. Вспоминал лицо Ульяницы, ласковые глаза, голос. Всегда улыбалась, завидев его. «Степушка, — говорила, как пела, — а я только про тебя подумала». Она — только что, а он — всегда. Даже и непонятно, как выдержал без нее целых три года.

Хозяин вскочил на печь и почти сразу громко захрапел.

Среди ночи Степан без всякой причины вздрогнул и пробудился. Показалось, тень метнулась от его лавки к печи. От догадки он обмер, опустил руку под лавку — котомки не было. Вскочил, кинулся туда, куда метнулась тень и сразу натолкнулся на хозяина.

Дрались впотьмах, бились кулаками, ногами, со стонами, глухими криками, но хозяин был сильнее. Он ударил Степана об угол печи головой и теперь бил его ногами, поднимал за ворот рубахи и бросал головой в глиняный пол. Наконец, вытащил из избы и бросил на землю.

Когда Степан пришел в себя, начинало светать. Он лежал на траве, на обочине дороги, а деревня была в стороне. С трудом поднялся, постоял, справляясь с болью во всем теле. Искать обидчика смысла не было.

Медленно продолжил свой путь. Чувствовал: губы распухли, затекают глаза. Теперь он обходил деревни стороной. Такому битому никто ничего не подаст даже через забор.

Переночевав в стогу сена между Монастырщиной и Мстиславлем, Степан поднялся рано и к городу подходил утром. День был ясный, и на холме, еще зеленом, уже занимались пожары осени. Он вглядывался в просветы между деревьями: жив ли город?

Пошел по дороге, что вела на Замковую гору. Поднялся на самый верх, туда, где были подъемный мост и ворота. За три года Замковая заросла молодым кустарником, березками и осинником. Были хорошо заметны следы пожарищ, не развеянных ветром, не смытых дождями. Новых построек здесь не было. Наверно, люди теперь сторонились этого места.

Чем ближе подходил к тем домам, что уцелели в пожарах, где стояла и хатка Ульяницы, тем медленнее шел и сильнее колотилось сердце. Да, появились новые хатки — незнакомые. По-видимому, пришлые люди хлопотали около них.

— Эй! — позвал молодой голос. — Кого надо?

Степан не ответил.

Вот ее хата. Почему забиты досками окна и дверь? На огородике вырос бурьян. Рядом с хаткой Ульяницы стояла избушка на курьих ножках, словно живая, а в огородчике ковырялась старуха. Степан направился к ней.

— Это ты, Зена? — спросил он. — Что ты такая старая стала?

Она распрямилась, подслеповато поглядела на него.

— Кто ты? Не признаю. Степка?.. Господи Исусе, Степка пришел! А мы думали, вас там, на Москве, поубивали. Отпустили тебя?

— Не, Зена, сам ушел.

— А чего ты такой страшный? Побили тебя?

— Побили. Чуть не убили.

— Ну, теперь такой свет. Кого хочешь ни за что побьют и убьют. Совсем пришел?

— Нет, за Ульяницей.

— Ульяницей? Вона как. — Помолчала. — Кто ж знал, что придешь...

— Чего ее хата забита со всех сторон?

— Дак жить в ней некому...

— А Ульяница?

— Ульяница... Ульяница — дура. Она в Москву пошла. К тебе, Степка.

Слушал ее Степан и не верил.

— Дуришь голову, Зена.

— Не, не дурю. Мать свою похоронила, Троицу отмолилась и пошла.

Нет, не верил. Как это она, девка, пошла в Москву? Это ж не в деревню к своякам. Не может такого быть. Он, мужик, и то еле дошел.

Но поднималась радость в груди.

— Ну, так я пойду, Зена.

— Куда?

— Обратно.

— Как — обратно? Осень на дворе! Бабье лето прошло, холода скоро!

— Может, догоню ее.

— Как догонишь? Она на Троицу из Мстиславля ушла.

— И я на Троицу из Москвы. Может, она уже там, ищет. Как найдет, если нет меня?

— Вот и я говорила: не найдешь!.. А она — найду...

— Ну, прощай, Зена.

— Подожди, я тебе поесть дам. Пойдем в хату. Что стоишь как столб? Эй, Степка!

Уж где-где, а в Москве он ее найдет.

Ой, листочком дорога под ноги упала,
Давно я милого не бачыла, не слыхала.
Ой, прилети ж, голубь мой, да мяне, да мяне,
Тяжко мойму сэрцайку без цябе, без цябе...

Неизвестно, встретились они или нет. Известно лишь, что *ценинная* слава его была впереди.





ВЛАДИМИР КАРИЗНА

Волшебный свет

Сила

Я музыки разной наслушался,
Но навеки врезалась в память
Музыка
          клавиш
                    крыльца,
Что отец
Перебирал ногами,
Когда возвращался с работы.
Я не однажды видел,
Как буря
          крыши
                    срывала,
Дубы
      вековые
                валила.
Но больше
             меня поражала
Сила
      отцовских
                  рук,
Что были
Моей крепостью,
Для врага недоступной.

Искра

Погревшись
И настрадавшись
У сердец людских
                  и в открытую
                               и тайком,
Я сполна понял цену
                  не то что костру —
Даже искорке малой,
Которая может заговорить
                     пламени языком.

На Семуху

Березы.
Месяц над рекой.
И Млечный Путь
горит туманно.
Иду,
как век назад,
с баяном,
И в сердце
тот же непокой.

В нем те же месяц
и река,
И та же боль,
И лавка с маем,

Да все теперь не то —
Я знаю.

Гляжу,
другого обнимает
Другая
милая рука...

Диалог

У мемориальной доски
Максиму Танку на его улице

— Простите гостя незваного,
Я к Вам на минуту зашел:
Не спится, Евгений Иванович,
От мыслей
И тяжких снов.

Сумрачно в мире сегодня,
Порою
Подумать боюсь:
Как будет жить наш свободный,
С мирной душой белорус?

— Видишь,
И мне тут не спится,
Но солнце
Навек не зайдет:
Можно
с дороги
сбиться,
Да выйдет на свет
Народ!

Волшебный свет

Еще зима,
Но в небе над полянами
Весенний день уже струит тепло,
И первые проталины проглянули,
А в их глазах былое ожило.

Еще душа
Твоей зимой заснежена,
Но краешком уже отходит лед.
И сердце, вновь по-юному мятежное,
За птицами срывается в полет.

О, дивный свет, волшебный, вешний, радостный,
Заворожи навеки, закружи!
И то родное, тайное, прекрасное
Скорей глазам и сердцу покажи.

Минута света

Лета выпита чаша,
Тихо кончилось лето.
Уже осень сидит за столом.
И холодные дали за туманным рассветом
Клин печальный колышет крылом.

Дождь шумит по-над бором,
Бьет, как море прибоем,
По ветвям, по траве, по земле.
Я гляжу на раздолье — думы полнятся болью
По земному, что тает во мгле.

Жаль мне желтого сада,
Словно юного цвета...
Вот и август растаял, как май.
Торопливая осень пролетит незаметно —
А за осенью будет зима.

Зашумят снеговеи — вновь надеждой повеет,
Что до вешнего ближе тепла.
И хоть вечер седеет, —
В сердце звездочка рдеет,
И минута печали светла.

Истина

Река не мелеет веками —
Петляет,
в извивах
журча.

Воды в ней всегда
С берегами,
Ведь речка бежит по ключам.

Не высушить речку вовеки!
Но чтобы расправиться с ней,
Довольно ее для потехи
Спрямить,
Оторвать от ключей...

Веками

Белорусский
Мой тихий
Народ,
Ты без слов
Тянешь лямку
Веками.
Только двинется лемех
Вперед,
Как судьбою
Наскочишь на камень.
Дед и прадед
За пот,
Не за страх,
Соловьиный свой день добывали, —
Революций
Шальные ветра
Налетали,
Его разрывали...
А надежда
Веками одна —
Что иные
Придут времена.

Сон

Привиделась мама
с дороги
Далекого
Страшного Стикса:
Очи —
две ночи
тревоги,
И сердце
Как бы и не стихло.

Слеза
За слезою
Находит...

— Сыночек,
душа все гадает:
Что ж это за век
На подходе,
Что этак
землельку
кидает?

Рынок

Январь —
А ни стужи,
ни снега.
Погода —
хоть шапку снимай.

Живем — и уже не до смеха,
Что, братцы,
Пропала зима.

Трава —
как весной —
Зеленеет,
Листву
манит поутру плюс.
А вырастет что?
Что поспеет?
Что сможет собрать белорус?

Накануне весны

Красою клавишной —
березы:
Готовы к вальсу,
не иначе...
Но у березы
Близко слезы,
Весною тронь ее —
заплачет...

И неба синь поет,
И заросли,
Да песням
на земле
не тесно.
Ни у кого
Нет
жадной
зависти,
Зато
у каждого
есть песня!

Перевод с белорусского Андрея ТЯВЛОВСКОГО.



ЖАННА МИЛАНОВИЧ

Совпадения

Рассказы

Готовим дома

«Все женщины делают это. Любят, готовят, любят готовить, готовы любить, готовы готовить, готовят с любовью. Так, стоп. Еще одно словосочетание из этих двух слов — и мой мозг рискует превратиться в паштет», — думала я, стоя в полупустом автобусе.

Сегодня — день рождения моего мужа. Утром я поздравила его нежным поцелуем сразу, как только мы проснулись, и вручила пакет с классическим пуловером. Наши сыновья-близняшки подарили папе бумажный танк, который они втайне мастерили почти месяц и умчались на предпоследние школьные занятия в этом учебном году.

И вот я лечу домой, отпросившись с работы после обеда, чтобы сотворить праздничный ужин. Нет, не просто ужин по случаю, а самый настоящий сюрприз. Максу должно понравиться.

Обычно его день рождения мы отмечаем в большой и шумной компании родственников и друзей на даче родителей. Традиционный шашлык под цветущими яблонями и первой зеленью прямо с грядки. Тайны маринования мяса для меня пока таковыми и остаются. Готовит у нас в семье чаще всего главный мужчина. Нет, я тоже кое-что умею. Например, сосиски с макаронами отварить. Салат покромсать могу. А вот что-либо более серьезное — так это к Максиму. Его рецепт фирменного борща хоть на конкурс кулинаров посылай. Мне, правда, стыдновато в последнее время за свою хозяйственную ориентацию — стирка да уборка. Мальчишки подросли, могут маму у пылесоса подменить. Поэтому я стала чаще интересоваться приготовлением еды. То в телевизор уткнусь, благо передач по этой теме — море, то журнальный рецепт вырежу. И даже кое-что уже пыталась изобразить. Получалось, правда, не так, как на картинках. Но я не огорчаюсь, ведь поварами не рождаются.

Пока я добиралась до ближайшего супермаркета, чтобы по списку купить все необходимое, я мысленно готовила те пять блюд, которые хотела поставить сегодняшним вечером на стол. Два салата, два горячих и десерт. Ужин на две персоны. Сыновей из школы заберет бабушка. А гостей мы не ждем. Только бы успеть к приходу Макса.

Первое разочарование ожидало меня в рыбном отделе. Лежащие обычно на ледяной крошке стейки из лосося отсутствовали. Плавающая в аквариуме стая полуживого карпа, убить которого я бы не смогла даже в целях самообороны, глазела на меня вместе с продавцом. Пока я соображала, чем можно заменить «филе рыбы по-сицилийски», подошедший мужчина среднего возраста в камуфляже, резиновых сапогах и с удочкой, дыша «характерным» ароматом, попросил отловить для него несколько экземпляров. Я в рыбе раз-

бираюсь плохо, поэтому обратилась за советом к работнику торговли. Девушка порекомендовала «вкуснейшего пангасиуса», на который действовала внушительная скидка. Ладно, придется импровизировать.

Когда в тележку были собраны почти все нужные мне продукты, я задержалась у витрины кулинарии, чуть было не соблазнившись пестротой готовых салатов. Нет, не сегодня. Уже что-что, а простейшего «цезаря» как-нибудь сооружу. Надо не забыть пакетик сухариков «со вкусом курицы». Где же они могут быть? Дети находят эту гадость, кажется, возле кассы.

Все. Я дома. Быстренько разобрать пакеты — и за дело. Только надо позвонить маме.

— Алло, мам! Как ты? Я начинаю танцевать у плиты. Подскажешь, если чего не знаю? Да. Купила все. Даже какую-то говядину. Совершенно неизвестный мне зверь. Представляешь, попросила взвесить триста граммов, так тетка посмотрела на меня, как на нечто. Не переживай, справлюсь. Я у тебя уже взрослая.

Что главное в празднике? Правильно, красота. Изысканно сервированный стол, нотка романтики в виде свечек-сердечек, оригинальные блюда. Все это ожидает моего Макса очень скоро.

Только я приготовилась к кухонному колдовству, как случилось второе мое разочарование, более глубокое по степени подлости. Кран забулькал и испустил зловещее шипение. Закончилась вода. И холодная, и горячая. Вытерев руки бумажным полотенцем, я взяла телефонную трубку и набрала номер диспетчера ЖЭСа.

— Здравствуйте, а можно узнать, когда будет вода? Как «неизвестно»? Какое объявление? Ну, спасибо.

До прихода Макса оставалось два часа. А у меня — гора нереализованных кулинарных изысков. И сама я, как осетрина второй свежести. Ой, под душ бы сейчас!

«...В ближайшие дни сохранится такая же теплая и солнечная погода. Температура воздуха составит...» — диктор по радио рассказывала о том, что за окном жаркий май. Умеют синоптики погоду угадывать.

Я лихорадочно соображала, где добыть воду. Дома она была в вазе с цветами, в бачке унитаза и на дне чайника. Да, еще бутылка минералки почти целая. Ничего не оставалось, как бежать в ближайший магазин.

Вернувшись с двумя пластиковыми емкостями по пять литров, взмыленная и злая, я не успела поставить на плиту кастрюльку с яйцами, как зазвонил телефон. Макс?

— Привет, дорогая! Я хотел тебя предупредить, что буду сегодня немного раньше обычного и не один. Не волнуйся, потом узнаешь. Нет-нет, занимайся своими делами. Ужин я беру на себя.

Вот тебе раз. Не многовато ли сюрпризов на сегодня? Но так просто свою затею я не оставлю. Как минимум час времени у меня есть. Успею. Так. Рыбу разморозить в микроволновке, из говядины вырезать медальоны — и на сковородку, овощи нашиковать крупными кубиками. Нашиковать? В тексте из глянцевого журнала явная опечатка. Ладно. Шикую дальше. Интересно, как из круглой моркови получить кубики? По-моему, кружочки тоже неплохо. А что это за белая жижа в воде? Офигасиус какой-то, а не рыба. Придется спрятать данное филе в духовку и присыпать тертым сыром и зеленью. Хуже не будет.

Все-таки готовить ужасно интересно. Сплошные премудрости: орегано, профитроли, суп-пюре. Столько надо знать! К примеру, эта загадочная фраза из всех кулинарных разделов: «варить до готовности». Варишь и спрашива-

ешь: «Ну, как, еда, готова?» Или мне мою говядину тоже спросить? Ишь ты, на медленном ее жарить принято. Мне надо быстрее. Добавлю чуть-чуть огня. Медальоны по размерам стали похожи на настоящие. Ух, какие яйца крутые, аж до синевы. Рассеянная я повариха. Главное — сконцентрироваться, и все пойдет, как по маслу.

Вдруг кто-то позвонил в дверь. Неужели Максим? Бегу открывать и вижу незнакомого молодого человека с чемоданчиком.

— Добрый день! Проверка плит, хозяюшка.

— Ой, а нельзя в другой раз? У меня сейчас там процесс в самом разгаре.

— Так я быстро, за пять минут посмотрю.

— Проходите.

Я продолжила свои «боевые» действия на кухонной территории, заметив, что мужчина разулся в прихожей. Наверное, в знак солидарности с моими босыми ногами. Не натопчет, правильно. Пол вымыть я вряд ли успею. Осталось всего ничего — соус и десерт. С соусом я расправлюсь одной левой. А вот десерт, пожалуй, ждет замена. Вместо восхитительного «Предчувствия любви», о котором я уже даже прочитать до конца не успеваю, обойдемся пломбиром с клубникой.

Пока мастер по плитам возился у нашего очага, я нашла листочек с надписью «соус острый». Подумать о том, что количество продуктов указано почти в промышленных масштабах, и уменьшить пропорции мне и в голову не пришло. Сказано: «стакан подогретого подсолнечного масла», значит так надо. А к плите пока не подойти. Скорее бы молодой человек закончил. Рубашка у него белоснежная. И улыбка приятная.

— Вот и все, распишитесь, — он протянул мне бумаги. — А вы случайно не на телевидении работаете? Вы чем-то похожи на ведущую шоу «Готовим дома».

— Правда? — я засмущалась, припоминая, о ком идет речь, но у нас даже цвет волос разный. — Нет, вы ошиблись. Я работаю в институте ядерной физики.

Тут меня осенило. Масло можно подогреть в СВЧ-печке.

Мужчина не унимался.

— Да? А я смотрю, чем черт не шутит, дай спрошу. Может, домашнее задание выполняете, так сказать. Моя жена любит эту передачу. Вы такая серьезная девушка. Хотите, поделюсь способом, как приготовить тефтели за пять минут? Очистить пельмени от кожуры...

Я рассмеялась. Веселый человек. И, поблагодарив, двинулась проводить его на выход.

И тут за спиной выходящего из кухни следом за мной мастера раздался жуткий грохот.

— Е-мое!.. — он инстинктивно пригнулся. — Предупреждать надо!

Я сама перепугалась до полуобморока. Что могло так рвануть?

Мы смотрели друг другу в глаза какое-то время, пытаясь прийти в себя. Тишина. Радио поет. Медленно, словно это могло спровоцировать очередную катастрофу, я попыталась заглянуть через плечо замершего в дверном проеме мужчины.

— О-о-о, нет!.. — я отказывалась верить в произошедшее. — Вы не ранены?

Кухня блестела в прямом смысле этого слова. Вся, от пола до потолка. Масло вынесло дверцу микроволновки и уделало все вокруг. Жирные капли переливались на солнце и стекали со стены напротив, с экрана телевизора, с бокалов на столе. Посередине комнаты, в лужице теплого рафинированного подсолнечного маслица, лежала, еще покачиваясь, целехонькая чашка

из небьющегося стекла. Стоящий на подоконнике вазон с бегонией пытался закрыть собой жалюзи на окне, но безуспешно. Больше всего досталось светильнику, который стал похож на миниатюрную люстру в театре. Рубашка на спине уходившего превратилась из белой в пятнистую.

— Ого, как вам повезло! Уборка предстоит генеральная. Ну, я пошел? — переставший улыбаться работник службы безопасной эксплуатации домашних плит засобирался восвояси.

— Подождите! Куда вы в таком виде? Снимайте рубашку, — я совершенно забыла, что воды в ванной не больше, чем в центре пустыни. — Простите, как вас зовут?

— Борис. А брюки...

— Нет! — крикнула я, не дав ему договорить. И, опомнившись, добавила: — Брюки почти не пострадали. Приятным это знакомство не назовешь, но коль так вышло... Меня зовут...

Не успела я назвать свое имя, как в прихожей послышались звуки открывающегося замка и голос Макса:

— Проходите, битте! Мариша! Мы пришли.

Выражение лица моего мужа описать сложно, но можно. А вот легкое недоумение его спутников я не забуду никогда. Сюрприз Максима состоял из парочки немцев-компаньонов по бизнесу, приглашенных на ужин в наш дом. Они то улыбались, то печалились. Еще бы. В коридоре — жена и полуголый мужчина.

«Дас ист фантасишь? Я-я».

— Здрасьте! Макс! Это Борис. Извини, но на кухню пока лучше не заходить. Я хотела приготовить что-нибудь необычное. По-моему, мне это удалось.

Техника Тиффани

Доброе утро. Я улыбаюсь и сонно потягиваюсь между подушкой и одеялом. Спать до упора — это когда никуда не надо, и организм просыпается на час позже обычного. Меня не разбудила даже гремящая мусорная машина, которая именно в выходной день норовит приехать пораньше. А любящие дрель и пилу-болгарку соседи, на стройрынок умчались, наверное, за новым отбойным молотком. Так тихо, что слышно, как плавает золотая рыбка в аквариуме.

Вставай, счастливая женщина! Что у меня сегодня по гороскопу? Одиночество и познание сущности вещей в череде кармических событий. Что в переводе на нормальный язык можно перевести как: я наконец-то одна на целых два дня! Совпало. Муж вызван в другой город на экспертизу какого-то важного дела. Дочь — на языковой стажировке вообще в другой стране. Нет, все-таки по гороскопу у меня сегодня будет творчество.

Первым делом — включить компьютер. Как я раньше обходилась без этого помощника интеллекта и поглотителя свободного времени, ума не приложу. Прочитав скупые строчки от мужа и дочки — все хорошо, впечатления при встрече, не волнуйся — послала коротенькие сообщения любимым близким, удалила одинокий спам, легко преодолела искушение запутаться в социальных сетях и наконец-то ощутила себя готовой к новому дню.

Загрузив соответствующий настроению плэй-лист, под песню «So, I begin» я направляю свой галеон желаний на кухню к большому белому дому, где мороз охраняет еду. Так. Чего я хочу? О! Йогурт черничный! Сыр! Кусочек шоколадного торта. И вот я варю себе кофе с пенкой, пританцовывая и мыча под нос

простую мелодию. Действительно, доброе утро. Я наслаждаюсь своим одиночеством. Может, потому что оно редкое и ненастоящее?

Позавтракав, я убрала в хвостик волосы и с нетерпением достала с балкона то, что не давало покоя бабочкам в моем воображении всю прошлую неделю. Сундук с сокровищами, бывший обыкновенным ящиком со всякой всячиной.

Я буду заниматься тем, что доставляет мне радость. Я обожаю украшать свой дом, как всякая женщина, желающая уюта. В силу неугомонности своего характера чего только я не вытворяла. Ремонты, правда, не часто практиковала. Этим занимался муж. А вот подсвечник в виде созвездия гончих псов у изголовья кровати пристроить — это мое дело. Своими ручками проволоку гнула, стаканчики разноцветные распределяла согласно скопированным рисункам. Ничего, что издалека эта конструкция напоминает оленьи рога со стразами. Зато красиво.

Теперь же я пробую себя в технике Тиффани. Хочу лампу целую изваять. Электрику в школе изучали. А вот с соединением лепестков стеклянных приходится повозиться редкими свободными часами. И не беда, что первый мой абажур был кривоват и неказист, это как с блинами: второй получится лучше.

Только я достала ящик, как зазвонил телефон. Это моя закадычная подруга Алеся. Я выслушала про ее похождения вчерашним вечером и в один голос с ней резюмировала: удалось...

А теперь — все. Я творю. Просьба не беспокоить.

Но, выкладывая заготовленные кусочки на выкройку очередного сегмента, я заволновалась. Черт! Так и есть. Закончилось желтое стекло и припоя маловато.

Что ж, не хотелось из дома выбираться, а придется. Голову мыть не буду, максимум естественности и минимум времени на сборы. Джинсы, майка, мокасины. Кошелек, ключи, телефон.

Я быстренько собралась в поход на блошиный рынок, где только в одном месте можно найти необходимые составляющие для моего будущего шедевра. Ожидая маршрутку, щурюсь от яркого летнего солнца и жалею, что забыла темные очки. Ничего, обернусь за пару часов. А погода-то песня!

И вот я лавирую между людьми, любопытствующими, чем же можно поживиться среди разложенного на клеенках скарба. Только я подошла к торговцу нужными предметами, как кто-то рядом воткнул в меня свой взгляд. Узнав его, я чуть было не завалилась на груду одежды «секонд-хенд».

— Ты?

— Привет.

— Надо же, какие люди! Я не ожидал.

— Я тоже.

Передо мной стоял он, Леха. Моя первая любовь из 10 «Б».

Не знаю, можно ли одновременно испытать все эмоции, но в эту минуту мне это удалось. Я почувствовала, как покраснела от макушки до пяток.

— А ты классно выглядишь! Все такая же стройная и симпатичная.

— Спасибо. Да и тебя время не сильно изменило.

Я смотрела на того, кто двадцать лет назад был предметом моих девичьих грез и причиной душевных мук. Та же улыбка, тот же взгляд. Только волос на голове поубавилось. Мы встречались почти полтора года: четыре месяца до выпускного, на котором целовались, встречая рассвет, и весь первый курс, перейдя к более близким отношениям. А потом непонятно из-за чего поссорились и разбежались. И вот сегодня встретились.

— Как живешь? — он, похоже, никуда не спешил. — Давай, рассказывай. Можешь в подробностях: семья, работа?

— Вот так прямо и все? — я постепенно приходила в состояние, позволяющее если не думать, то хотя бы имитировать мозговую деятельность. — Извини, мне нужно рассчитаться. Здесь не совсем удобно разговаривать. Проводишь меня до остановки?

— Ты уже все купила? Могу подвезти, моя машина вон на той стоянке.

— Ой, как замечательно! — я искренне обрадовалась.

Пока мы пробирались сквозь море снующих людей, я мысленно проклинала себя за то, что не удосужилась накрасить хотя бы ресницы. Говорила же мне Алеся, что из дома дальше, чем до ближайшего киоска, нельзя выходить не при параде. А Лехе так идут черные узкие брюки и остроносые «казаки».

Подошли к стоящим рядам машин. Алексей вдруг вспомнил, что я несу пакет, и спросил:

— Тебе не тяжело? Вот и моя колымага.

Я подумала, что он имеет в виду чумазую бордовую девятку, и уже приготовилась к посадке. Но «колымагой» оказался стоящий рядом и переливающийся синим перламутром низкий спортивный автомобиль-купе с четырьмя кольцами на мордочке.

Алексей открыл дверь машины, не предложив поставить в багажник пакет. Так и сидела я всю дорогу, держа на коленях почти у подбородка свои покупки.

По дороге разговаривали о том, кто как живет.

— Я замужем и счастлива. В следующем году будем отмечать фарфоровую свадьбу. Дочь красавица и умница, любимая работа, родители еще трудятся. У меня все очень даже неплохо. Да что я все про себя, сам-то как? Я слышала, что уезжал куда-то далеко?

— Да, было дело. — Алексей лихо притормозил перед светофором. — Я после института распределился в какую-то дыру, еле концы нашел, чтобы не отрабатывать. Помогли папины связи. Потом начал машины гонять из Германии. Опасный бизнес. Лет пять жил в Берлине, больше не смог. Вернулся, завел жену, открыл свою фирму. Все путем. Только вот чего-то все время не хватает: то денег, то времени, то простого человеческого счастья.

— Не прибедняйся, выглядишь вполне успешным. Вот здесь направо.

— Ты живешь по прежнему адресу?

— Да, на том же пятом этаже. Спасибо, Лешка! Я побегу, счастливо!

— Э-э-э! Куда побегу? А я? Такая встреча, а ты ведешь себя, как будто не рада. Не пойдет.

Я растерялась. Не скажешь ведь, что спешу побыть в одиночестве с абажуром. Решит, что мои странности повзрослели.

— Прости, дела. Телефонами обменяемся? Обещаю ответить на твое предложение о встрече в другой раз.

Зайдя в квартиру, первым делом позвонила подруге.

— Алеся! Хочешь, расскажу тебе, как судьба прикалываться умеет? Отгадай, кого я сегодня встретила? Леху! Да не волнуюсь я! Ну да, вру, как всегда. Лешка начал лысеть и стесняется этого, зачесывая волосы назад. И на затылке одинокая прядь в трауре черной резинки. Не хвастался, скорее наоборот. Нет, не растаяла. Не знаю. Ладно, пора паять! Пока!

...Запах канифоли заполнил всю кухню. Соседи, похоже, решили перебить его, готовя непонятное рыбное блюдо.

Я сыпанула сухого корма своей золотой рыбке и пошла творить дальше.

И только я увлеклась, как вдруг телефонный звонок.

— Привет. Это я. Проверка связи.

Я даже не успела удивиться, услышав голос Алексея. А вот рука дрогнула, и шов стал похож на хвост волнистого попугая.

— Лешка? Да ничего не делаю. Работаю.

— Знаешь, мне бы хотелось сейчас быть с тобой рядом. Ты такая...

Я опять растерялась. Летнее тепло влетало в форточку и шевелило шифон шторы. Будь что будет.

— Ты действительно этого хочешь? Ну, тогда заходи в гости. Чаю попьем. С мужем познакомлю. Конечно, шучу. Я сегодня дома в гордом одиночестве. Давай часа через полтора. Жду.

Я поняла, что с «тиффани» придется расстаться. Прибралась быстренько. Теперь в душ. Надевая шорты, задержалась у полки в шкафу, выбирая между оранжевым топиком и белой майкой. Покрывая ногти темным лаком, я соображала, чем могу угостить Лешу. Надо испечь свою фирменную шарлотку с грушами. Я это делаю быстро и вкусно.

Только я открыла холодильник, как опять дал о себе знать телефон.

— Алло! Я забыл спросить. Может, чего надо с собой прихватить?

— Ой, Леша, как хорошо, что ты позвонил. Я тут шарлотку затеяла, а в холодильнике всего три яйца. Как сколько? Хотя бы еще парочку.

И вот — волнительный момент. Звонок в дверь. Двадцать лет спустя.

На пороге моего дома стоял Алексей. Весь такой нарядный, в голубых джинсах и белой рубашке, дорого пахнущий, и мило улыбался.

— Вот, держи. Боялся разбить, — он протянул мне руку, в которой были два куриных яйца. И все.

— Спасибо! Проходи. Я на кухню, а ты пока погуляй. Расположение комнат у меня не изменилось.

Я поставила в духовку форму с бисквитом и вернулась к гостю.

— У тебя дочка красивая, — сказал он, рассматривая фотографии.

— И взрослая, — добавила я. — А у тебя есть дети?

— Да, целых двое. Пацаны, одному десять лет, другому пять месяцев. Но мы с женой — чужие люди. Я совсем недавно понял, что лучше тебя девушки в моей жизни не было.

С этими словами он шагнул ко мне, обнял, уткнулся лицом в волосы и замер. Я тоже замерла, но стоять было неловко, поэтому пришлось выкручиваться.

— Кажется, у меня что-то горит, — соврала я и убежала на кухню.

Леха пришел следом. Оседлал табурет и начал разговор ни о чем, состоящий из смеси воспоминаний, шуток и расспросов про наших общих знакомых.

— А помнишь, как мы застряли в лифте вместе с толстой теткой и ее пуделем? Ты, наверное, до сих пор с Алесей дружишь. Знаешь, что будет, если скрестить твою золотую рыбку с акулой? Она выполнит три желания, но они будут последними. Ха-ха-ха...

Внезапно раздался громкий стук. Соседи взялись за дело.

— Ничего себе, они что там, стены сносят?

— И так почти каждые выходные. Ну, вот. Скоро можно будет доставать мое произведение кулинарного искусства.

Какое-то время мы молчали. Я не знала, что делать и говорить, поэтому включила музыкальный канал по ТВ и начала зачем-то протирать без того стерильную плиту. Алексей изучал настенный календарь и вдруг спросил:

— У тебя есть что-нибудь горюче-смазочное?

— Да, конечно. Как я сразу не догадалась? Белое вино годится? Есть еще полбутылки какой-то настойки.

— Давай лучше покрепче. Вино — напиток не для мужчин. И пирожок свой не забудь, хозяюшка.

Нарезая сыр и лимон, я мысленно проклинала себя за затею «чаепития» и пыталась вообразить, на какие «подвиги» может потянуть моего кавалера. Алексей же наливал и закусывал.

— А ты чего не ешь? На диете что ли?

— Ага, сижу сразу на трех, двумя не наедаюсь, — сказала я.

— Это правильно. Женщина должна следить за своей фигурой.

Допивая бокал вина, я слушала истории Лехи про похождения по дорогим ресторанам и вложения в недвижимость. Он так увлекся рассказами про свое финансовое благополучие, что я уже даже не перебивала его, подперев голову и глядя в светлые глаза того, кому когда-то принадлежало мое сердце.

— А скажи, ты долго мучилась после того, как мы расстались? Или сразу забыла?

— Врать не буду, недолго. Помнишь, такая веселая песенка была «Леха, Леха, мне без тебя так плохо!»? Ее часто крутили по радио в то лето, когда я проходила практику после первого курса. Там мы с мужем и познакомились.

Тем временем за окном стемнело, как это обычно бывает перед грозой. Прогноз погоды обещал кратковременный дождь. А вдруг ливень, и как мне тогда гостя выпроводить?

— Я всегда знал, что ты — коварная. Нет, на самом деле ты не коварная, ты — роковая...

Не успел Алексей договорить, какая я, как одновременно с шумом перфоратора прогремел гром.

— Ой, сейчас будет стихия. Подожди, мне надо балкон закрыть.

Я поспешила к открытой раме, а когда вернулась, на кухне в телевизоре одиноко пел Пол Маккартни. Неужели Лешка домой засобирался? Но и в прихожей — никого. И тут я увидела его в спальне, рассматривающего спинку кровати, которая была беспощадно расписана под хохлому.

— Правда, красиво? — я не успела сказать про сочетание цветов, как оказалась в его объятьях. Сейчас будет долгий поцелуй, а потом... Потом? Потом!

— Подожди! — я еле освободилась от настойчивых рук. — Кажется, гроза начинается.

— Ты что, боишься? Глупая, иди сюда, я жду, — с этими словами он развалился на кровати, раскинув руки и ноги в стороны в позе загорающего в одежде.

Вдруг в ход событий вмешались то ли силы ремонта, то ли силы природы, но случилось то, что случилось. Под звуки грома и вспышки молний со стены слетел подсвечник и водрузился прямо на голову лежащего на кровати «любовничка».

Картина маслом. Олень в ожидании ласки.

Алексей некоторое время соображал, что это было. Потом встал, сняв неожиданное украшение, потер лысину и сказал:

— Не смешно. А если бы в глаз? Ладно, не хочешь — так и не надо.

И пошел обуваться.

Я, давясь от смеха, проводила его до двери, предложив переждать дождь. Но Леха почему-то отказался.

...Вечером по телефону мы вдоволь нахохотались с Алесей, когда я живописала ей о своем свидании.

— Ну, кино! Знаешь, подруга, что говорила по этому поводу Раневская? Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты, жадных мужчин и плохое настроение.

— Согласна.

Совпадения

Занималось тихое, зимнее, сонное и не очень холодное утро. Дремучий туман окутал все вокруг. Вековые ели и сосны по самые лапы стояли в снегу, обрядив свою зелень в отвердевшую воду. Минус два при стопроцентной влажности. Серо-белое и темно-зеленое. Красивейший лес в минимализме красок и максимуме торжественности.

Зимняя сказка...

На крыльце в уголке жались друг к дружке пара прикормленных сердобольными постояльцами кошек, готовясь в любой момент сигануть прочь от суровой тетки с ведром и шваброй за дверью. Редко проходящие мимо люди их не волновали.

Чуть поодаль куталась в пушистый воротник она — блондинка на шпильках в розовой шубке из неизвестного меха и голубых джинсах. Девушка-зима?

Она только что приехала в этот санаторий недалеко от большого города и ждала, пока водитель притащит ее чемодан. Путевка на две недели. Решила попробовать новый для себя вид отдыха вместо перелета в теплые страны.

Короткий тайм-аут от сумасшедшей работы. Долгожданное одиночество посредине зимы. Полное погружение в собственную жизнь.

Дома осталась часто болеющая мама. Где-то недалеко — уже взрослая и такая самостоятельная дочь.

Позади волнительная трехчасовая зимняя дорога. Она не любила ездить с малознакомыми мужчинами, но выбора не было: водителя ее шефа накануне свалил грипп, а сама за рулем не рискнула — еще полгода со знаком «70» на заднем стекле, да и далековато. Добираться же автобусом ей, заместителю директора небольшого, но преуспевающего в своем бизнесе предприятия, вроде как не пристало. Пришлось попросить нового лаборанта, симпатичного парня, недавно взятого на работу, подгрузив его попутно кучей дел в фирмах-компаньонах. Знала бы, что он так неаккуратно рулит, не поехала бы.

Наконец появился щуплый парень с большим бордовым чемоданом.

— Татьяна Ивановна, так я поеду уже? Хорошо вам отдохнуть, до свидания.

— Да, конечно, езжайте, Саша. Только, пожалуйста, не летите. И не забудьте забрать документы. Счастливо!

Через десять минут Татьяна открыла двери своего номера на предпоследнем этаже. А ничего, здесь довольно-таки уютно. И чисто. Подойдя к окну, убрала в сторону тяжелую портьеру и толком ничего не смогла рассмотреть: молоко тумана съело весь вид из окна. Как далеко отсюда виден лес? Хочется солнца и тепла. А еще — кофе.

...Это даже интересно: следить за своим здоровьем по распорядку. Она пыталась провести аналогию своему теперешнему времяпровождению, и ничего в голову, кроме как гибрид пионерлагеря и поликлиники, не приходило. Наверное, так и есть. Когда она еще вставала строго в определенное время к приему завтрака или процедур? Ежедневные «дом — работа — дом» не в счет. Но чтобы на отдыхе носиться между массажем и полдником! Через неделю Татьяна наконец-то отоспалась, отвлеклась и привыкла к незнакомым интерьерам с аквариумами, в которых плавали рыбки, так похожие на их подружек в теплых морях.

Она чувствовала себя посвежевшей и другой. Если бы не некоторые моменты, она бы даже сказала, что почти счастлива. Почему почти? Потому, что легкая степень грусти не отпускала. Возрастное или пройдет? Некогда думать об этом. Оздоровление превыше всего.

Как же может быть прекрасно одиночество! Так же, как эти деревья в серебре, словно прорисованные на фоне голубого неба тонкой кистью, окунутой в тушь и помазанной сверху белой гуашью. Погода решила устроить ей праздник. После обильного тумана выглянуло яркое зимнее солнце. И на фоне пронзительной голубизны неба вокруг стояли обряженные в лед березы, будто из хрусталя.

Как тогда, восемь лет назад. При встрече с ним. С тем единственным и любимым.

Память вернула ее в тот день. Он приехал к ней, ее «принц». Полковник на белом «мерседесе» вместо коня.

— Татьяна! Это я! Встречай!

Она выбежала на крыльцо своего дома в чем была: домашний спортивный костюм, убранные волосы, руки в муке — сырники на ужин. Неужели? Гад, без звонка. И в этом весь ее самый любимый мужчина.

Таким она его запомнила: румяным с мороза, большим и открытым. С пакетом гостинцев и нелепым букетом разноцветных гвоздик под мышкой. В серой колючей шинели и пахнущим почему-то елками. Чем же еще может пахнуть чудо под Рождество?

Приехал и покорил. Просто и без мишуры нелепого ухаживания. Зачем? Она ведь знала, что он, подсаживая ее на лошадь тогда, во время их первой встречи, уже решил для себя почти все. И от этого далекого от теперешнего времени ощущения фатальности до сих пор щекотно в носу.

А потом они дурели от взаимной радости, смотрели друг другу в глаза, в которых отражались языки пламени в камине, умничали наперебой и ждали, когда же мама пойдет спать. Надо же, как сложилось. Дочь — на дне рождения одноклассницы до утра. Муж — в очередном пьяном загуле. Только я и ты. Один раз. И об этом знали оба. Как сладострастцы, знающие, что лучше не будет ни с кем.

...Татьяна приноровилась почти ко всему в санатории, кроме банального мужского внимания. Его было чуть больше, чем ей хотелось. На нее, красивую женщину с редкими по теперешним временам манерами, выдающими хорошее воспитание и благородное происхождение, как на заморскую бабочку с крыльями глаз в обрамлении больших пушистых ресниц, засматривались многие: от инструктора-стажера в зале лечебной физкультуры до красавчика-бармена, варившего неплохой кофе по-восточному. Не говоря о «временно свободных» разновозрастных представителях противоположного пола из числа отдыхающих.

За столом на шесть персон в огромном, но уютном зале столовой с окнами до самого пола и трогательными букетами из еловых веточек она познакомилась с интересными людьми. Немолодая семейная пара из Прибалтики, главный инженер какого-то крупного предприятия, сын с матерью из далекого Дагестана.

«Здравствуйте. Приятного аппетита».

Банальное общение с людьми.

Она пребывала на отдыхе. И наслаждалась им, как любимым джазом. Его она могла слушать бесконечно долго, благо батарейки в CD-плеере заменить проблемы не составляло.

Время же скользило санками с горы.

Днем Татьяна посещала лечебные назначения, плавала в бассейне, валялась с книжкой и даже пару раз выбралась на прогулку по зимнему лесу за компанию с милой преподавательницей философии из столицы, которая жила в соседнем номере. Вечера тоже предлагали разнообразные мероприятия:

просмотр старого любимого кинофильма, творческая встреча с неизвестной писательницей. На танцы — «Дискотека 80-х» — она не пошла. Так же, как и на концерт цыганского ансамбля. А вот на предложение посидеть в кафе за бокалом вина в компании галантного Льва Борисовича откликнулась со второго раза и не пожалела. Он оказался чудным собеседником, старомодно целовал руку и довольно неплохо водил в танце.

Как-то, проходя по холлу, она обратила внимание на толпу женщин вокруг столика с косметикой. Две моложавые дамочки, представители «всемирно известной», как они уверяли, продукции с использованием исключительно растительного сырья из далекого Тибета, демонстрировали яркие баночки, малюсенькие тюбики и прочие средства для красоты. Не успела Татьяна опомниться, как в нее профессиональной хваткой вцепились обе распространительницы. «Девушка! Этот крем создан специально для вас! Попробуйте, и вы поймете, почему его называют «Мечтой буддийского монаха». Не рискнув спорить, Татьяна стала обладателем пробника с надписью «not for sale» за небольшую плату и еле отбилась, чтобы не дать им нанести крем.

«Извините, я сама». На Татьяну почему-то с надеждой смотрели десятки женских глаз, и она сделала это.

Когда же она пришла ужинать, на ее лицо в красных пятнах больно было смотреть. А завтра — праздничный вечер по случаю старого Нового года, на который ей почему-то хотелось пойти.

...Веселье только начиналось, когда она обратила внимание на симпатичного мужчину в светлом свитере. Ведущие вытащили его на сцену, где уже были трое отдыхающих, для участия в конкурсе. Чем он напомнил ей любимого? Может, улыбкой или примерно одинаковой комплекцией? А он молодец, держится уверенно, не тушуется перед многочисленной публикой.

Девушка в костюме Снегурочки наконец объявила: «Прошу приветствовать нашего сегодняшнего победителя чемпионата по советам, который получает этот замечательный приз!» Под хохот и аплодисменты она водрузила ему на голову символические оленьи рожки. Он так и остался в них, вернувшись на прежнее место.

А потом он пригласил ее на медленный танец, обняв двумя руками как-то чересчур властно.

— Меня зовут Владимир. Как Высоцкого. А вас, прекрасная незнакомка?

— Татьяна, — она ответила серьезно и грустно.

— Что-то не так? — он смотрел ей прямо в глаза.

— Да нет, ничего. Просто так звали моего мужа. Он умер год назад.

— Простите, я не хотел...

— Ну, откуда же вам это знать, —Татьяна попыталась освободиться от его объятий. — А можно я буду звать вас Володя?

Они провели вместе остаток вечера, пролетевшего незаметно. В полночь, под звук фонограммы боя курантов, когда все вокруг бросились поздравлять друг друга, они решили уйти. Владимир вызвался проводить Татьяну до ее номера и предложил продолжить знакомство у него этажом выше, если еще не надоел ей своим обществом, обещая не приставать. Она согласилась, приглашая его к себе.

— Таня, я только на пару минут исчезну, идет?

Она закрыла за ним дверь и поняла, что волнуется. Знакомство с мужчиной из далекого Питера, о котором она толком ничего не знает. Первый час ночи. Взглянула на себя в зеркало, подновила губную помаду, поправила волосы, разгладила складки на блузке возле груди. Кулон на цепочке так и норовит спрятаться в тоннеле декольте. Просто красиво.

На нее смотрела взрослая одинокая женщина, ожидающая свидания. С кем? Ну, почему его зовут именно так? Неужели это просто совпадение?

Володя тихонько постучал в дверь. Ее сердце, казалось, стучит громче. Он что-то прятал за спину, входя в комнату. Она улыбнулась, когда он поставил на стол бутылку шампанского и коробку конфет.

— Извини, но цветов в этом зимнем лесу не найти. Разве что где-то могут быть подснежники. Теоретически. Но я не хочу тратить время на их поиски. Я подозреваю, что ты любишь розы. Обещаю подарить большой букет в следующий раз.

— Я люблю все цветы. А ты еще и романтик. Это теперь такая редкость. Ну, что ж. Давай пить шампанское, Новый год все-таки.

...Обещание не приставать он не сдержал. С разбегу — в карьер. Даже чересчур жадно. Татьяна поначалу решила не сопротивляться, поддаваясь страсти стихии. Завтра — домой. Вещи почти собраны. Она уедет, и то, что должно случиться, останется только между ними. Но что-то удерживало ее от последнего шага. Что?

Хотелось посмотреть в окно на заснеженный лес.

Отстранив от себя Володю, она спросила:

— А почему ты сказал при знакомстве «как Высоцкого»? А не Маяковского, к примеру?

Он, нелепо улыбаясь, произнес:

— Ну, да. Кумир юности. День рождения у меня с ним в один день. И жену зовут Марина.

— Да, совпадения...

Татьяна встала, застегивая молнию на юбке.

— Что ты там все высматриваешь, ждешь кого-то?

— Прости, Володя, но тебе пора. Уже поздно, я устала. Спасибо за вечер.

Не говорить же ему про то, что где-то там, далеко, за зубчатым краем лесного горизонта она всегда будет видеть другого.

...Она стояла на крыльце и ждала машину. Блондинка на шпильках в розовой шубке и голубых джинсах. Куталась в воротник и смотрела на пару серых кошек, то ли толстых, то ли пушистых.

Вдруг зазвонил мобильный телефон.

«Да, мама! Как ты? Я — хорошо. Конечно, понравилось! Кто звонил? Когда приедет? Как 25 января? Так и сказал: топи баньку, хозяюшка? Ой, мамочка, какая же я у тебя счастливая!»





НАТАЛИЯ ДЕВА

Мы в движении, в процессе...

* * *

Слишком много свободы,
Тормоза отключились.
Вседозволенность — мода?
В нас противоречивость.

В каждом пятом семействе
Непослушные дети —
Стерегут их болезни,
Тюрьмы, ранние смерти...

Слишком много свободы —
Пропадем? захлебнемся?
Или, выбором го́рды,
Еще раз ошибемся?

Истерически выбыл
Подзаборный советник.
Исторический выбор —
Кулуарные сплетни.

Слишком много свободы.
Растекаются цели,
Как поток полноводный
В перемычки и щели...

Вечное движение

Неоконченная фраза,
Незаконченное дело —
Мы в движении, процессе,
Как танцующее тело.

Разрушаем, созидаем,
Исправляем, догоняем,
Весело в хвосте плетемся,
Иногда перегоняем.

Призовут технопрогрессы
В парки новых технологий —
Убегут хандра и стрессы,
Будто спринтер резвоногий!

За регрессами — прогрессы,
За прогрессами — регрессы.
Для спортивных для баталий
Подрастают геркулесы!

Мы в движении. В процессе,
Как танцующие смело.
Мы получим, мы получим
Все, о чем душа напела!

Памяти Андрея Вознесенского

Плачь, Россия,
Умер твой Овен, мессия.

Слова магические — в нем.
Отныне — вакуум.
Его горячность помянем
Как магму.
Он неклассической строкой,
Прицелясь дерзко,
Бил, словно пулей разрывной,
Чтоб вечно — метка.
Вошел в первоиюньский день
Болезнью-горестью,
А вышел из него, как Мень —
Печальной новостью.
Два полушария, Харон,
Из антимира
Прими: космический урон.
Неоценимо.
Всю жизнь температурил вне
Страны свободы;
Прожжен, сожжен был на войне,
Пусть и «холодной».
Поникли миллионы роз
И с ними миллионы розг...
Нет Поэта? Не верьте:
Бессмертен.

Полнолуние

Там часы что-то пели — без цифр и без стрелок..
Был счастливым город, забывший усталость;
Там смуглела она среди незагорелых
И порхала, как птица, что еще не попалась.

Он бродил, утомленный от дерзких планов,
Своим делом опутан, остужен, измотан, —
А она улыбалась томно и сладко,
Не желая порвать его умственный кокон.

Вот пришло полнолуние. Вор и влюбленный
Посылали луне втайне радиограммы...
Он вдруг замер: у девушки очи мадонны!
В нем воскресли султаны и донжуаны.

Прикоснулась она к нему неосторожно,
Улыбнулась ему беззаботно и сладко —
И попалась, как птица, в силок его сложный:
Из магических нитей был узел-загадка.

Много лет они жили раздельно и слитно,
Разорвать свой союз то боясь, то желая,
Километры смеялись над ними бессильно,
А судьба затаилась, как зверь, выжидая.

Они встретились. Лица их были усталые.
Красота поржавела: седина и морщины...
Он ей горько шептал: «Я почти не мужчина»,
А она только плечи его целовала.

* * *

Я появилась, слишком поздняя,
Везде и всюду опоздав.
Зовет эпоха в новом поезде.
Так молода, так молода.

А я на боковом сидении
Ей удивляюсь, чуть седа.
Душа поет о возрождении,
О вольной жизни навсегда.

Но — катастрофа! Поезд двинулся
Назад. Опасный поворот.
Кто уцелел, а кто откинулся;
Треть по течению плывет.

И лица, по-житейски цепкие,
Следят: кто враг? Кто друг? Кто гость?
Почти что чудом в эпицентре я.
Спасет ли русское авось?

Мертвеют снова стрелки прошлого,
На каждой цифре — крест плеяд.
И будущее заморочено.
И поздно в лучшее назад.

* * *

В. Б.

Мне показалось: мы нераздельные,
Как хит — мелодия и слова.
Но развела нас жизнь, что поделаешь?
Не делим надвое наш каравай.

Хозяин дома, поп всеведущий,
Селил жильцов по наводке звезд.
Он вел себя, как сердец заведующий
И знал, что был у тебя развод.

«Небесный брак» мою жизнь преследовал.
Я у ДС. Ты даешь концерт.
А я не звездная, усталая, бедная,
Давно имеющая минский акцент.

И в форме мальчики, охрана юная,
Телохранители: купи билет —
Ярлык поклонницы, а не возлюбленной...
Билета верного в той кассе нет.

Беседка с четырьмя амурами,
Где все четыре ушли стрелы,
Кольнет по сердцу: шурами-мурами
Грешат гитарные рок-щеглы.

Мы нераздельные, но разделенные.
Страна влюбленности — СССР.
Слова из песен, невоплощенные,
Тоскуют в нотах небесных сфер.

К НББ[*]

В час трудный
Прихожу к тебе,
Кристаллу знаний,
Ты разноликость мыслей
Проясняешь.
Разноэтажен
Лабиринт познанья,
Многоэтажен
Путь до пика правды,
Вдруг веды и не вычерпать до смерти?
Воздав немало древним аксиомам,
Я возвращаюсь
В солнечное детство:
Там СИЛ[**] чернеет —
Все мое богатство.
Там перекресток Солнца,
Уходящий
Лучисто в необъятный Храм Вселенной.
Я в нем тону,
Дивясь, преображаясь,
Вливаясь в русло
Свежих информаций...
И этот путь длиннее нашей жизни.



[*] НББ — Национальная Библиотека Беларуси.
[**] СИЛ — словарь иностранных слов.



НАТАЛЬЯ ШЕМЕТКОВА

Она была Гитара

Рассказы

Осень

Весна почти всегда проходит очень быстро. Так было и в этот раз: пролетела, прозвенела. Не догонишь. Пронеслось знойное Лето, уступив место желтоглазой Осени.

Осень пришла, торопясь; укутанная в яркий плащ из разноцветных листьев, принесла с собой теплый пряный ветер. Он развевал ее волосы медно-красного цвета, и воздух вокруг был пронизан золотыми нитями.

По летней привычке стол еще накрывался на улице: мой единственный приносил вечно разбредающиеся по двору стулья, я застилала скатерть с фруктовым узором. Иногда Осень садилась вместе с нами за стол, и тогда становилось страшно: она была так похожа на сидящего рядом мужчину, что я боялась их перепутать. У них были длинные ярко-рыжие волосы, бледная кожа и большие, грустные глаза. Осень пила травяной чай, ела сушеные яблоки и уходила танцевать в поле, изо всех сил стараясь выглядеть беззаботной, но на самом деле ни на минуту не забывала, что времени у нее не много. Она отчаянно не хотела стареть, но с каждым днем на ее лице прибавлялось по морщинке, а рыже-красные волосы прямо на глазах теряли блеск и красоту.

Когда Осень уходила, казалось, мы оставались вдвоем. Но на самом деле ее тень незримо присутствовала рядом.

— Почему мне грустно, — спрашивала я, — потому что осень?

— Нет, любимая, — тихо отвечал он. — Осень, потому что тебе грустно.

И приносил плед, чтобы укутать мне плечи.

— Что нам делать? Как прогнать осень? — вслух рассуждала я.

— Никак. Она уйдет сама, — говорил он. — Главное, не впускать ее в сердце.

Мы пили горячий чай, щедро разбавленный бренди. Чай был такого же цвета, как волосы Осени. Усталое солнце больше не обжигало; ветер становился все холодней. Мы украсили наш двор виноградом и тыквами, чтобы задобрить Осень. Листья кружились и падали, устилая землю желто-красным ковром. И среди опавших листьев изредка вдруг да прошуршит полевая мышь, спеша в свою уютную норку.

Осень плакала: ее время истекало. Конечно, ей было хорошо с нами. Но ни я, ни мой любимый не старались ее удержать.

Осень плакала холодным дождиком: слезы не красили ее. Хотя и меня, вообще-то, тоже.

— Милый, скажи: я плачу, потому, что дождь? — говорила я сквозь слезы.

— Нет, дорогая, — он грустно качал головой. — Дождь, потому что ты — плачешь.

Зима пришла внезапно. Рассыпая горстями вокруг ледяной бисер, украшая опавшие листья белоснежной крошкой. Зима недолго терпела присут-

ствие соперницы. Осень еще боролась, но силы ее были на исходе. Из яркой красавицы она превратилась в сухую, неопрятную старуху. Зима, словно жестокий ребенок, с радостным улюлюканьем гоняла Осень по окрестностям, бросая ей в спину мокрые снежки, а мы ничего не могли с этим поделать. Такова жизнь.

— Почему мне холодно, скажи, потому что зима? — еле шептала я.

— Нет, милая. Зима, потому что тебе холодно.

Он хотел бы согреть меня, но не мог. Мой мужчина сам стучал зубами от холода, и его тепла было недостаточно для двоих.

Жизнь превратилась в ледяное желе. Мир засыпал под чарами Зимы, но Осень все еще не сдавалась, никак не уходила, заливая сугробы косыми дождями.

И тогда пришел Страх.

— Мне страшно. Это, потому что полнолуние?

— Нет. Полнолуние, потому что тебе страшно.

...Я проснулась среди ночи. В окно светила круглая желтая луна, словно кто-то вывесил в небе большую головку изгрызенного мышами сыра. Одной было и вовсе нестерпимо холодно. Укутавшись в одеяло, я вышла из комнаты.

В доме никого. Входная дверь приоткрыта. Я выглянула — снаружи шел дождь.

И там, недалеко от нашего дома, по щиколотку в снежном месиве, стоял мой единственный, а рядом с ним я видела Осень. Она, как и прежде, была золотоволоса и прекрасна, и что-то горячо ему говорила. Он стоял, понурив голову, и рассеянно глядел на свои мокрые ботинки.

— Любимый... — прошептала я в страхе, — не пускай ее в свое сердце.

Словно в ответ на мои слова, он поднял глаза на Осень, отрицательно покачал головой и медленно, словно во сне, направился к дому. Я босиком выскочила навстречу, и тогда дождь хлынул с новой силой. Осень, на мгновенье вспыхнув ярким пламенем, снова превратилась в старуху и... исчезла.

Мы встретились посреди дождя. Несколько долгих секунд он непонимающе смотрел на меня. В его глазах я все еще видела отражение Осени, но вот оно стало меркнуть, бледнело, и, наконец, исчезло. С нежной улыбкой он привлек меня к себе, и сразу стало тепло.

Дождь прекратился, с неба падали снежинки, опускаясь на рыжие волосы моего любимого алмазными звездочками.

— Осень ушла, — с тихой радостью прошептал он.

— Скоро весна, — невпопад ответила я.

Мы шли домой, держась за руки.

За окном кружил снегопад, а под крышей нашего дома царила Весна.

Щебетали птицы и распускались невиданные цветы, наполняя дом чарующим ароматом. На душе было светло и радостно.

— Любимый, скажи: радость — это потому что весна?

— Нет, — он улыбнулся, глядя, как на мою ладонь опустилась бабочка. — Весна — это потому что радость.

Бабочка

Женщины бывают разные.

Есть, например, пчелки-труженицы. Они всю жизнь крутятся, как заведенные, спешат, работают. Дети у них в порядке, и муж присмотрен, накормлен и доволен. Карьера у него в гору идет, сама женщина хороша: может, и не

красавица, может, и не умница, но женской мудрости у нее достаточно, чтобы огонь в семейном очаге горел ровным незатухающим огнем.

Бывают женщины-наседки. Они рождены, чтоб заботиться. Хорошо, если у такой женщины есть дети. Главное, чтоб их было как минимум двое. Она квохчет и утирает носы, и завязывает шнурки, и заботится даже тогда, когда дети вырастут и уже давным-давно не нуждаются в опеке. Для нее они все равно останутся маленькими птенчиками. Если же детей у нее нет, то всю заботу она перекладывает на мужчину или на тех, кто рядом. Окружающие стонут, но никуда не могут деться. Наседка за всеми присмотрит.

Есть женщины, как ломовые лошади: тянут непосильную лямку, из сил выбиваются, света белого не видят. Все делают сами, развращая своей самостоятельностью человека, который рядом. И он не чувствует себя мужчиной, и она глубоко несчастна.

Есть женщины-паучихи. Они умело плетут тончайшие сети, заманивая мужчин, да и не только мужчин — всех, кто им нужен. А потом, высосав человека до капли, выбрасывают пустую оболочку за ненадобностью. Мужчина, расставшись с такой женщиной, еще ходит, и говорит, и работает, но только жизнь ему в тягость, и сил больше нет.

А есть женщины-бабочки. Они порхают по жизни, приносят радость, но нигде не задерживаются надолго. Такие женщины рождены для того, чтоб нести в мир красоту. С ними вместе приходит свет, и лето, и тепло, и счастье. Но они не могут долго быть на одном месте: иначе просто гибнут. Если ты любил ее, лучше отпустить бабочку. Можно, конечно, поймать, засушить, проткнуть булавкой и приколоть к рамочке, но счастья от этого никому не будет. Лучше отпустить: она была рядом столько, сколько могла, а теперь ей пора лететь на свободу, к другим берегам.

Он все это знал.

Прекрасно знал, что та, которая была с ним рядом, принадлежит к семье бабочек, и рано или поздно оставит его. Но не хотел об этом думать: слишком любил. Втайне надеялся, что, обретя уютный дом, бабочка не захочет его покидать и останется навсегда.

Но бабочка никогда не превратится ни в пчелу, ни в наседку, ни в кого другого — как ни крути. Бабочка может стать только мертвой бабочкой. Он хотел бы остановить ее, но не мог: удержать бабочку можно, только если оборвать у нее крылья или посадить в банку. В том и другом случае она погибнет. А этого он допустить не мог. Слишком любил. И поэтому, с тоской представляя, что станет с его опустевшей душой, с его раскалывающимся на части миром, он отпускал ее.

Она уходила смеясь: в ней не было ни зла, ни обмана. Не было в ней ни обиды, ни гнева. Она просто уходила дальше, туда, куда ей хотелось лететь, чтобы снова и снова дарить свои красоту и тепло. Она уходила, не раздумывая: в ее светлой душе не было сомнений, они попросту были ей чужды.

Нежно коснувшись его лица, легонько клюнув губами в колючую с утра щеку, она подхватила небольшой чемодан и, лучезарно улыбнувшись, выпорхнула на улицу. Мужчина почти ничего не чувствовал: он знал, что это скоро случится, уже давно сердцем бабочка была далеко.

Он вышел следом за ней. Мир разделился на две части. В одной были музыка, легкая воздушная музыка, и свет, и яркие краски. Этот мир удалялся от него с каждым ее шагом. В другой части оставался он сам, серая безжизненная пустота, боль, и тоска. Все это безжалостно наступало, заполняя каждый метр освободившегося за ней пространства. Свет, сопровождающий

бабочку, удалялся, и, казалось, что светит все ярче, но на самом деле слишком силен был контраст по сравнению с наступающей темнотой.

Мужчина стоял, понурив голову, и, казалось, даже не смотрит ей вслед. А она шла и не оборачивалась, зная, что впереди у нее водоворот событий, море удовольствия и масса развлечений; уходила, ни на мгновение не задумываясь о том, что станет с ним. А что могло случиться с ним? Ее сердце, не способное на глубокие чувства, не могло постичь, что у другого человека может быть горе, беда, что люди могут глубоко и трагично переживать расставания, и что от безответной любви, пожалуй, можно даже умереть.

Подул ледяной ветер. Лето закончилось, а осень он и не заметил за постоянным ожиданием расставания с дорогой ему бабочкой. Последние теплые дни угасали прямо на глазах: они уходили вместе с покидавшей его любовью.

Ее походка была так легка, что казалось, будто ноги вовсе не касаются земли. Тонкие руки бережно касались черных деревьев, которые тянули к ней свои обнаженные ветки. На ходу она целовала последние увядающие цветы. Неопрятные бурые листья еще спешили за волочащимся по земле подолом ее длинного струящегося платья, в тщетной надежде получить напоследок немного тепла. Они цеплялись за края ее одежд, но, обессиленные, не могли удержаться и неподвижно замирали на остывающей земле. Холодный ветер подхватывал их и уносил прочь, бросая под ноги стоявшему на пороге мужчине.

Она уходила все дальше. Ее силуэт становился все меньше, все тоньше, яркие одежды бледнели, пока не растворились в холодном воздухе. Мужчина смотрел невидящими глазами ей вслед, до тех пор, пока глаза не начали слезиться.

Подул ветер с севера. В нем слышался еле уловимый звон бубенцов. Зима спешила занять свое место. Когда с неба начали падать белые крупинки, он поднял лицо вверх. Первые снежинки почти не ощущались замерзшей кожей.

Закрыв глаза, мужчина долго стоял под снегом. Снежинки медленно падали на волосы и не таяли. Опускались на лицо и стекали по щекам холодными слезами.

Мужчина вернулся в опустевший дом. Что будет дальше — он не знал. Здесь все дышало ею, хранило следы ее прикосновений. Жизнь продолжалась, и все будет по-прежнему. Только без нее. Его бабочка была словно огненной: опалила ему крылья, и он теперь не может не то чтобы летать — не может толком передвигаться. Только ползти.

Увидев в зеркале свое отражение, он грустно улыбнулся. В темных волосах блестели серебристые пряди — последнее напоминание об улетевшей бабочке. Оторвавшись от созерцания своего отражения, мужчина отправился на кухню. Недолго думая, налил стакан водки. «Никогда не пей горького вина», — говорила бабочка. — Пей вино веселое». Но сейчас это было лекарство, бальзам для разбитой души. Средство от всепоглощающей печали.

Горький напиток добавил горечи словам «я все знал с самого начала».

Он не знал одного.

Мужчина не знал, что где-то рядом, совсем близко, ждет своей минуты женщина-пчелка, и тоже все знает, и страдает, и любит... его. И, когда он опустится до самого дна в своем отчаянии, она придет занять место улетевшей бабочки, а он не в силах будет оттолкнуть любящую руку, предлагающую ему помощь. Примет с радостью и надеждой.

Пчелка придет, чтобы остаться навсегда. Она знает, что мужчина будет помнить свою бабочку, но... О чем вы говорите, у пчелки слишком много дел,

чтобы бороться с призраками. Когда их не замечаешь, они теряют свою силу. А чтобы их не замечать, надо жить полной жизнью, дышать полной грудью, отдавать себя без остатка и в благодарность видеть, как возвращается жизнь к тому, кто рядом, кто дорог и любим, и нуждается в дружеской поддержке. А от этого до любви один шаг. И призраки поблекнут и уйдут. Главное для этого — жить.

А творить жизнь женщина-пчелка, как никто, мастер.

Она была Гитара

Она была Гитара и пела о любви.

Как часто они сидели на кухне далеко за полночь: Мужчина, Женщина и Гитара. Опираясь щекой на руку, Женщина внимала звукам Гитары: то ласковым, как материнская колыбельная, то страстным, словно рожденным под жарким солнцем Испании.

Гитара не ревновала Хозяина, ведь он был Мужчиной. Чем больше он привязывался к Женщине, чем больше любил Хозяйку, тем нежнее он был с Гитарой. Их странный тройственный союз был гармоничным и счастливым до тех пор, пока в доме не появился Компьютер.

Одноглазый незнакомец поселился в самой большой комнате. Вместе с ним появился Компьютерный Стол, наглый и беспардонный. Находясь в тайном сговоре, Компьютер и Стол вынудили Мужчину купить Компьютерное Кресло.

Оно было большим и черным. Не очень мягким, не очень жестким. В нем было так удобно сидеть, а если немного покачаться, иллюзия жизни создавалась полнейшая.

В тот день Хозяин, удобно устроившись в Кресле, впервые на целый день забыл о Гитаре. Она безмолвно плакала в углу, не понимая, что же произошло? И почему Мужчина сидит на одном месте, не отрывая глаз от нахального новичка?

А пришелец, стоило его лишь включить, начинал жить собственной жизнью. У Компьютера была цель: увлечь Мужчину и затянуть его в свой мир.

Все, что только можно было себе представить, было в этом выдуманном, несуществующем мире. Кроме ценной, необходимой для работы информации там было так много всего: какие-то люди, на самом деле не являющиеся теми, за кого себя выдают, новости, порой выдуманные одержимыми сплетниками и подающиеся, как сенсация, какие-то события, не зная о которых можно прекрасно жить и быть абсолютно счастливым. Письма, сообщения, страницы, закладки, окна, ответы, форумы и чаты, сайты и блоги... И не замечаешь, что виртуальность затягивает тебя все глубже и глубже. Только это было не настоящим.

Встав с постели, Мужчина сразу же включал Компьютер.

Наспех приготовив кофе и горячие бутерброды (он их так любил! С майонезом, колбасой, сыром, сверху — пару листиков салата), он садился в любимое теперь им Кресло, и оно нагло прижималось к его спине. Вырваться из этих кожаных объятий было практически невозможно, и Мужчина оставался перед Компьютером на долгие, долгие часы.

Вскоре его завтрак, обед и ужин плавно переместились к Компьютеру. Понемногу его пища становилась все менее замысловатой, а Компьютерный стол — все более грязным.

Даже кофе, его любимый молотый кофе сменил растворимый напиток, который он вместе с другими необходимыми вещами заказывал теперь по Интернету. Больше он не делал себе горячих бутербродов.

А однажды случились перебои с электричеством, Компьютер удивленно мигнул и погас. Гитара радостно зазвенела, но, увы, радость ее была не долгой. Соперник, даже будучи мертвым, уже контролировал ситуацию. Впервые за несколько дней Мужчина вышел из дома, а когда вернулся, в руках у него была коробка. Так в доме появился Бесперебойник.

Гитара рыдала, Компьютер ликовал. Теперь его безопасности ничего не угрожало.

С тоской глядя из своего угла, Гитара думала о том, что теперь ей больше надеяться не на что. Она потеряла своего Мужчину. И еще больнее ей было оттого, что Женщина тоже теряла его.

Они часто разговаривали по телефону. Но все темы, в конце концов, сводились к новой игрушке Мужчины.

— Ты не представляешь, как это здорово, — воодушевленно говорил он, — я могу работать дома, приходи, посмотришь...

Компьютер, незаметно человеческому глазу, удовлетворенно подмигивал Компьютерному Столу. Компьютерный Стол радостно толкал в бок Мышку, а Компьютерный Стул еще крепче сжимал человека в своих объятиях.

— Знаешь, это самый удобный стул в мире, — с коротким смешком говорил Мужчина в телефонную трубку. — Я готов даже спать в нем...

Так однажды и случилось: мужчина заснул перед светящимся экраном.

Хозяйка появлялась в доме все реже и реже, а Хозяин дни напролет проводил за Компьютером. В доме стало неуютно и уныло. Пальцы Мужчины все увереннее и быстрее бегали по клавиатуре, наполняя тишину монотонным постукиванием.

Сидя за компьютером, Мужчина не слышал ни шелеста листьев на ветру, ни того, как маленькими молоточками барабанил по стеклу дождь. Пока однажды молния не ударила совсем рядом с его домом.

— Когда, ну когда дадут свет, — кричал Мужчина в телефонную трубку, приправив фразу крепким словцом. — Мне нужно работать, ра-бо-тать, вы понимаете? Завтра? Завтра?!

Он в ярости бросил телефонную трубку. На ощупь пошел к своему другу, сел в Кресло, и с тоской уставился в едва различимый в темноте мертвый экран. Заняться ему было абсолютно нечем.

А потом Гитара услышала его шаги.

Мужчина вытащил ее из угла, отвыкшие от музыки руки с трудом вспомнили, как держать Гитару. Она же таяла и млела, благодарно впитывая своей деревянной кожей человеческое тепло.

Он хотел сыграть старую, красивую, давно забытую мелодию. Но руки отказывались повиноваться, и Гитара ничего не могла с этим поделать. Фальшивые, резкие звуки странно зазвучали в полной тишине. В руках его чувствовалась злость, пальцы дрожали. Гитара льнула к нему, стараясь успокоить и утешить. Но сегодня он был ей чужим.

Резко встав, он вернул ее в угол, сильно стукнув об пол. Гитара жалобно всхлипнула. Мужчина повалился на кровать прямо в одежде и, в конце концов, заснул тревожным сном.

Утро наступило, принеся с собой привычный гул в проводах. Непоседа солнечный луч щекотал лицо. Мужчина зло отмахнулся и сел на кровать. Свет был. Сломя голову бросился он к Компьютеру.

Жертва попалась — виртуальность взяла верх. Огромный мир, земля и Вселенная сжались до размеров комнаты. Нет, гораздо меньше. Теперь мир Мужчины состоял только из Компьютера, Компьютерного Стола и Компьютерного Кресла.

Однажды вечером в дом пришла Женщина. Раньше она чувствовала себя здесь Хозяйкой. Теперь же у нее была другая роль — роль Непрошеной Гостьи.

— Подожди минутку, — нетерпеливо махнув рукой, сказал Мужчина. — Только закончу, совсем немного осталось.

Быстрым шагом он отправился к Компьютеру, и Гитара услышала, как удовлетворенно хмыкнул Компьютерный стул.

Женщина ушла, так и не дождавшись Мужчину. Он вернулся в свой мир, ему ни до кого не был дела.

Этот мир был вымышленным, этого мира не существовало, но его можно было видеть и чувствовать. В этом мире Мужчина мог быть кем угодно. Он мог путешествовать, не выходя за пределы комнаты, во времени и пространстве — все было ему подвластно. Все повиновалось лишь едва заметному движению его руки.

Компьютер был доволен: жертва прочно запуталась в Паутине. Мужчина открывал все новые и новые двери по пути в бездонную пропасть Интернета, не заботясь о том, найдет ли дорогу назад.

Дом без Женщины осиротел. Сколько времени прошло — никто не знает, но она вернулась еще один раз. Ей пришлось долго звонить в дверь.

Когда он открыл, неприятно удивилась. Мужчина был сутулым, в мятой одежде, казалось, что он в ней спал. Глаза ввалились и странно блестели, он даже не сразу понял, кто к нему пришел.

— А, это ты, проходи, — наконец буркнул Мужчина. Оставив ее у открытой двери, он поплелся к компьютеру.

Она прошла на кухню, которая, как и другие комнаты, оказалась грязной и неопрятной. Женщина вымыла посуду, сварила кофе. Он пришел на кухню, почувствовав забытый аромат.

— Знаешь, я выхожу замуж, — нервно крутя в руках ложечку, произнесла Женщина.

Он поднял глаза, и сердце у нее защемило: на мгновенье перед ней снова оказался тот Мужчина, которого она когда-то любила.

А через секунду перед ней снова сидело безликое существо.

— Да? Хорошо, — сказал он, словно не расслышав, что же сказала его собеседница. — Знаешь, я нашел такой интересный сайт...

Женщина с жалостью посмотрела на него. Не каждому дана возможность быть борцом, а уж она точно не рождена, чтобы сражаться. Ей хотелось всего лишь тепла и заботы. Чтобы муж приходил с работы, она целовала его и тут же ее отметала в сторону парочка растрепанных сорванцов.

Все, о чем она мечтала — о семейном уюте, и недавно появился человек, который все это мог ей дать. А бороться с Техническим Прогрессом — выше ее сил. Женщина знала, что, скорее всего, проиграет.

Женщина вышла и вернулась с Гитарой в руках.

— Сыграй мне, — попросила она.

Мужчина покорно взял Гитару, не совсем понимая, чего от него требуют. И не смог взять ни одного аккорда.

Больше в этот дом Женщина не приходила.

В один из вечеров к Мужчине зашли старые друзья. Неловким и кратким был этот визит. Кто-то из гостей попросил подарить Гитару, и Хозяин без колебаний протянул свою давнюю подругу.

Гитара не могла вынести такого предательства: ее струна лопнула, больно впившись в руку Мужчины.

Так у Гитары появился новый дом.

* * *

Прошло несколько лет. Никому не нужная Гитара тихо пылилась в углу, пока ее снова не подарили. На этот раз Гитару, как игрушку, отдали Детям. Странными были эти игры: неистово они терзали струны музыкального инструмента. Наигравшись, Дети бросали Гитару в угол, где она молча залечивала свои раны, вспоминая давно ушедшие дни, когда ее Хозяин и Женщина сидели на кухне, а она пела о любви.

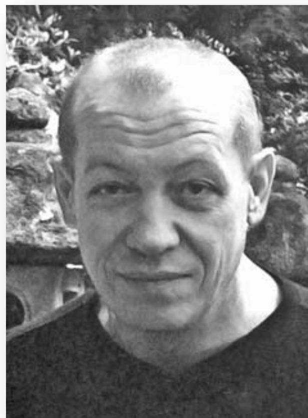
Однажды Дети раздобыли Инструменты. На счастье Гитары, вернулись Хозяева и принесли новую Компьютерную Игру. Дети тут же оставили Гитару, не успев причинить ей особого вреда.

Но Гитара так и не оправилась от предательства. Когда ее в очередной раз бросили в угол, сердце Гитары не выдержало и она треснула пополам.

Когда же кто-то тронул ее струны, она издала лишь дребезжащий звук.

И тогда ее выбросили на свалку.





ВЕЧЕСЛАВ КАЗАКЕВИЧ

Все на свете в сказку превращается

* * *

Долго шел над водой,
упиваясь мечтами:
стать бы тоже рекой,
стать бы тоже цветами!

Я поклясться готов,
на Синано и Висле
у воды и цветов
только светлые мысли.

И послышался вдруг
тихий смех над волнами:
— Вот поэтому, друг,
и не будешь ты нами!

* * *

Славно было читать вместе с вьюгой:
«Жили-были старик со старухой...»
Сколько лет пролетело с тех пор!
Лучше понял я русский фольклор.

Увлеченно с вареньем и чаем
ту же фразу глотает малец.
Верит он, это сказки начало...
Знаю я, это сказке конец.

* * *

Белое платье в синий горошек.
«С мамкой сегодня сажали фасоль...»
Пара ужасно уступчивых ножек.
Нет, не читала она про Ассоль!

За общепитом, под месяца вывеской
я ей о верности не говорил.
Нет, не увидит она романтических
алого цвета дутых ветрил!

Парусник, пахнущий свежими досками,
пусть ее тоже захватит врасплох,
но с парусами, конечно, неброскими —
белыми просто, в синий горох.

* * *

Все люди к окнам, встав с постели,
прижались белыми носами.
На первый снег они глядели
большими белыми глазами.

Любая будка так светилась
в раю как будто очутилась.
Все-все, казалось, изменилось!
Но ничего не изменилось...

* * *

Навряд ли я смогу уже добиться
от проклятых поэтов добрых слов:
ни сифилиса нуте, ни девицы
с каких-нибудь Маркизских островов.

Я не замучен критиков обстрелом,
от опиума день и ночь не пьян,
не умоляю в доме престарелых
мне выделить под лестницей чулан.

Чудесный кто-то вел меня по жизни,
подбадривал огнями впереди.
Вот и сейчас он полон оптимизма
и шепчет убежденно: «Подожди...»

* * *

Детства рассыпались небылицы,
будто любимое старое кресло.
Долго шагал ты за Синею Птицей.
Все! одряхлела она и облезла.

Еле плывет над землей зарубежной,
пух оставляет на гребнях кустов
и наполняет слюной и надеждой
встречных и поперечных котов.

Нет больше сил по свету носиться!
С розы собачьей сшибает росу.
Ладно уж, падай, Синяя Птица.
Дальше тебя на руках понесу.

* * *

Так легко последним стать тихоней,
книжку отсыревшую листая,
солнце лижет у тебя ладони,
как собака золотая.

Девушку увидишь на прогулке
или барк под всеми парусами...
Иногда кусочки булки
Бог и нам бросает.

* * *

Зеленая стрела уходит в тишину,
в заветную страну!
И ты за нею вслед, открыв раздольно рот,
пускаешься в поход.

Как много тебя ждет!
Как ждет тебя немного!
Стрела не упадет.
Не кончится дорога.

* * *

Забыл я того, кто сквозь тину и слизь
увидел в болоте бомбардировщик!
Из сердца дырявого унеслись
и плот из забора, и с музыкой роща.

Не помню, с кем пил я бесстрашно «Агдам»,
не помню, кого вызывал на запруду.
Но там, я мечтаю, меня никогда —
конечно же — никогда не забудут.

* * *

Все на свете в сказку превращается!
Кровь хлестала, запекался пот...
Смотришь — золотая цепь качается,
говорящий выступает кот.

И про нас однажды сложат сказку
пошлому забвению назло,
обо всем волшебном и прекрасном,
что с тобой и мной произошло.

Бабушки кой-как ее запомнят,
и с заходом солнца за кровать
будут ею русских и японских
малых деток до смерти пугать!



ХЕЛЛЕ ХЕЛЛЕ

Это следовало написать в настоящем времени

Главы из романа

Хелле Хелле: кто она?

Хелле Хелле считается одним из лучших прозаиков в Дании, чьи произведения переведены на десять языков, в том числе чешский, эстонский и немецкий.

Она родилась в датском городке Наксков, а в трехлетнем возрасте переехала с родителями в портовый город Релбю. Поскольку город маленький, развлечений не было, кроме дискотеки и прыжков на трамполине (маленький батут), поэтому писательница большую часть времени проводила в библиотеке. Учеба вдохновила на написание первых рассказов. Закончив школу писателей, отделение литературы в университете Копенгагена, она решила продолжить писательскую карьеру и сосредоточиться на прозе.

Ее рассказы и романы представляют собой некие зарисовки, сюжеты из жизни, накладывающиеся друг на друга. Реализм сливается с минимализмом. Читателю приходится читать между строк, домысливать и интерпретировать происходящее самому. Ведь Хелле Хелле не дает ответов на вопросы. В произведениях не встретишь эмоциональных переживаний или философских размышлений. Взамен — констатация фактов и детальное описание событий.

Внутреннее становление, конфликт с самим собой, поиск собственного «я» — основные идеи, исповедуемые писательницей. Возможность раскрытия жизненного пути через описание незначительного эпизода и выявление сущности человека по мимолетному взгляду на него — характерные особенности ее творчества. Чувственная экспансия героев основана не только на внутриличностных переживаниях и борьбе эмоций с разумом, но и взаимодействии их с природой и ответной реакции окружающего мира. Жизненные отношения балансируют на грани между отчужденностью и близостью.

Первый сборник рассказов «Пример жизни» вышел в 1993 году. Книгу можно охарактеризовать, как роман и сборник рассказов. Это первый серьезный шаг в творческом пути, где писательница доказывает, что общение — одно из важнейших средств взаимодействия человечества.

В одном из следующих сборников рассказов «Автомобили и животные» Хелле Хелле продолжает развивать стиль реализма. Книга состоит из 16 новелл, рассказывающих четким и лаконичным, а иногда и «конспективным» языком о мелких неприятностях в повседневности. Дни протекают тихо и спокойно, тем не менее, за кажущимся спокойствием и покоем скрывается неудовлетворенность собой и дисгармония с окружающим миром.

В произведениях Хелле Хелле отношение к себе, непонимание избранника рождает болезненное чувство одиночества, как в многомиллионной столице, так и в маленьком городке. Способ преодоления одиночества каждый ищет сам. Писательница предоставляет читателю право выбора не только в поиске себя, но и заставляет задуматься над главными жизненными приоритетами.

Первый роман Хелле Хелле «Представление о несложной жизни с мужчиной» увидел свет в 2002 году. Роман начинается со смерти: Сусанна находит своего возлюбленного Кима мертвым в постели незадолго до Рождества. Произведение выстроено в виде рассказа о жизни героини до произошедшего. Бытовая рутина и повседневность отношений внезапно прерываются смертью. Конец романа остается открытым, как и во всех произведениях писательницы.

Новый роман, «Это следовало написать в настоящем времени», созданный в типичном для Хелле Хелле стиле, вышел недавно и сразу нашел свою аудиторию.

Не успел роман «Это следовало написать в настоящем времени» предстать перед читателями в 2011 году, как практически сразу, 7 января 2012 года, на сцене одного из театров г. Копенгагена поклонники Хелле Хелле смогли насладиться его постановкой, а сам автор получил приз «Золотой Лавр» по максимальному количеству проголосовавших читателей и книжных дилеров (наряду с Ханне — Вибеке Хольст и Юсси Адлер — Ольсеном).

Что вызвало такой ажиотаж и чем вызвана популярность нового произведения?

На первый взгляд, роман представляет собой сумбурный набор выхваченных из жизни юной героини Дорте моментов. Нити автобиографического повествования обрываются то тут, то там настолько внезапно и, кажется, беспричинно, что порой становится сложно уследить за развитием сюжета. Встречи с новыми людьми у Дорте происходят также хаотично. Они то появляются, то исчезают. Открытый конец романа поневоле заставляет вернуться к началу.

Дорте Хансен, девушка двадцати лет, пытается устроить собственную жизнь и переезжает в провинцию. Дорте получила имя в честь 45-летней тети с неустоявшимся жизненным укладом. Также, как тетя, героиня бежит от отношений с мужчинами. Жизнями и тети, и племянницы руководит случай; обе не знают, чего хотят, и не ставят целей. Создается впечатление, что они плывут по течению. Незапланированной беременности Дорте-младшей уделяется мимоходом пара строк как вполне обыденному событию, ничем не затронувшего и не повлиявшего на судьбу и психику девушки. Фактически, тетя — наглядный пример будущего героини, если она не задумается и не изменится сейчас. Наличие в рассказе множества неопределенных местоимений, элементарное пошаговое описание действий и отсутствие эмоциональных оценок и характеристик событий говорит о неуверенности в себе, неопределенных желаниях и ее инфантильности.

И почему отношения Дорте с родителями такие напряженные и натянутые? Она ведет себя, словно принимает факт их существования в своей жизни как тех, кто дал ей жизнь, и на этом отношения заканчиваются. Может, это — попытка начать новую независимую жизнь или избавиться от родительского гнета? Или нежелание быть привязанной к кому-то, даже к собственным родителям?

Это лишь вершина айсберга. Дорте страдает бессонницей, не может (или не хочет?) готовить или стирать одежду. Одним словом, упорядочить жизненный ритм. Она переезжает в маленький домик в провинции, изо дня в день ездит в Копенгаген вместо того, чтобы учиться в университете, или сталкивается с людьми, знакомство с которыми оканчивается, не успев начаться.

Отношения с молодыми людьми также оказываются быстротечными и необременительными.

Роман Хелле Хелле поднимает массу вопросов и не дает однозначных ответов. Действительно ли героиня «бесхребетна, как улитка» (символичное название статьи, на которую случайно Дорте наткнулась в журнале) или это своеобразный поиск себя? Возможно, попытка спрятаться в панцирь, как улитка, и отгородиться от окружающего мира. Или перед нами разворачивается трагедия современника, не знающего себя, своих стремлений и своего пути?

Юлия БЕЛАВИНА

Глава 1

Я написала слишком много о той лестничной ступеньке. Осталась перед захлопнувшейся дверью. На дворе март. Перед той же дверью сидела и смотрела в пустоту в апреле. В конце мая перед ней стояли отец с матерью, одетые в пуховики. Их головы склонены набок.

Цвела сирень. Автобус отъехал от остановки, обдав запахом дизеля, а потом вновь расцвел аромат сирени. Воздух теплый и мягкий, на мне — одежда без рукавов.

— Ты забыла, — сказал отец, протягивая мешок. — Мы все выстирали.

— Отец выложил из машины, — сказала мать.

Они развернулись и пошли к машине, мать села спереди. На заднем сиденье виднелись швабра и ведро. Мать помахала на прощание рукой, ветер развевал ее волосы. Я вернулась на кухню, оставив дверь открытой. Взяв стакан молока, услышала, как они уезжают.

Я упаковывала и сортировала вещи большую часть ночи, и теперь хорошая одежда лежала в клетчатом чемодане на кухонном полу, а остальное я выкинула. На выброс набрала три огромных черных мешка для мусора. Не понимаю, откуда столько одежды, даже не помню, что покупала в таком количестве: футболки, свитера, разные виды гетр, туфли, сапоги, ни разу не надетые платья из секонд-хенда.

В одном из мешков также были мои так называемые тексты. Когда-то у меня рука не поднялась выбросить письменное выражение собственных мыслей, и вот я на них наткнулась. Пыталась не читать их во время уборки, но отдельные предложения приковывали взгляд. Я намеренно отводила глаза, пока возилась с мешком. В принципе, слишком много написано о переездах. На сегодняшний день передо мной чемодан на полу в кухне и мешок с брюками на подоконнике. У дороги цвела белым цветом сирень, а родители с ведром и шваброй уже проезжали через горы мимо озера Глумсе.

Глава 2

Я уже год снимала дом-бунгало недалеко от железнодорожных путей. Стояла в садике перед домом и грызла яблоко, когда заметила Дорте, направляющуюся ко мне в белых сабо. Девушка, сдающая мне жилье, предложила сорвать пару яблок с дерева. Она наклонила ветку, и несколько яблочек упало на землю. На девушке был деловой костюм, выглядевший на ней нелепо. Мне пришла в голову мысль, что скорей всего мы с ней одного возраста: около двадцати. Она взяла яблоко и начала обтирать его о брюки.

— Ты работаешь здесь, в городе? — спросила она.

— Нет, только начала учиться в Копенгагене, — ответила я и пожалела о произнесенном «начала». Костюм все-таки смотрелся на ней не очень хорошо: рукава пиджака явно предназначены не для ее рук.

— Неплохое местечко.

— Так и хотела.

— Что ты изучаешь? — девушка взглянула на дорогу, откуда возвращалась Дорте с развевающимися от ветра волосами. — Сейчас твоя мама скажет результат.

— Плюс минус двадцать семь метров, — объявила громко Дорте.

— Она — моя тетя, — пояснила я.

— Ах, вот оно что, — сказала девушка.

Нам разрешили остаться, сколько захотим, единственное — должны захлопнуть за собой дверь, когда будем уходить. Мы сидели каждая

на потрескавшемся подоконнике в гостиной и разговаривали об аренде, которую мне хотелось осилить, не беря займа. Из туалета пахло чем-то соленым. Дорте зажгла сигарету, у нее всегда зажигалка лежала в пачке сигарет.

— Симпатичный домик, — сказала она.

— У меня совсем нет мебели.

— Возьми мой комод. Хочешь, еще могу предложить лампу в виде куры.

— Лучше стол.

— Ты разве не видела его в сарае?

— Здесь?

— Да, прямо за дверью, — Дорте спрыгнула с подоконника, и я последовала за ней.

Это оказался маленький кухонный столик с дверцами. Дорте кивнула, не вынимая сигареты изо рта.

— Представляешь его у окна в гостиной?

— Мне нужны занавески.

— Какая разница, ты всегда можешь купить жалюзи. Взгляни, — она указала на кофейную банку на полке, но в этот момент мы услышали проезжающий мимо товарный поезд и забыли, о чем говорили. Просто стояли в дверях и наблюдали за длинным составом ржавых вагонов.

Перед уходом мы прошлись по саду. Над яблоней нависали груши, мирабель и огромные заросли кустарника, который, по мнению Дорте, должен был быть малиной. Мы заглянули во все окна; дом производил впечатление светлого. Послеобеденное солнце поигрывало лучиками на полу. Дорте прижалась лбом к кухонному окну.

— Когда все отполируется, получится настоящий Вордингборг[1].

Она повернулась и стала очищать сабо от травы и желтой мякоти мирабель. Затем вытерла руки о листья и посмотрела на часы.

— Береги себя. Я замарашка.

Глава 3

Спустя два дня, в пятницу, я переехала. Дорте перевезла ящики и мебель на фургоне. Она также подарила свой старый телевизор и пластиковые стулья. Ближе к вечеру я разобрала и перенесла стол из сарая в гостиную. Привинчивать ножки к столику оказалось сложно. Когда мне это удалось, я подтащила его к окну и села. Наклонившись вперед, видела здание вокзала в конце улицы. На противоположной стороне располагалась парикмахерская и чуть подальше — кабачок. Я подумала, когда начать готовить обед. Заранее купила замороженные блины и мясо цыпленка по специальному предложению. Плюс муку, специи и моющие средства. Покупки остались стоять на кухонном столе. Решила застелить полки в шкафу специальной бумагой и написала себе записку-напоминание: «Бумага для полок». Я сидела за столом, пока солнце не исчезло из гостиной. Когда настало время блинов, выяснилось, что духовка не работает. Свет загорался, но духовка не разогревалась. Сковороды не было, разогрела блины в кастрюле. Они подгорели, но остались сырыми. Стоя за кухонным столом, я съела всю еду, предназначавшуюся на два дня. После обеда почувствовала необходимость прилечь. Легла на пол, на ковер, который нещадно кололся. Попыталась его убрать с пола, но он как будто приклеился резиновым основанием к полу.

[1] Вордингборг — город в Дании на юго-восточном побережье о. Зеландия.

Окно приоткрыто. Прохладный вечерний ветерок дул через щель в голову. С улицы пахло котлетами, дрожжами, яблоками и мирабелью. Доносились звонкие голоса. Прибыл поезд, долго визжа тормозами. Мгновение тишины, двери открылись и вновь тишина. Раздался легкий смех. Свист, двери захлопнулись, скрип во всех вагонах, и поезд, тяжело набирая обороты, продолжил путь. Я бы сказала, отъехал.

Глава 4

Отец получил клетчатый чемодан в подарок за сдачу квалификационного экзамена в Хобро.[1] Я одолжила чемодан, переезжая из дома во второй раз на запад острова Зеландия, где мне надлежало присматривать за двумя детьми и собакой породы голден ретривер. Мне было восемнадцать. В мои обязанности входила уборка дома в понедельник, среду и пятницу, но меня хватило только на понедельник и среду. И вот я вновь ехала домой на автобусе, чемодан скрежетал, катаясь по полу между сиденьями. Я созерцала маисовое поле за поселком Хауребьерг.

С тех пор чемодан остался в моей комнате, и даже какое-то время выполнял функции ночного столика. Днем ночник отсвечивал от него белым кругом, я лежа разгадывала кроссворды и отгадки писала ручкой. Единственное, что должна была делать по дому: перед стиркой наизнанку выворачивать джинсы.

Ежедневно я совершала прогулки. С каждым днем ходила все дальше и дальше по проселочной дороге. Так я встретила молодого человека по имени Пер Финланд, который тоже не знал, чего хочет от жизни. Он целыми днями ездил на дядином грузовичке и курил сигареты Принц 100. По недоразумению стал членом молодежной организации в СФУ[2] на вечеринке в г. Сандбю. Мы стали вместе ездить домой. У него была раскачивающаяся водяная кровать. Внизу в садике родители насвистывали какую-то мелодию. Они не занимались прополкой сорняков. И мать, и отец работали преподавателями датского языка. Когда я уходила домой, то в гостиной замечала его мать, склонившуюся над домашними работами учеников. Однажды она вышла в коридор попрощаться. Ее волосы на прямой пробор обрамляли лицо, как две гардины.

— Я рада, что у вас с Пером отношения, — сказала она.

Я не знала, что ответить, так как мои мысли занимали ее волосы.

— И я рада, — нашлась-таки я. Она несколько раз кивнула. Я не заправила гольфы в сапоги, и они мгновенно сползли вниз.

— Хорошего пути домой, — она кивнула еще раз и вернулась к работам.

Двор был усыпан большими, скользкими кленовыми листьями. Я шла домой через поля, сапоги становились тяжелее с каждым шагом. Каждый вторник и четверг на обед приходила Дорте, если ее не навещали гости мужского пола. Она всегда приносила мясо.

Глава 5

Первую ночь в доме я спала сидя. В кресле, положив ноги на подлокотник и накрывшись одеялом. Я не постелила постельное белье, хотя Дорте напомнила об этом.

---

[1] Хобро — город в Дании.
[2] СФУ — Университет им. Симона Фрейзера.

— Не забудь перво-наперво постелить белье. При переезде всегда валишься с ног от усталости.

Кровать-колыбель была собрана. Она занимала всю спальню так, что дверь еле открывалась. Я легла спать около полуночи; лежала и смотрела в темноту. Хоть глаз коли. Встала, пошла в гостиную, включила настольную лампу и села в кресло. Сидела, не шевелясь, и прислушивалась. Ничего не слышно. Я потянулась за матерчатой сумкой на полу и нашла в ней пачку жевательной резинки. Закинула в рот сразу четыре штуки и принялась жевать. На зубах поскрипывало. Я прекратила жевать и вновь прислушалась. Жевала до исчезновения вкуса и отправилась на кухню с шариком жевательной резинки. Только подняла крышку мусорного ведра, как сзади раздался грохот упавшего шланга от пылесоса. Грохот продолжал раздаваться в ушах, когда я села в кресло, укрывшись одеялом. Подоткнув его под грудь, заснула и спала со свесившейся головой, пока товарный поезд длиной в несколько сот метров не прогромыхал мимо. Настольная лампа горела до рассвета.

Глава 6

Я сидела за складным столом и размышляла о слове «сонный». Утро субботы. Надо бы чем-то заняться. Например, распаковать оставшиеся ящики и отнести их в сарай или можно принять ванну. Необходим свежий воздух; по меньшей мере, я могла бы перейти дорогу и подняться по маленькой тропинке, плутающей между блочными домами, к магазину Брусен, чтобы купить какие-нибудь овощи и несколько яблок на следующую неделю. Подумала о своем детском счете.[1] Средства, на которые я жила в течение трех лет, подходили к концу. Осталось меньше четырех тысяч крон. Тут я осознала, что смотрю на яблоню. Настолько поразилась, что вскрикнула, резко встала со стула и влезла в шлепанцы. Сорвала четыре больших зеленоватых яблока и положила их на ступеньку дома. В садике позади дома я обнаружила веревку для сушки белья, натянутую между грушевыми деревьями. К сожалению, полностью отсутствовали груши на ветках. Одни листья на деревьях были покрыты внушительных размеров коричневыми пятнами, другие — желтели или краснели. Пришла в голову мысль, что пора обновить проездную карточку, и я отправилась за кошельком в гостиную.

У вокзала пожилой мужчина, не сходя с велосипеда, стоя одной ногой на земле, кидал письма в почтовый ящик. На втором этаже через открытые окна слышалась утренняя музыка. Мелькнула рука с тряпкой. Я распахнула дверь и вошла в офис. Парень, сидящий за стойкой, оторвался от булочки и сказал, не смахнув крошки со рта:

— Привет.

— Приятного аппетита.

— Извините.

Улыбаясь, он дожевал остаток булочки. У него были светлые волосы до плеч. Я подумала о том, как он получил работу в кассе. На столе лежала раскрытая утренняя газета, а сверху — книга о Пинк Флойде, из которой выглядывала закладка. Обновить проездную карточку оказалось непросто, так как коммуна, куда я переехала, обслуживалась другим транспортным сообществом. В результате пришлось делать абсолютно

[1] Накопительный банковский счет, который родители могут открыть в любой момент после рождения ребенка, и средства со счета поступают в распоряжение достигнувшего совершеннолетия ребенка.

новую. У меня сохранилась маленькая, к сожалению, не самая лучшая фотография, сделанная в кабинке-автомате, которую я протянула вместе с деньгами. Пока парень ее обрезал, вкладывал в карточку, он все время улыбался.

— Если поторопитесь, то успеете на следующий поезд, — сказал он напоследок.

— Да нет, сегодня же суббота.

Я чувствовала, что он проводил меня взглядом.

На перроне звуки музыки сливались со звуком работающего пылесоса, и, вероятно, поэтому я поспешила перейти через пути. На остановке никого не было. Поезд промчался среди деревьев и начал тормозить. Я заткнула уши руками. Открылись двери, и в проеме появился высокий мальчик, волочащий за собой рюкзак. Машинист со свистком во рту выглядывал из открытого окна в начале поезда. Он посмотрел на левое запястье. Его взгляд упал на меня, и он сделал приглашающий жест рукой по направлению к поезду. Сначала я покачала головой, но затем вошла в поезд, когда он повторил движение и свистнул. Быстро взбежала по ступенькам. Пока поезд разгонялся, спрыгнула на перрон и неудачно приземлилась на колено. Хотя скорость была не очень большая, падение есть падение. Тем не менее, я с легкостью вскочила на ноги. Пошла назад через пути в обход здания вокзала. На новых джинсах образовалась дырка. Я не захлопнула дома дверь, и сейчас она была едва приоткрыта. По пути в сад повторяла движение машиниста. Не знаю почему.

Так как дом оставался незакрытым то время, пока я была на станции, перроне, в поезде и снова на перроне, я тщательно его осмотрела. Заглянула во все двери, сарай, шкафы и под кровать, и за газовый баллон. Я делала это как бы невзначай, словно искала мячик или инструменты.

Села в кресло, вооружившись иголкой и ниткой, с целью залатать дыру на джинсах. Не получилось. Включила телевизор и посмотрела программу о саде, позже — о футболе, поглощая печенье одно за другим. После обеда заснула, не вставая со стула. Голова постоянно скатывалась набок. В конце концов легла на пол и заснула, прижав подушку к груди и приоткрыв рот. Проснулась спустя много часов в темной гостиной, мучаясь от жажды. Вероятно, из-за печенья. Точно не смогу заснуть вечером. Тогда буду сидеть и рисовать прямоугольники, слушая ночной эфир по радио, пока он не превратится в утренний, и мощный товарный поезд не прогромыхает мимо. Тридцать-сорок вагонов. Трансвагон, трансвагон. Положить голову на столик, закрыть глаза и смотреть, как черточки преображаются в квадраты и прямоугольники из-под полуприкрытых век.

Глава 7

С водяной кровати Пера Финланда было видно дорогу, змеящуюся по полям и между хижинами, а также легкий дымок, поднимающийся над земельными участками. Когда мы открывали окно, в нос ударял запах горящего березового распила. Он лежал и поглаживал меня по спине шершавым пальцем. Его голос огрубел, он часто кашлял. Дома был электрический нагреватель; мы приходили и ждали, когда он нагреется.

После переезда из Слаглилле у Дорте появилась печь. Она разжигала ее картонными пакетами из-под молока, плотно набитыми газетами. Я собирала использованные пакеты, но их оказывалось не так и много. У нее же была договоренность со столовой и о пакетах, и газетах. В семье Пера выписывались две газеты: «Политикен» и «Типсбладет». Пер должен

был забирать их из почтового ящика на въезде. Как-то в выходной прямо посреди дня он обнял меня длинными руками.

Мы лежали в кровати. Я рано встала в тот день и уже сходила на прогулку, когда мы встретились на перекрестке у пруда. Он был без машины. На дорогах стояла слякоть.

— Пойдем домой и разденемся догола, — предложил он и взял меня за руку. Наши резиновые сапоги шаркали бок о бок в тягучей грязи.

Из окна поля выглядели коричневыми и черными, опушка тоже утратила последние яркие цвета. Стая ворон взметнулась в воздух, когда небольшой автобус свернул с главной дороги. На его теле очень тепло лежать: кровоток хороший. Мне нравилось, как изгибались его брови в момент наслаждения, и как полностью расслаблялось лицо мгновением позже. Вороны одна за другой приземлились на асфальт и теперь скакали и каркали.

— Где твои родители? — спросила я.

— На каком-то банкете.

— В такое время?

— Да, что-то наподобие дневного банкета.

— А, ну ладно.

— Придут лишь через несколько часов.

— Они работают в одной школе?

— Нет, они не хотят. Это убьет отношения.

— Понятно.

— Но банкет не там.

— Где?

— Не в школе.

— Тогда ладно.

— У пчеловодов.

— У вас и пчелы есть?

— Только те, которые пролетают мимо. Да нет, были много лет назад. Но это слишком тяжелая работа.

— Ах, вот как.

Он принимал ванну. Я лежала и прислушивалась, как вода с сильным напором наполняла ванну. Иногда доносились удовлетворенные звуки. Я подумала, что даже если бы меня не было в доме, он бы себя вел точно также. Я встала, надела брюки и свитер. Пар валил из ванной. Он стоял под душем с закрытыми глазами. Я села на маленький подоконник и прислонилась лбом к стеклу. Елка стояла с прошлого года. Без единой иголочки. Похожа на красную ель. Наконец вода выключена, он потянулся за полотенцем и улыбнулся в полном изумлении:

— Ты тут? В одежде?

— Временно, — ответила я.

Спустя время, когда мы лежали в кровати, услышали, как «вольво» с шумом въехала во двор. Родители Пера с шумом вошли в дом и вскоре через деревянный пол начал просачиваться аромат свежесваренного кофе. Мы спустились вниз и получили по чашке. Несколько позже в этот вечер мы вчетвером ужинали бараниной на кухне. Я ела баранину лишь однажды, у Дорте. Вместо Халхидики и в честь скорби. Дорте съехала от грузчика, с которым они собирались вместе ехать в Грецию. Нас было двое. Блюдо украшено огурцом и сыром «фетой». Мы долго сидели и смотрели на него.

— Какой аппетит! — заметила она и зажгла сигарету. Она загорала в солярии две недели. Настрой души и цвет лица происходили из разных миров.

Глава 8

Я практически не спала две ночи. Невзирая на усталость в воскресенье после обеда меня захлестнула волна деятельности. Запихав грязную одежду в мешок, тащила его через главную улицу к церкви, а затем — вниз с небольшого холма к углу, где, мне думалось, находилась платная прачечная. Но я ошибалась. Ее там не было. И даже угла не оказалось, лишь лужайка с песочницей и качелями. Две девочки сидели на скамейке и курили. Они не знали о прачечной. Одна рассказала, что можно выстирать одежду у портного. На ней были новые кожаные туфли. Девушка попросила подругу наступить на сигарету и затушить. Подруга сказала, что есть прачечная в высотке в районе Соре. Она, правда, не уверена, но ей так кажется. Ее дядя там жил. Пока они говорили, я вспомнила, что у меня нет ни одной монетки. Все потратила вчера, когда покупала проездной. Пошла назад по холму мимо фермы и по центральной улице. В витрине книжного магазина были выставлены журналы и шерстяные носки, которые, как я поняла, местного производства. Носки в полоску разных размеров. Я заходила в этот магазин в пятницу за тушью для рисования. Продавщица выложила имеющиеся цвета на прилавок, и я купила два, чтобы не произвести впечатление жадной.

В рюкзаке находились вещи, предназначенные для стирки: полотенца, брюки и множество блузок. Все цветное. Думала, выстираю в двух стиральных машинах. Вернулась домой, наполнила ванну теплой водой и жидким мылом. Вытряхнула одежду из рюкзака в воду, помешала большой столовой ложкой и оставила отмокать.

В гостиной разобрала очередную коробку, разложила содержимое по ящикам в комод и на нижние полки в шкаф в спальне. Сварила кофе и выпила его, стоя у кухонного стола. Вернулась в ванную, прополоскала и выжала белье. Тяжело далось, особенно джинсы. Руки покраснели, горели костяшки на пальцах. В сарае нашла веревку для сушки белья и старый таз, в который сложила выстиранное. Веревка оказалась не очень чистой, но ее было не отмыть. Длины достаточно для белья, если зафиксировать концы на крючках. У меня было большое полотенце и два маленьких светло-коричневых с надписью Кафакс. Пошла в сарай, поставила старые цветочные горшки один в другой, выбросила стопку отсыревших газет в мусорное ведро. На улице стемнело. Дождь начался, когда я стояла с очередной чашкой кофе на кухне. Несколько капель упало на землю, и вскоре дождь во всю силу забарабанил по окну. Я выбежала в сад, сорвала одежду с веревки и кинула ее в подвал.

Ближе к вечеру развесила белье по спинкам стульев, на комод и батарею, предварительно включив обогрев на полную мощность. Через считанные мгновения гостиная наполнилась запахом кондиционера для белья. Я легла в кровать и натянула одеяло на голову. Проснулась лишь когда наступили сумерки. Почистила зубы. Полоскала рот и услышала стук в дверь. Молодая пара в плащах с пустой корзиной для пикника спросила, могут ли они воспользоваться телефоном.

— Телефон вон там, — кивнула я в сторону станции.

— Да, но он не работает. Поэтому и просим разрешения, — ответила девушка.

— Мы пропустили остановку в Лундбю. Надо предупредить ее брата. Он ждет нас, — добавил парень.

— У меня нет телефона. Я недавно переехала.

— И он тоже. Вот почему мы забыли, где выходить. Во всяком случае, явно не здесь, — сказала девушка и почесала ногу. Ее белые джинсы были покрыты многочисленными пятнами от травы.

— Интересно, — ответила я.

— Нам кажется, телефон не работает потому, что он полон монеток, — произнес парень. — Извините за беспокойство.

Девушка хихикнула и покачала головой, показав на корзинку:

— Мы в Кнутенборге[1] с десяти утра.

— Попробуйте спросить тех, кто живет у вокзала, — посоветовала я. — У них-то должен быть телефон.

— Хорошо, мы попробуем. Большое спасибо за помощь, — хором сказали они и направились к калитке. Там обернулись и помахали. Плащи мерцали в полумраке.

Не знала, чем заняться. Надо голову помыть. Вспомнила, что не ужинала и пошла на кухню, где открыла все дверцы в шкафу и обнаружила макароны, хлеб-питу, несколько банок консервированного тунца, но из найденного ничего не хотелось. Вернулась в гостиную и взглянула в окно на вокзал. На втором этаже горел свет, но никого не было видно. Запихнув стокроновую купюру в карман, надела свитер и выбежала из дома, захлопнув дверь.

Гриль-бар — увеличенный в размерах деревянный вагончик на парковке рядом с булочной. Купила сэндвич с говядиной и картошку фри. Домой коробку с едой несла обеими руками; пар из нее валил через отверстия в крышке. При подходе к дому я заметила молодую женщину, выходящую из моего сада и медленно идущую в сторону вокзала. Она остановилась, подтянула рукава вниз и покосилась на дом и замерла. Заложив руку за руку. Тут она увидела меня. Я не знала, надо ли здороваться. Повернула в сад, она стремительно подошла ко мне.

— Эй, вы! Послушайте! — она окликнула меня пронзительным голосом.

Волосы молодой женщины были влажными.

— Вы ничего не добьетесь, если будете посылать к нам людей, чтобы звонили.

— Извините, — сказала я.

— Мы не можем разрешать всем подряд звонить кому ни попадя по нашему телефону. Пусть идут на бензозаправку.

— Еще раз приношу извинения.

— Или у церкви. Если очень нужно позвонить, то можно осилить это расстояние.

— Конечно.

— Между прочим, я очень занята, — сказала она и еще больше закуталась в свой огромный свитер.

— Мне очень жаль.

— Ладно.

Она кивнула, развернулась и пошла к вокзалу. На ступеньке у фонаря стояла та самая молодая пара с корзиной для пикника и смотрела на меня. Девушка помахала рукой. Я подняла коробку с едой в знак приветствия. Девушка сказала что-то парню, и они направились ко мне. Я придала лицу вопросительно-недоуменное выражение. Девушка улыбнулась:

— Это очень, очень мило с твоей стороны.

Глава 9

Я сидела с молодой парой среди сушащегося белья с картошкой фри в руках. Сэндвич с говядиной остался на кухонном столе. Все сидели на

[1] Кнутенборг — город в Дании на острове Лолланд (прим. пер.).

стульях; девушка покачивала ногой так, что стол подрагивал. Может, я не до конца закрутила винты, так как он казался неустойчивым.

— Пожалуйста, угощайтесь, — предложила я.

— Спасибо, — ответил парень, не прикасаясь к картошке.

— У нас поезд в десять двадцать, — сказала девушка.

Парень посмотрел на часы:

— Если точнее, то через час пятьдесят.

— Вы дозвонились до брата? — поинтересовалась я.

— Да, он должен был нас встретить в Лундбю, — произнесла девушка.

— Помню, ты говорила.

Девушка кивнула:

— Он недавно туда переехал. Сами мы из Сундбювестер[1]. Все мы, — уточнила она, — продолжая качать ногой так, что стол трясло.

— Все трое, — сказала я.

— Нет, на самом деле четверо. У брата двухгодовалый сын, — ответил парень.

— Вас много, — отметила я.

— Планировалось, мы взглянем на его новый дом, но в создавшейся ситуации просто возвращаемся домой, — сказала она.

— Нога, любимая, — обратился парень к девушке.

Она улыбнулась приятной улыбкой. На какое-то время воцарилась тишина.

Поезд из Гамбурга с грохотом промчался мимо. Я съела четверть картошки, парень — один ломтик.

— Ты забыла про сэндвич, — напомнила мне девушка.

— А, да, хотите?

— Нет, он — твой. Мы столько сегодня съели, что абсолютно не голодны.

— Я тоже есть не хочу, — сказала я.

— Тогда возьми с собой завтра на работу, — порекомендовал парень.

— Кем работаешь? — спросила девушка.

— Учусь в Копенгагене.

— Правда? Отличное место для жилья ты выбрала.

— Можно и так сказать, — ответила я.

Они кивнули и продолжили сидеть, склонившись над столом, положив руки на колени.

Они рассказали о поездке в зоопарк в Кнутенборг и о животных, которых видели. Они ежегодно его посещают. Тетя парня живет в Накскове[2], и они ездят на ее машине марки «опель» с желтыми номерами, которую тетя использует для рабочих целей в своей фирме по уборке помещений. Обычно они ездили летом, но тетя сломала запястье. В этом году в мае она упала с мыса в кемпинге в Хестехувелет: ей показалась, она увидела знакомого мужчину. Перелом оказался осложненным. Прошло несколько дней после падения перед его обнаружением. Становилось хуже и хуже. Она лежала в кровати, опустив всю руку полностью в воду. Клиенты продолжали звонить и спрашивать, когда же она выйдет на работу. В конце концов, ей удалось собраться с силами и вымыть пол в двух коттеджах. Тетя носила гипс шесть недель, в результате чего рука сильно ослабла. Совсем недавно она опять села за руль и отвезла их в зоопарк.

[1] Сундбювестер — район г. Копенгагена (прим. пер.)

[2] Наксков — город на о. Лолланд недалеко от г. Кнутенборг.

— Она потеряла очень многих клиентов в течение тех недель, — сказал парень.

— Ее признали инвалидом на восемь процентов. Она зависима от работоспособности руки, — добавила девушка.

— Конечно, зависима, — подтвердил парень.

Они кивнули, и вновь наступила тишина.

— А вы чем занимаетесь? — полюбопытствовала я.

— Каждое лето работаем в парке развлечений Тиволи, — ответил он. — Я продаю сосиски, она присматривает за утками.

— Там и познакомились. С тех пор прошло два года и три месяца. — Так давно? — изумилась она.

Он потрепал ее по волосам.

— Ты попалась на крючок!

Она хихикнула, взлохматила его волосы и смущенно откашлялась:

— Нет, серьезно, Тиволи — лучшее в мире место для работы. Каждый день разный.

— В отличие от других дней в году.

Она вновь хихикнула и шлепнула его.

Мы решили включить телевизор. Работало три канала, и ничего интересного не показывали. Остановились на программе о немых фильмах. Она пододвинулась к нему и положила голову на плечо. Я не могла не заметить, как он изо всех сил старается не уснуть. Когда передача закончилась, я поднялась:

— Лучше пораньше выйти к поезду.

— Ты нас проводишь? Огромное спасибо, — обрадовалась девушка.

Они мгновенно вскочили и ринулись надевать заляпанные грязью кроссовки. Мы пришли на станцию намного раньше и попрощались. Я помахала еще раз, когда переходила через пути. Они помахали в ответ. Вдруг он нашел что-то в кармане плаща и отвлек ее внимание. Я бросила взгляд на расписание на входе в вокзал. В воскресенье больше поезда не ходили. Они это тоже увидели и, побледневшие, поймали меня в саду. Я открывала ключом замок, когда девушка дотронулась до моего плеча и поблагодарила за гостеприимство. Я ответила, не оглядываясь:

— Не за что.

— Ну, все-таки.

— Мы можем лечь на плащи в гостиной, — предложил парень.

— Там ковер, — возразила девушка. — Накроемся плащами.

— У меня есть несколько старых одеял, — сказала я.

— Тогда мы сможем завтра вместе поехать, — подала идею девушка. — Когда у тебя поезд? Мы будем тихими как мышки.

— Да, если ты будешь читать, — вставил парень.

— В девять с небольшим, — ответила я.

Глава 10

В ту ночь я спала как убитая. Не слышала ни звука от пары в гостиной, ни поездов, ни соседского парня из подсобки. Скорей всего, они включили отопление на большую мощность ночью, так как в комнате было жарко, когда я проснулась. Горели щеки. На улице светло. Небо безоблачно. Засмотрелась на грушевое дерево; еще раз осторожно постучали в дверь, и она приоткрылась.

— Доброе утро, — прошептала девушка. — Уже половина девятого.

Она была в плаще. На круглом лице парня сияла улыбка.

— Мы позволили себе воспользоваться кофеваркой, — он выступил из-за ее спины с чашкой кофе на вытянутой руке.

Я тут же в ночной рубашке выпрыгнула из кровати.

— Спасибо.

— Мы не знали, надо ли тебя будить раньше. Подумали, может, ты — человек, собирающийся за секунду.

— Да, да, — я глотнула глоток очень крепко заваренного кофе.

Они наблюдали за мной.

— Извините, я до сих пор сплю на ходу.

— Мы подождем в саду, — сказала девушка.

— Солнце светит так ярко, что грех не воспользоваться возможностью и не попить утренний кофе в саду. Время — половина девятого, как мы сказали, — заметил парень.

Я слышала, как они разговаривают в саду, пока одевалась и причесывалась перед зеркалом в коридорчике. Была теплой и вялой ото сна. На улице один голос прерывал другой, но не могла разобрать слова. Как-то лежала на пляже, вокруг также доносились едва различимые незнакомые голоса. С тех пор часто думаю об этом как о неком счастливом моменте, когда, незамеченный, вот так лежишь в водовороте размытых разговоров. Уложить волосы не получилось; они торчали пучком на стороне, где спала. Сбрызнула их небольшим количеством воды и завязала в свободный хвост. Взяв кожаную куртку, пошла в гостиную за сумкой и книгой. Мое чистое белье лежало аккуратной стопкой на столе. Регулятор отопления включен на полную мощность. Поставив его на минимальный показатель, схватила ключ с комода и выбежала в сад.

— Поезд в пять минут десятого? — спросила девушка.

— Да. У вас есть билеты?

— Не-а. Надо купить. Лассе, у тебя есть деньги? — спросила она.

Деньги у него были. Или почти, ему пришлось занять сорок крон у меня, когда мы пришли на станцию. Поезд прибыл вовремя, но забит битком. Мы прошли все вагоны, найдя одно единственное сиденье на двоих.

— Садись, — сказала она мне. — Я посижу у него на коленях.

Я заняла место у окна, Лассе сел рядом, а она — к нему на колени. При каждом движении их плащи шуршали. Он подул на ее волосы, чтобы они не закрывали ему лицо. Я стала искать книгу в сумке. Открыла ее, посмотрела в окно на рыжеватую опушку леса и стаю кружащихся над ней чаек. Пейзаж сменился на грачей и траву. Одинокий синий трактор с открытой дверью на меже и тракторист, пытающийся что-то найти во вспаханной борозде. Успела увидеть, что он отрицательно покачал головой. Внезапно передо мной выросли бесконечные черепичные крыши в г. Рингстед на пути в Копенгаген.

Глава 11

Мать Пера Финланда звали Рут. Она работала редактором в журнале. Рут разрешали пользоваться ксероксом в школе. Учителя, ученики и другие интересующиеся могли издать свои стихи и небольшие рассказы. Она сидела за кухонным столом, обложившись бумагами, и поражалась учителю труда, который переписал сказку Х. К. Андерсена стихами. Написано неплохо, но не для издания в журнале. Журнал назывался «Утенок»; идея названия появилась у нее в прошлом году во время эпидемии гриппа. Рут приглашающим жестом постучала по стулу, я встала с дивана и села с ней рядом.

— Пишешь стихи? — спросила она.

— Не-а.
— Надо бы. Пер говорит, у тебя хорошо получается писать.
— Вот именно, — сказал Пер, полулежа на диване. Его отросшая челка доходила до ресниц. — Ты бы слышала песню, которую она сочинила ко дню рождения тети.
— Сколько ей исполнилось?
— Всего сорок три.
— Могу я ее услышать? — попросила Рут.
Я откашлялась и запела дрожащим голосом. Пришлось выдержать долгую паузу между двумя куплетами, так как я еще раз откашлялась. Песня звучала серьезнее, чем предполагал ее смысл. Рут склонила набок голову, Пер сидел на диване. Прозвучали заключительные строки, дверь кабинета распахнулась, отец Пера появился в дверях с блок-флейтой в руках.
— Не сейчас, Ханс-Якоб, — произнесла Рут, откинулась на спинку стула и улыбнулась.
— Потрясающая песня. Я бы хотела ее издать.
— Наверное, она слишком личная, — засомневалась я.
— Не имеет значения.
— Это же праздничная песня, не так ли? — спросил Ханс-Якоб.
— Да, посвященная тете, — ответил Пер.
— Когда праздник?
— Он прошел. Вообще-то не было никакого праздника, — призналась я.
— Их было только двое, — добавил Пер.

Вечером мы ели жаркое и пили испанское красное вино. Провели несколько часов в разговорах у горящего камина. Смеялись над стихами учителя труда. Пер поймал мою ногу под столом. Почти в полночь Рут приготовила десерт из консервированных абрикосов и толченых орехов, отец открыл бутылку десертного вина. Я сидела и думала: «Я взрослая. Сижу со всеми за столом». Мне девятнадцать лет. Над конюшней светила луна. Спустя две недели мы с Пером переехали туда, в маленькую однокомнатную квартирку, с ванной на втором этаже. Это был третий переезд из дома. По случаю новоселья мои родители подарили нам оловянную кружку, но не успели увидеть само жилье.

Глава 12

Первый раз я переехала к Дорте. Это случилось в разгар учебного года в старших классах гимназии. На дворе стояла лютая зима, ежедневно мне приходилось два километра ехать на велосипеде в объезд полей к автобусной остановке. Мокрые после душа волосы в одно мгновение превращались в сосульки. Автобус доезжал до станции Нэствед, оттуда ходил городской автобус каждые двадцать минут. Дорте считала, что такое ежедневное передвижение затруднительно для меня. К тому же, она жила в трехкомнатной квартире с балконом в центре Нэстведа.

Когда я просыпалась по утрам, кофеварка была наполнена водой, на кофейном фильтре написана записка, кружка поставлена на поднос с маслом и вареньем. Я делала тост и шла в гостиную. Теперь не нужно было стремглав вылетать из дома в последний момент. Иногда на столе лежал неразгаданный до конца кроссворд и карандаш в пепельнице, словно недокуренная сигарета. По вечерам мы играли в игру «Угадай гримасу» и так громко смеялись над стараниями Дорте, что сосед снизу звонил и жаловался.

— Конечно, больше не будем, старый хрыч, — говорила Дорте, почти положив трубку. Мы хватались за плед и хохотали в его шерсть, пока не сводило зубы.

Дорте полагала, что именно она ввела моду на искусственный мех в средней и южной части острова Зеландия. У нее было четыре шубы: розовая поистерлась, длинную отдала какому-то бомжу, а мне досталась шубка с изображением Микки Мауса. Мы стояли перед зеркалом в ее спальне.

— Тебе идет, забирай, — решила она. — Если вещь не надеваешь в течение года, надо от нее избавляться.

— Серьезно?

— Да. За исключением одежды на похороны.

Я вертелась перед зеркалом, как раздался звонок в дверь. Пришла моя мать. Она была у лор-врача и на обратном пути принесла пару книг, которые мне, по ее мнению, нужны. Она сделала укладку. Дорте похвалила новый вид моей матери. Мы остались стоять в коридоре, так как отец не смог найти место для парковки и ждал мать у подъезда. Мне не нужны были книги. Мать не прокомментировала шубу. Дорте, в свою очередь, ничего не сказала о парковке во дворе. Ей пора возвращаться в магазин: перерыв длился один час.

Никак не заставить себя надеть шубу. Каждый день я натягивала шерстяное пальто, вывесив шубку на балкон. Дорте пришла домой незадолго до шести. Распахнулась входная дверь, и аромат жареного лука наполнил квартиру. Она поставила еду разогреваться, переоделась в тренировочный костюм и села на диван.

— Не носишь меховушку? — спросила она.

— Не совсем.

— Знаешь что, отдадим ее сестре Вауна. Шубка больше сочетается с ее стилем.

Я никогда раньше не слышала о Вауне, но тем вечером он появился у нас в гостях. У него были кривоватые зубы, а через пару недель Дорте переехала. Посередине апреля я вернулась домой. Обратила внимание, как расцвели анемоны на лесной опушке, когда в сумерках ехала на велосипеде по полю с сумкой на багажнике.

Воздух наполнен ароматом чернозема и распускающихся деревьев. Родители махали в знак приветствия с разных сторон поля. Летом речь ни разу не шла о Дорте. Тайком навестила ее в Скельбю[1], где купила молодой картофель в киоске у дороги. На террасе Ваун — с дымящейся сигаретой, зажатой между передними зубами — лежал у ее ног. Я почувствовала себя дурой с картошкой.

Наступила осень, затем — зима. Не успела я поступить в университет, как Дорте вновь стала частым гостем на нашей кухне по вторникам и четвергам. Мать стояла у стола, повернувшись спиной к нам, и что-то долго мешала.

Глава 13

Небо над Центральным вокзалом Копенгагена было лазурно-голубым. Мы поднялись по лестнице в конце перрона на улицу Тиетгентсгаде и пожали руки на прощание. Я наглухо застегнула кожаное пальто. Холод пронизывал до костей. Девушка тоже закуталась, ее глаза слезились, волосы развевались на ветру.

— Большое спасибо за все, — поблагодарила она.

[1] Скельбю — небольшой городок в Дании (прим. пер.).

— Да, спасибо, очень мило с твоей стороны, — присоединился Лассе.

— Всего хорошего. Тебе куда? — спросила она.

Выяснилось, что нам идти в одном направлении. Подошли к светофору и стали ждать зеленого сигнала. Автобус под номером двенадцать отъехал от остановки на противоположной стороне в облаке дизельного выхлопа.

— Поедешь на следующем, — сказала она.

Загорелся зеленый, мы стали переходить дорогу. Сумка сползла с плеча. Автомобиль выехал из-за угла и притормозил, пропуская нас. Другой водитель погудел ему, кто-то что-то прокричал. Волосы били меня по лицу. Мы спрятались от ветра за зданием и остановились на остановке.

— Поедешь на этом автобусе? — поинтересовалась девушка.

Я покачала головой.

— Нет, обычно иду пешком.

— И мы сегодня тоже пойдем, — сказал Лассе и похлопал себя по карману плаща.

— Так ты учишься в университете в районе Амагер, — заметила она. Я кивнула, и мы втроем продолжили путь. Она пропустила его вперед и предложила:

— Мы проводим тебя до дверей, нам туда.

Лассе указывал путь: мы прошли по пешеходной улице, повернули на нескольких улицах, перешли через мост Лангебро и спустились по маленькой лесенке с другой стороны моста. Он ждал нас у подножья лестницы и развел рукой:

— Дамы, Исландс Брюгге.[1]

Мы минули супермаркет Брусен на улице Ньяльсгаде. Девушка рассказала, как однажды обнаружила резинку для волос в упаковке фарша в том магазине. В качестве извинения администратор бесплатно дал пятикилограммовый пакет со свининой и букет роз. Но в целом магазин неплохой. Разумеется, неприятно получилось с резинкой. Она была еще и с блестками. Лассе нашел ее в котлете. После этого случая они специально пытались отыскать что-нибудь в каждой покупке. Так они нашли осу в банке варенья. Мы были на подступах к университету, оставалось повернуть за угол. У велосипедных штативов я хотела попрощаться, но Лассе покачал головой и отправился прямо к входу, распахнул дверь и попридержал ее передо мной:

— Хорошего дня и еще раз спасибо за помощь.

— Приятно было познакомиться, — сказала девушка и обняла меня. Два парня, благоухая мускусным маслом, с кожаными сумками прошли мимо и исчезли за открытыми дверями.

— Я должна торопиться, — произнесла я.

— Ну, удачи во всем.

— И вам.

— Спасибо.

— Тогда пока, — я вошла в университет. Лассе отпустил дверь, и она закрылась. Я покосилась на доски объявлений, и постояла какое-то время. Потек нос, я полезла в сумку, но не нашла ни одного бумажного платка. Тогда направилась в туалет. Девушка с косой челкой кивнула в знак приветствия и вернулась к помаде. Я попудрила нос, взглянула на себя в зеркало и вышла. У входа убедилась, что пара исчезла из поля зрения. Обдуваемая сильным ветром, пошла назад в город по дороге Артиллеривай. В застегнутом наглухо кожаном пальто и придерживая воротник одной рукой. Сумка постоянно сползала с плеча, и, в конце концов, я перекинула ремешок через

[1] Исландс Брюгге — район в центре Копенгагена (прим. пер.).

голову. Велосипедисты звонили, автобус резко затормозил и резко газанул. Справа от моста Лангебро высокая, худая девушка разделась, прыгнула в воду и взвизгнула. Вторая девушка стояла наготове с фотоаппаратом и полотенцем.

Я купила булочку и кофе в кондитерской в аркадах. Дорогое место, но зато можно сидеть сколько душе угодно и бонус — бесплатная вода. Села в самый далекий угол у стенки, вытащила книгу и попыталась сосредоточиться на чтении. Спустя час решила побродить по торговому центру Скала, рассматривала украшения и джинсы. Поднялась по эскалатору в кинотеатр, но ни один фильм не привлек внимание. Напоследок купила желтую дыню в магазине Ирма. Я сидела в поезде с дыней в матерчатой сумке и смотрела в окно на садики, сарайчики и домики. Думала о своем доме с яблоней и отсутствующими занавесками. Дыню было жалко есть. Она пролежала на кухонном подоконнике вплоть до конца ноября.

Глава 14

Каждый день Пер заводил будильник, и каждый день мы просыпали. За окном было совершенно светло, когда просыпались в объятиях друг друга. Я аккуратно выскальзывала из кровати.

Его родители давным-давно уехали на работу. Фазан важно расхаживал по двору, а потом взлетел на высокую жердочку. Воробьи сидели в кустарнике, как нахохлившиеся совята. Я позвала Пера:

— Иди, посмотри на воробьев. Они так нахохлились!

— Я такой же после вчерашнего, — прокомментировал он и обнял меня. Я склонила голову к его плечу.

— Но хлеб с креветками был вкусный, — сказала я.

Я начала носить лыжные носки из магазина Абракадабра, подаренные мне Рут. Она купила нам гамак, который висел в нашей однокомнатной квартире между балками и был полон грязного белья. Сейчас Пер пытался в нем найти какую-нибудь футболку. Скоро он сможет завязывать волосы в хвостик.

— Давай поедем в зал сегодня? — выдвинул предложение он.

— Зачем?

— Поиграем в бадминтон. По вторникам всегда есть свободные места.

— Ты же не хочешь играть против меня.

— Почему нет?

— Нет, не могу. Мне надо на работу.

— Тогда я с тобой.

— Я сама могу доехать.

— Посижу и подожду тебя на улице.

— Но сегодня очень холодно.

— Тогда возьму с собой мяч. Или поиграю с детьми.

— Ты не можешь.

— Нет, могу.

Рут нашла мне работу дважды в неделю в группе продленного дня в ее школе. Я делала уроки с мальчиком по имени Ниллер. По понедельникам и средам появлялась ровно в два часа дня, когда дети и учителя садились за печенье и фрукты. Ниллер приходил в ярость. Он вставал из-за стола, сжимая руки в кулаки, его плечи подрагивали от гнева. Естественно, не самый лучший момент для уроков, но ничего не поделаешь — такие рабочие часы. Мы обосновывались в маленькой комнате среди подушек и настольных игр, разложив книги вокруг. В комнатке пахло немытыми волосами, едой и сухим черноземом. Платили отличную зарплату, и я сказала Рут, что хочу

платить за проживание, на что она вытаращила глаза. Пер продержался на этой должности полторы недели: не смог справиться с математикой. Он открывал окошко и, стоя возле него, в полной тишине бормотал: «Вот фигня!», а Ниллер сидел позади с пустым взглядом перед открытым учебником по математике. Получив первую зарплату, я купила большой суккулент в ближайшем цветочном магазине. Рут очень обрадовалась цветку и поставила его на пол у прялки.

Пер провожал и встречал меня с работы; щекотал до тошноты на водяной кровати; несколько раз в день одевался и раздевался. Когда я забеременела, на автобусе отвез к врачу через долгих семь дней, и на обратном пути домой в тот же день купил мне подарок: серебряную заколку для волос в виде букета из трех столовых ложек. Я чувствовала себя облегченной и полной энергии после наркоза. Мы смеялись без устали, пока водитель не шикнул на нас. Однако вечером мне пришлось лечь в кровать, не дожидаясь ужина. Родителям Пер сообщил, что мне плохо. Позже он принес бутерброды из черного хлеба с кресс-салатом и студнем. Он так старался. Он поставил стакан молока на прикроватный столик и погладил меня по спине.

Однажды мы пошли на длительную прогулку через лес к реке и дальше по извилистой проселочной дороге. Солнце светило всю неделю, но по ночам случались заморозки. Поля покрыты инеем. Мы шли, держась за руки, и отпускали руки по приближению автомобиля. Вышли на обочину дороги, где наст был настолько прочным, что выдерживал вес человека и не проваливался. Мы стояли и целовались. Две машины проехали мимо, последняя замедлила ход и остановилась немного впереди. Это оказались мои родители. Мы направились навстречу друг другу. Они видели Пера в третий раз и протянули ему руку, Пер широко улыбнулся, челка упала ему на глаза. Он снял варежку и заправил волосы за ухо, хотя ему лучше было с челкой. Отец обнял меня, мать подошла ближе. Отец спросил Пера тепло ли у нас дома. Пер продолжал улыбаться и поправлять волосы. Очередной автомобиль пронесся на большой скорости, и нам пришлось отступить в снег.

Они поехали дальше. Долгое время мы шли молча и повернули обратно у болота. Я спросила:

— У тебя нет платка, чтобы высморкаться?

— Нет.

— Тогда возьми листик. Сколько можно шмыгать носом?

— Тебе неприятно?

— Да, неприятно, иначе я бы об этом не сказала, — я не узнала собственный голос, попутно размышляя о том, чтобы упасть в сугроб. При иных обстоятельствах я бы так и сделала, а Пер последовал моему примеру через секунду. Но я шла быстрым шагом в паре метров впереди. На опушке мы безумно испугались, когда рядом с нами внезапно взметнулась в воздух летучая мышь, сидевшая на столбике ограды. Помогло. Мы рассмеялись. Через какое-то время Пер выдернул руку, оставив меня с пустой варежкой. Удивлялась каждый раз, когда он так делал.

По возвращении домой мы испекли пирожные с малиной. Пока тесто подходило, я вымыла посуду, накопленную со вчерашнего дня, и протерла тряпкой крышки на кухне, которые Пер разукрасил в сине-желтый цвет несколько дней назад. Ему разрешили самому выбрать цвета, в результате чего он в придачу нарисовал гигантский цветок на торце конюшни. Цветок стал ориентировочным объектом, заметным из Аверси, района близкого к Нэтсвед.

Мы съели по три пирожных. Оставшуюся выпечку оставили на подносе для Рут и Ханс-Якоба и отправились спать. Проснулись ближе к полуночи и долго не могли заснуть.

Глава 15

Они забыли корзину для пикника, которая наполовину виднелась в кустах в саду. Я обнаружила ее во вторник утром по пути к станции. Наложила тени салатового оттенка только на нижние веки, так как верхние веки были недостаточно выпуклы для подобного макияжа. До поезда оставалось две минуты, поэтому оставила корзину на прежнем месте. Прошла через здание вокзала на станцию, обратив внимание на парня, занятого обслуживанием пассажиров.

Несмотря на светящее солнце, холод был пронизывающим. Я пожалела, что надела тренч. Купила пальто за пятьдесят крон в магазине сэконд-хэнд. В кармане находилась визитка цирюльника. Я также купила берет, который надела после Роскиле. Люди разговаривали всю дорогу до Копенгагена. Школьный класс забронировал купе по соседству, и несколько учеников сидели со мной в одном купе. Купейные двери без конца открывались:

— Ханне, сначала ведь остановка на Центральном вокзале?

— Утром был урок по английскому?

— Успеем купить попить?

— Да, да, конечно. Сидите там, — отвечала она.

Она пошла в другое купе, повторила указание, вернулась и придала лицу извиняющееся выражение.

— Нам не хватило места в одном купе.

— Бывает. Едете в столицу развлекаться?

— Музей геологии, — кивнула она и принялась рыться в сумке. Двое учеников вытягивали шеи с целью увидеть одноклассников в соседнем купе.

— Вам на улицу Естер Вольгаде, — уточнил мужчина. Она опять кивнула. Мужчина покосился на меня.

— Он ведь на улице Естер Вольгаде, — повторил он.

Я кивнула, хотя не имела ни малейшего представления о месторасположении музея. Зато я знала район Альбертслун, который мы проезжали в тот момент. Три недели назад ездила туда на встречу так называемой читающей группы. Встреча была общей, и никакой конкретной книги к ней читать не нужно. В группе четыре участника. Живущая в Альбертслуне Маргрете тоже носила берет. Она изучала юриспруденцию. Правда, выбрала направление ошибочно, скорее, по политическим причинам. Она купила козий сыр, французский батон и красное вино, сделала кофе и подогрела молоко. У нее была полка-лестница и настоящий диван. Маргрете старше меня на два года. Двое остальных участников, Бенни и Хасе, постарше. Бенни — женщина. Она громко смеялась и говорила хриплым голосом. Курила сигареты марки «Лук» (сигареты «Сесиль» закончились), у которых откусывала фильтр. Хасе производил странное впечатление: сутулый, пояс на брюках сидел слишком высоко, но зато он обладал приятным лицом. Хасе пел в церковном хоре в Греве. После трех бутылок вина мы решили называть себя «старичками». Обратно я поехала вместе с Хасе. На электричке путь занял двадцать одну минуту. Он пригласил меня на ланч на следующий день, поцеловал руку, и мы расстались на Центральном вокзале. В ответ я сжала его руку, и он улыбнулся. Он продолжал улыбаться, пока я спускалась по лестнице на перрон, откуда отправлялся поезд в Нюкебинг. С тех пор я не появлялась на встречах читающей группы. Возможно, встреч больше не было.

Я пропустила класс вперед. Ученики сошли с поезда, оставив за собой запах жевательной резинки. Перебросив ремешок сумки через голову, я направилась сначала на Ратушную Площадь в банк на углу и сняла со счета четыреста крон. Вернулась на вокзал и доехала на двенадцатом автобусе до университета. Выпив кофе с чизкейком в столовой, пошла в библиотеку и, побродив среди стеллажей, нашла книгу о правилах расстановки запятых и села с ней за стол. Посмотрела на последнюю страницу. Посмотрела на оглавление. Посмотрела на руки. Постаралась собраться с мыслями. Читала. Не читала.

Через час на автобусе доехала до торгового центра Скала в центре. Купила платок и замотала его вокруг шеи, запихнув концы в тренч. Взглянула на себя в три разных зеркала в примерочной. В каждом последующем выглядела более квадратной. Вышла из примерочной, спустилась по лестнице и пошла на вокзал. Следующий поезд уходил в два с минутами. Спустя час я была дома. Солнце нависало над магазином Брусен. Я сорвала два яблока и закинула корзинку для пикника подальше в сарай.

Поздним вечером по договоренности отец заехал за мной и повез домой на жареную селедку. Мать приготовила картофель в молочном соусе. У нее появилась обновка: помада легкого оранжевого оттенка. Когда я потянулась за селедкой, она положила руку на мое предплечье. В прошлые выходные они были в гостях у Яна и Битте на улице Менс Клинт, дом два. Отец помогал Яну копать канаву. На обед ели фондю, но им не понравилось: слишком много масла. Он спросил, как учеба. Я ответила, отлично. Отец предположил, что мне бы понравилось фондю. Мать интересовали практические вещи. Все ли в порядке в доме, может быть, я хочу взять что-нибудь взаймы.

Они отвезли меня домой в восемь вечера. Я настояла, чтобы меня высадили у церкви. Нужно немного пройтись. Ночью вновь лежала и бесцельно смотрела в окно на темный сад. Казалось, что все: двери, полы, подоконники, дверные коробки — скрипело и потрескивало.

Перевод с датского Юлии БЕЛАВИНОЙ.





ИОГАННЕС БОБРОВСКИЙ

Сердце ржаного народа

Детство

Тогда я
любил иволгу —
колокольный звон, высоко
то восходил, то падал
сквозь завесу крон,

мы сидели тогда на опушке,
нанизывая на травинку
красные ягоды; мимо
седой еврей катил
свою тележку.

В полдень потом в ольховнике
черные тени животных
гневно сгоняли мух
ударом хвоста.

Потом разразился дождь,
проливной, прямо с ясного
неба; и в этом мраке
капли были на вкус,
как земля.

А то появлялись парни
на прибрежной тропе, на конях,
на бурых блестящих спинах
они скакали, смеясь,
над обрывом.

Из-за забора
облачко гомона пчел.
Позже, по зарослям камыша
пробегал, нагоняя страх,
серебристый треск.
Тьма заползала
за изгородь, в окна и в дверь.

Тогда запевала старуха
в своей душистой каморке. Лампа
звенела. Мужчины
входили, подзывали собак,
оглядываясь через плечо.

Ночью, в долгом сплетении молчания —
время, ускользающее, все горше
от строчки к строчке:
детство —
тогда я любил иволгу.

Деревня Томлингкемен

Полдень уже догорел,
легкий дымок над липой,
там идет он с седой головой,
люди уже говорят:
Вот скоро наступит вечер,
кто-то завел песню,
поля ее вдаль несут.

Ближе подойди, Донелайтис,
река хочет взмахнуть крылами,
здесь ястреб, гроза голубей,
и лес свои черные головы
высоко поднимает, шумит
ветер над самой горой.
Там верховодят травы.

И этот день проходит,
под тенями виселиц
колодезных журавлей,
свет в оконцах безветрен,
лучина мышиным писком
творит молитву.

Напиши же ты на листе:
С небес струилось благо,
и я видел, как справедливость
ждала, что она иссякнет,
и тогда обрушится гнев.

Латышские песни

Отец мой ястреб.
Дед мой волк.
Пращур хищная рыба в море.

Я безбородый дурень,
шатаюсь возле заборов,
руками черными
ягненка душу на заре. Я,

кто зверей убивал
вместо белого
господина, я летел по размытым
дорогам за табором,

сквозь взгляды цыганских
женщин я шел. Потом
у Балтийского моря встретил я господина Уэкскюля[1].
Он шел под луной.

Мрак шепчет ему вослед.

Каунас 1941

Город,
над рекою сплетенье
жестких, как медь, ветвей. Взывает
к берегам глубина. Колченогая девочка
выходила тогда из сумерек,
в платье красном, как медь.

И я помню ступени,
склон, этот дом. Там не видно
огня. Там под крышей
живет еврейка, живет в еврейском безмолвии,
шепотом, белой водою
дочки лик. У ворот
гвалт и гомон убийц. Мягко
мы крадемся, в затхлом воздухе, по волчьему следу.

Вечером мы оглядели
каменистую даль. Нависает коршун
над широким куполом.
Видим старый город, сутолока домов
сбегает к реке.

Хочешь ты перейти
через холм? Серый поезд
— старики там и даже дети
находят смерть. Они идут
по склону, их гонят злобные волки.
Я больше тебя не увижу,
брат? К стене кровавой
нас прибивает сон. Так
шли мы дальше, на все
закрывая глаза. В тени дубрав
деревень цыганский взгляд, вверх над следами
летнего снега.

[1] Уэкскюль — в XVII веке предстал перед Рижским Советом по обвинению в убийстве своего батрака.

В плотной сетке дождя
встану я на прибрежный камень,
слыша морок долины. Там сновали ласточки
над рекой, и ночь
зеленела, дикий голубь взывал:
Тьма моя уже наступила.

Алексис киви

Сочти все леса Карелии, во всех
выкорчеванных снах суоми, над озерами
лети, петух в золотых перьях
и с крыльями из хищного света.

Или иди со мной,
мы будем искать юношу,
того из подмастерьев сельского портного, что прочь
ушел в город, увидеть каменные дома, скользить
вдоль стен, как ласточки,
голодный, с острым взглядом,
он бодро следует зову странствий.

Поет ли он в шинке?
И он поет из Калевалы
страшнейшую из песен: Ах, курочка, сестра?
Или смеется на ветру в песчаных дюнах?

Ах, темная красота пронзает семь
ландшафтов. Небо, распахнутое
небо рушится. Леса
стоят, сияя.

Скоро в бурю, руками обняв
измученную голову, прислонившись
к стене хижины, мох вынимая из щели, он
впишет в воздух имя наискосок.

Над озерами
ты пролетел, золотой петух,
над болотами,
ночуя на камне легенд.
Твоего ржаного народа сердце, благое поле,
звучит, вокруг родного двора
расцветают дожди.

Улле Винблад

Мне знакома осень в горах.
Я в тумане слышал, как ты
вниз идешь каменистой тропой.
Ты придешь еще. В окнах огни
тебя увлекают в долину.

И это как снегопад,
приходит любовь,
легким шумом в крови.

Вечно, подруга, в твое
небо вонзаются башни;
прежде Беллмана песни,
после свои, робкие
стихи, что не знают, куда заведут, -
песня ветра, и в ней
мрачно бродят мужчины.

Пусть и моя песня будет
нарастающим звуком, стелясь
над ветром, над светом луны,
нежно с вершины садов

я опущу
на снег мою руку.
Нужен лишь знак:
Жить только здесь.

Перевод с немецкого Вячеслава КУПРИЯНОВА.



КОНСТАНТИН РЕМИШЕВСКИЙ

Фиеста, или «Неформатная» белорусская кинолетопись второй половины 1945 года

«Взрыв документализма» — повышенный, порой запредельный общественный интерес к произведениям литературы, изобразительного и сценических искусств, кинематографа, прямым телевизионным, а с недавнего времени уже и интернет-трансляциям с мест судьбоносных, иногда трагических событий — выступает безошибочным признаком довольно значительного по объему и при этом чрезвычайно интересного по содержанию сегмента культуры минувшего столетия.

Не менее актуален и загадочен феномен экранного документализма — особого искусства, конструирующего свои исторические нарративы в формах самой жизни — и в наши дни. Более десяти лет назад случились печально известные всему миру события: 11 сентября 2001 года и 23—26 октября 2002 года теракты в Нью-Йорке и Москве. Нас уверяют, что за эти годы стали понятны почти все подробности, составлена поминутная история развертывания этих катастроф.

Но не осмыслен еще феномен многочасового, точнее, многосуточного бдения у телеэкранов миллионов людей, неотрывно — до рези в глазах — следящих за статичным, почти лишенным какого бы то ни было развития, а потому еще более зловещим изображением фасада Театрального центра на Дубровке. За окнами серого здания какие-то люди время от времени то зажигали, то выключали свет. В этой внешней беспричинности зла и неопределенности исхода заключалась мощнейшая трагическая драматургия самого высокого эмоционального и нравственного накала. Всем, находящимся по другую, безопасную сторону телеэкрана было понятно, что фасад Театрального центра на Дубровке — это жуткая серая ширма, закрывающая и отделяющая от нас, находящихся в безопасности, тысячу безвинных зрителей мюзикла «Норд-Ост», которые внезапно превратились в заложников. Несомненно, что на восприятие ошеломленными зрителями этих многочасовых телевизионных кадров мощное воздействие оказал фактор временного континуума, актуализировавший вопрос о воздействии на общество экранных «хроникальных слепков с фрагментов реальности»...

Экранный документализм продолжает преподносить нам множество загадок: социальных, психологических, эстетических, коммуникативных. Но хроникальный экран щедр не только своими головоломками, он способен одаривать новыми знаниями, яркими эмоциями. Нередко он взывает к сопереживанию, к прощению, к пониманию. Он удлиняет, а нередко и видоизменяет нашу, увы, не вполне совершенную память...

Продолжая серию публикаций о фрагментах белорусской национальной кинолетописи, мы предлагаем читателю погрузиться в неповторимую атмосферу второй половины победного 1945 года, когда многое, на первый взгляд, несовместимое, в жизни людей соединилось причудливым образом.

* * *

В книге «Документальный иллюзион» российский исследователь неигрового кино Людмила Джулай отмечает, что «наше киноведение (автор имеет в виду, разумеется, российское киноведение — **К. Р.**) традиционно пользуется «этажерочным» принципом классификации материала: на одной полочке находится кино 1930-х, выше — 1940-х и так далее, а потому часто и не может разглядеть и реконструировать живую, набирающую рост «вертикаль» того или иного процесса». В известной степени с этим можно согласиться, поскольку для эволюции неигрового кино вообще и кинопериодики, в частности, характерен отнюдь не линейный, а скорее возвратно-поступательный характер. Более того, конфигурация этого процесса усложняется периодическими отходами от магистральной линии развития. Поэтому вполне закономерно, что документальные ленты или хроникальные выпуски, явившиеся результатом неожиданных тематических или жанрово-стилевых «побочных ответвлений», могут представлять интерес значительно больший, чем те, что создавались в рамках «главного направления».

В течение второй половины 1945 года доля хроникально-документальных лент, представляющих собой такие «боковые поросли», в общем объеме неигровой кинопродукции как никогда ранее велика. И подобную ситуацию вряд ли можно считать случайной: летом 1945 года завершался процесс расформирования фронтовых киногрупп, многие режиссеры и операторы неигрового кино возвращались на республиканские студии. Иногда они продолжали свою работу совсем не там, откуда были призваны в действующую армию. Перераспределение творческих кадров провоцировало диффузию творческо-производственных подходов. И позитивный, и негативный опыт почти мгновенно становился достоянием гласности; все члены корпоративного сообщества кинодокументалистов знали друг о друге многое, если не почти все.

Лето и осень 1945 года — это время, неповторимое по своей атмосфере радости и чрезмерных надежд. Это был относительно короткий период, когда напряжение военных лет было уже сброшено, а монотонность и бюрократизм послевоенной жизни еще не набрали оборотов.

Выдающийся белорусский кинорежиссер Виктор Туров, еще мальчишкой переживший немецкое рабство, дал этому времени очень точное и емкое название — «фиеста». Фиеста — это больше, чем праздник, это любовь каждого к каждому, это особое состояние, полное несбыточных надежд на разумное переустройство жизни на добрых началах...

Художественный фильм с названием «Фиеста 1945-го года» Виктор Туров очень хотел снять в середине 1990-х, но не успел: судьба определила ему более короткий срок, чем можно было надеяться...

Атмосфера фиесты — торжества жизни и праздника человеческих взаимоотношений — запечатлена в некоторых белорусских хроникальных фильмах и выпусках. К числу таких лент по праву можно отнести один из первых послевоенных документальных фильмов «Наши дети», снятый режиссерами Николаем Любошицем и Сергеем Сплошновым летом 1945 года.

Один из самых ярких фрагментов документального фильма «Большой летний базар в фонд помощи детям-сиротам в Минске» — эпизод из второй части ленты — запечатлел события, совершенно нетипичные для советской действительности.

Операторы Иосиф Вейнерович и Семен Фрид зафиксировали для современников и потомков подлинную картину участия известных деятелей послевоенного белорусского искусства в благотворительной акции. Каждый из них полон неподдельного энтузиазма — в поведении, позах, жестах именитых мастеров белорусской культуры нет ни фальши, ни наигрыша.

Народная артистка Беларуси и орденоносец балерина Александра Николаева продает цветы у входа в Дом офицеров.



Живописец Ф. Модоров на благотворительной акции.

Артисты Купаловского театра Лидия Ржецкая и Степан Бирилло принимают и подсчитывают наличные, поступившие от продажи предметов роскоши, в основном — ковров.

Живописец Федор Модоров выставил на продажу несколько полотен и, как заправский коммерсант, набивает цену своим картинам перед потенциальными покупателями.

Привходящий смысл этого удивительно светлого по настроению эпизода, снятого репортажной, совершенно раскованной ручной камерой, заключается в том, что советская власть всегда иронически относилась к самой идее благотворительности, считала ее проявлением буржуазного стиля мышления, относила к категории «малых дел», не способных принципиально улучшить социальную ситуацию.

Реалии послевоенного быта внесли в эту ситуацию существенные коррективы. В новых условиях уже никто не мог подвергнуть сомнению практическую полезность усилий мастеров белорусского искусства, направленных на помощь детям-сиротам. Социальное и психологическое значение таких масштабных и почти стихийных благотворительных акций в центре Минска, на небольшой площади перед чудом сохранившимся Домом офицеров, переоценить было невозможно.

Следующий съемочный объект — выставка детского декоративно-прикладного творчества. Обращает внимание тот факт, что ни одна из попавших в кадр детских поделок не несет ярко выраженной идеологической нагрузки. Тематика большинства изготовленных из подручных материалов аппликаций, игрушек, кукол, фигурок, вышивок, панно навеяна либо природными мотивами, либо связана с орнаментальным искусством. Произведения со звездами или портретами героев, макеты или реконструкции военных событий на выставке остались в меньшинстве. Для компенсации значимости военной темы документалистами был организован постановочный кадр с юными героями: 15-летними Сашей Козловым и Витей Валенковым, штурмовавшими Берлин. К рубахам мальчишек приколоты боевые ордена, они искренне восхищены мастерством своих новых товарищей по детскому дому.

Операторы Иосиф Вейнерович и Семен Фрид не могли не включить в кадр обязательные иконические символы, явившиеся побочным продуктом жанра исторической сказки: копия живописного полотна «И. В. Сталин с детьми» занимает центральное место на экспозиции детских рисунков и поделок.

Ключевой микроэпизод — концерт воспитанников детских домов на сцене Дома офицеров. Выступления юных музыкантов, артистов, танцоров предельно трогательны в своей безыскусности... «Танец котиков» и Кот в сапогах со скрипкой... Баба-Яга и ее домик на курьих ножках... Гуси-лебеди из детского дома города Мстиславля... Танец «Бульба», исполненный воспитанниками минского детского дома № 7...

Крупные планы детей, восторженно наблюдающие за представлением из зала, полны искренней реакции — сегодня невозможно понять, как удалось кинооператорам столь успешно использовать метод «привычной» камеры в условиях полутемного зала. Серьезные технические ограничения (главным образом, низкая чувствительность кинопленки, составлявшая в те годы не более 50 ASA) превращали репортажную съемку в естественном интерьере в сложнейший, требующий недюжинной изобретательности творческий акт.

Возможно, сценические номера, в которых заняты дети, не слишком затейливые. Тем не менее, педагогам надо было их придумать, подобрать соответствующую музыку, сшить костюмы, разучить движения. Сложность постановки в полной мере учитывает уровень подготовки и возраст именно этих воспитанников. В данном случае очень важно и то, что художественные элементы, сопутствующие самодеятельному театральному творчеству, — музыка, танец, репетиционный процесс — выступают мощными средствами психологической реабилитации и социальной адаптации детей-сирот.

Можно только догадываться, сколько тревог и волнений пережили педагоги и воспитанники детского дома из Мстиславля на пути в столицу! Скольким детдомовцам художественная самодеятельность открыла волшебный мир сценических искусств, повлияла на выбор будущей профессии! Впрочем, было бы вполне



«Танец котиков» в исполнении воспитанников детского дома г. Мстиславля.

достаточно и того, что самодеятельное творчество помогло сделать жизнь этих ребят более радостной, доброжелательной и счастливой...

В третью часть фильма включен эпизод о состоянии детских домов, ставших приметой послевоенного времени. О трагической картине сиротства свидетельствуют такие цифры...

В сентябре 1947 года в столице республики на учете было более 2 тысяч сирот. В одном только Минске было организовано 5 детских домов: три из них были школьные, два — дошкольные. Число мест в детдомах признавалось недостаточным. Из общего числа воспитанников в музыкальной школе училось 28 ребят. В балетной школе, организованной усилиями легендарной белорусской балерины и талантливого педагога Зинаиды Васильевой, — 12 детей.

Гнетущую картину детского послевоенного сиротства иллюстрирует выдержка из доклада (озвучен 30.09.1947 г.) председателя Первой Минской городской комиссии по устройству детей-сирот К. Пущина: «...зимняя обувь имеется не полностью. Для полного обеспечения детей-сирот необходимо: валяной обуви — 1000 пар, кожаной — 1000 пар, пальто — 500 штук, белья нижнего — 1000 пар, девичьих платьев — 500 штук. Продовольствием детские дома снабжаются нормально. Ассортимент продуктов удовлетворительный, но следует отметить недостаток разнообразной крупы — преобладает перловка...»

Хроникальный эпизод о Мозырском детдоме из фильма «Наши дети» — это наиболее ранее обращение аудиовизуальной культуры к теме детского сиротства. Не только в конце 1940-х, но и в течение двух последующих десятилетий в белорусской документалистике не создавалось лент, хотя бы вскользь затрагивающих эту тему.

Кадры, снятые под Мозырем, действительно трогают до глубины души... Летние пейзажи — щедрая природа, живописные холмы, мелкая протока Мерлявица, впадающая в Припять, поля спелой пшеницы...

Сквозь идиллический флер проступают отдельные реалистические детали, разрушающие сконструированную документалистами пасторальную картину. Работу девочек-жниц пристально контролирует воспитательница, не принимающая участия в трудовом процессе — это напоминает о том, что взаимоотношения взрослых-воспитателей и детей-сирот в детдоме не могли быть безоблачными.

Юных жниц в кадре значительно больше, чем было подготовлено серпов, поэтому многие детдомовцы вынуждены срывать стебли пшеницы руками, как рвут иногда на огороде сорняки. Но это упущение вряд ли могло броситься в глаза зрителю: на довольно быстрой панораме такие детали распознать сложно.

Воспитанниц Мозырского детдома, переходящих вброд речушку Мерлявицу, документалисты попросили не только придерживать, но и слегка приподымать подолы платьев. На самом деле глубина воды здесь была невелика — менее 30 сантиметров — и «правда жизни» этого не требовала. Однако, совсем другое дело — «правда искусства», особенно в документалистике конца 1940-х годов. Итоговый результат обескураживает: то, как девочки с поднятыми юбками переходят речку вброд, запечатлено на двух неспешных статичных кадрах и выглядит фальшиво, даже не вполне целомудренно.

Обстоятельства съемки этих кадров позволяют понять стиль взаимоотношений между представителями «минского руководства» и администрацией детдома, расположенного в 300 километрах от столицы: именно как «начальников» воспринимали авторитетных кинодокументалистов (а среди них были и орденоносцы!) и в Мозыре, и в любом другом региональном учреждении.

В следующих кадрах фильма девушки в веночках, сплетенных из луговых трав и цветов, рассаживаются вместе с малышами 7—9 лет за накрытый стол, словно по волшебству появившийся на берегу Припяти. На столе — тарелки с целыми и нарезанными яблоками, каравай, испеченный из зерна нового урожая, и редкостный по тем временам деликатес — нарезанное тонкими ломтиками сало... Очевидно, что документалисты взяли под свой контроль и сервировку



На выставке детских рисунков и поделок.

стола, поскольку в кадре даже малыши пользуются не привычными по детдомовскому быту алюминиевыми столовыми ложками, а редкими для послевоенного времени вилками из нержавеющей стали.

Даже поздний обед не может считаться законченным без воспитательного мероприятия: за столом вместе с детьми расположились шефы-офицеры из воинской части. У одного из них на кителе сияет звезда Героя Советского Союза. Воспитанница Настя Кожаль рассказывает об ужасах своего пребывания в Озаричском лагере, где погибли ее родители. Сидящий рядом офицер обнимает и успокаивает девочку.

С этого момента повествовательная интонация диктора и содержание текста разительно меняются, патетика достигает апогея. Обличительный текст закадрового комментария составлен авторами и озвучен диктором Леонтием Ободовским в духе призывов Ильи Эренбурга: «Убей немца! — это просит старуха-мать. Убей немца! — это молит тебя дитя. Убей немца! — это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!»

На протяжении 20 секунд на экране появляется чужеродный по пластике изображения, явно вставной эпизод. Идут кадры военной хроники, смонтированные в плакатном духе: колючая проволока лагеря, гитлеровцы и их жертвы, немецкий пистолет за голенищем сапога одного из палачей. Имя врага, утерявшего право именоваться человеком, ребята должны запомнить навечно: «немец».

Завершается эта чужеродная по отношению к стилю всей ленты вставка с помощью закадровой реплики: «Не плачь, Настенька, не плачь! Это прошло! Тебя зовут в хоровод твои товарищи!»

В заключительной сцене коллективного хоровода участвуют и дети, и взрослые. Дикторский текст завершается стихотворным четверостишьем:

Гадуйцеся ж вы дужым племям,
Пад яркім Сталінскім святлом,
Не прыйдзе больш забойца-немец,
І не разбурыць ён ваш дом!

Вероятно, всем этим чрезмерным упрощениям и гротесковой прямолинейности в трактовке темы войны есть одно оправдание. Сразу после ее окон-



Воспитанница детдома Настя Кожаль,
бывшая узница концентрационного лагеря.

чания зритель имел неодолимую потребность в документалистике оптимистичной, мажорной. Основной зрительской массе было совершенно не важно, насколько кинохроника адекватна и релевантна исторической и повседневной реальности.

Чтобы дать импульс новой, послевоенной жизни, следовало каждый день напоминать, что все страшное и тяжелое уже позади. Фильм Николая Любошица и Сергея Сплошнова выполнил свое социальное предназначение.

* * *

Воздух великой победы 1945 года усыпил бдительность редакторов, отвечающих за содержание отдельных номеров киножурнала «Советская Белоруссия».

Под вполне привычным для ноябрьских выпусков белорусской кинопериодики названием «XXVIII годовщина Великой Октябрьской социалистической революции» зрителю репрезентировался совершенно неожиданный контент. Киножурнал «Советская Белоруссия» (1945, № 11—12) был смонтирован на материале эстрадного концерта с участием государственного джаз-оркестра БССР под управлением заслуженного артиста БССР Эдди Рознера — композитора, дирижера, уникального трубача.

Государственный джаз-оркестр БССР был создан 1 января 1940 года. Его появление не было итогом долгой, планомерной работы по культивированию джазового искусства в БССР. Это была игра случая, подарок судьбы.

С началом Второй мировой войны в Европе, когда Польша как суверенное государство перестала существовать, на территории Западных Белоруссии и Украины, вошедших в состав СССР, стремились попасть многие представители творческих профессий. И даже после демаркации границы между Германией и СССР, ее продолжали нелегально пересекать те, кому гитлеровский режим грозил гибелью. В СССР прибыло много музыкантов танцевальных и джазовых

оркестров, были и композиторы, дирижеры. В число таких иммигрантов входил и Эдди Рознер.

Местом сосредоточения общественной и культурной жизни Западной Белоруссии стал Белосток. Более нигде, даже в таких крупных городах, как Пинск и Брест, не было ни одной сколько-нибудь приспособленной театральной площадки. Уже в сентябре 1939 года в Белостоке был организован симфонический оркестр, на первом концерте которого в начале октября дирижировал приехавший из Минска заслуженный артист БССР Аркадий Бессмертный. В городе, в котором до этого не было собственной театральной труппы, возникло сразу два театра: польский и еврейский.

30 декабря 1939 года в газете «Советская Белоруссия» появилась крохотная заметка: «Управление по делам искусств при СНК БССР создало республиканский джаз-оркестр в составе 25 человек». С началом войны джаз-оркестр Эдди Рознера эвакуируется во Фрунзе, много концертирует в городах Сибири. Через два года после окончания войны, 1 августа 1947 года, коллектив будет расформирован.

Впечатление, которое производил оркестр Эдди Рознера, можно сравнить со вспышкой молнии. Перед его джаз-оркестром тускнели и концерты Леонида Утесова, и многих других эстрадных исполнителей.

В среде специалистов и ценителей бытует мнение, что в начале 1940 года и зародилась симпатия к оркестру со стороны секретаря ЦК(б) Белоруссии Пантелеймона Пономаренко. Почти наверняка можно сказать, что высокое покровительство помогло Рознеру создать именно такой коллектив, о каком он мечтал. Оркестр был укомплектован лучшими музыкантами-иммигрантами, дополнительно ему позволили ввести в состав струнную группу и даже собрать кордебалет — элемент совершенно «буржуазный» и, разумеется, невиданный на довоенной советской эстрадной сцене.

Оркестр и лично Рознер весьма обязаны опеке Пономаренко еще и тем, что последний оградил весь коллектив от репрессий: когда в 1940 году начались «чистки» среди польских иммигрантов, из состава оркестра никто не пострадал.



Джазовый коллектив Эдди Рознера.



Соло на трубе исполняет Эдди Рознер.

Более семи лет Эдди Рознер возглавлял Государственный джаз-оркестр республики — лучший свинговый биг-бэнд СССР 1940-х годов. В те времена Рознер был непревзойденным исполнителем. Теплый, бархатный, как говорили специалисты, «несущийся» тон его трубы, настоящий свинг и джазовая «подача» делали его индивидуальный стиль совершенно неповторимым.

Кроме того, Адольф Игнатьевич, — а именно так следовало произносить его имя на русский манер — очень сильно отличался от окружающих. Европейское воспитание, манеры, особый лоск придавали ему ореол некоей таинственности. С одной стороны, эта непохожесть действовала притягательно на многих, и, в первую очередь, на представительниц прекрасного пола. С другой — она очень дорого обошлась музыканту в 1947 году, когда его карьера была прервана восьмилетним пребыванием в лагерях ГУЛАГа.

Концертные номера оркестра Эдди Рознера, вошедшие в сюжет киножурнала «Советская Белоруссия», были сняты в начале ноября 1945 года в Белгосфилармонии, которая занимала тогда помещение клуба имени Сталина (в настоящее время — здание кинотеатра «Победа»). Съемка велась не по ходу «живого» выступления, а отдельно — таковы были необходимые условия синхронной съемки. Даже с учетом этого обстоятельства в титрах сюжета указано неоправданно большое число фамилий операторов, шесть человек: лауреат Сталинской премии Иосиф Вейнерович, Михаил Беров, Владимир Китас, Юрий Довнар, Владимир Цеслюк, Самуил Фрид. На тот момент это был практически весь «операторский цех» студии «Советская Белоруссия». Ответ не вызывает сомнений: все хотели соприкоснуться со звездой джаза, это был элемент личного престижа...

Следует отметить, что далеко не все произведения, зафиксированные в сюжете, подчинены единой джазовой тематике. Солистка джаз-оркестра Зинаида Лаптева, исполняющая песню «Возвращение», стилистически ближе к эстраде, нежели джазово-свинговым интонациям. Юный артист разговорного жанра Александр Фаррель под звуки кантаты о Беларуси читает привычные для подобного официального концерта рифмованные тексты.

Традиционным для Эдди Рознера приемом было включение в ткань концерта танцевальных пар, работавших на контрасте с оркестром. В ноябре 1945 года для участия в праздничном выпуске журнала были привлечены танцоры-бальники Лидия и Михась Чайковские со своей «Мексиканской фантазией».

Чередованием выступлений солистки, танцоров-бальников и чтеца было достигнуто визуальное разнообразие сценических номеров. Вместе с тем, в каждом из них звучала музыка Эдди Рознера и его музыкантов...

Прямым подтверждением уникальности этого киноконцерта является тот факт, что более двух десятилетий назад — еще до передачи исходных материалов на хранение в архив — фонограмма сюжета загадочным образом исчезла. В настоящее время предпринимаются меры для ее возврата в архивные фонды...

* * *

Неустрашимое тематическое новаторство только что вернувшихся с войны белорусских кинохроникеров не носило системного и декларативного характера. Обращение к новым, неожиданным с точки зрения всего предыдущего опыта темам, не преследовало глобальных целей. Выбор жизненного материала, способного нетривиально и доступно выразить общечеловеческие ценности, актуализированные войной и ее страшными последствиями, явился результатом накопления индивидуального опыта самоутверждения человеческой личности в условиях военного времени. Этот опыт для каждого документалиста в отдельности был уникальным; именно поэтому он не поддается интегральному измерению.

В недалеком будущем, буквально через несколько лет, индивидуальные особенности этого опыта получат свое дальнейшее развитие и реализацию в совершенно разных подходах к пониманию своего профессионального долга, и, как следствие, в качественно несопоставимых индивидуальных творческих пристрастиях и конкретных хроникально-документальных лентах.

Фото предоставлены автором.



Форум

Срочно требуется критика. Знание предмета обязательно

Мы не знаем имени первого в истории литературы критика, но, следуя логике, он появился, как только появилась сама литература.

Подобно женщине, созданной из ребра Адама, критика родилась из мысли, заложенной в литературном тексте.

На первый взгляд, в этом положении критики есть что-то унизительное: существовать за счет кого-то, постоянно быть чьей-то тенью, обслуживающим персоналом. И, к тому же, заранее знать, что число твоих потенциальных читателей значительно меньше, чем у прозаиков и поэтов.

Но, повторюсь, это на первый взгляд, поскольку критика многофункциональна и многолика: это литературный портрет (эссе) и литературный обзор, это проблемная статья и дискуссия, и — куда ж без нее — рецензия. Просто, увы, львиную долю критических публикаций составляют материалы оперативного реагирования на новые книги и публикации в периодике. Переварить всю эту словесную продукцию критика не в состоянии (да и не все может служить предметом для серьезного разговора). Поэтому она зачастую ограничивает себя не подробным, неторопливым анализом, а скорее развернутой констатацией факта, коим является выход очередного творения очередного автора. Писать такие опусы — занятие неблагодарное, труд альтруистов, поэтому всегда им занимались не только профессиональные критики, но и — между делом — те же прозаики, поэты, журналисты, студенты, а также представители достаточно далеких от литературы профессий, что, кстати, немало поспособствовало измельчанию той же рецензии как жанра, равнодушие к нему со стороны читателя.

Но критика интересна именно тогда, когда она выходит из тени произведения, о котором пишет, когда, рожденная из его мысли, она, толкуя или даже критикуя его, живет своей жизнью. То есть, даже не зная автора, будучи совершенно не знакомым с его творчеством, я, читатель, с интересом читаю то, что о нем пишет критик.

Вспомним пушкинское: «Критика — это наука открывать красоты и недостатки в произведениях искусства и литературы». Думается, ключевыми словами здесь являются «наука» и «открывать». Но ведь и этим не исчерпываются ее задачи и возможности. Рассматривая конкретное произведение, критик может вводить его в контекст современной отечественной литературы (а иногда — и мировой), в контекст культурной и общественной жизни страны. А это уже не констатация, это уже творчество, полет мысли. Вот тогда и появляются критики уровня Сент-Бева и Арнолда, Брандеса и Паррингтона, Белинского и Писарева, Розанова и Набокова, Бабареки и Горецкого, Стрельцова и Бечика...

Есть ли они сейчас? Вопрос достаточно деликатный. Это то же самое, если бы спросить: есть ли у нас поэты уровня Купалы и Танка, а прозаики уровня Быкова и Короткевича. Впрочем, сравнивать настоящее с прошлым — не очень корректно и не совсем объективно. Сравнивать нужно прошлое с прошлым, а настоящее с настоящим.

Только вот современную критику не ругает разве что ленивый. Ради справедливости заметим, что у наших соседей разговоры о плачевном состоянии этого вида творчества ведутся куда более острые и, причем, не первый год.

Вот, например, мнение Льва Аннинского, высказанное им в «Литературной газете» почти десять лет назад в завершении дискуссии под кричащим названием «Критика: самоубийство жанра?» (прошу прощения у читателя за длинную цитату):

«Мне, конечно, тоже очень интересно, отчего сдохла наша литературная критика: покончила ли она с собой, угроблена ли последствиями государственной опеки или, напротив, последствиями исчезновения оной. <...>

Замечательно это учуяли мои коллеги, собравшиеся на консилиум вокруг окоченевшего тела: кончилось то, что началось с Белинского. Недоучка, заводной фантазер, самозабвенно менявший точки зрения, невменяемый спорщик, вроде бы и не державший сверхзадачи, — прожег-таки Россию. Поджег! Так что в следующем веке гасить пришлось всем интеллектуальным миром, меняя «Вехи». Да и то безуспешно.

Лев Пирогов хорошо обрисовал то, что делал Белинский. Не тексты он разбирал, а произведения, и не произведения оценивал, а поступки. Учитель жизни! И сверхзадачей у него в конце концов оказывался пафос. Волнение, огонь души. При любой «позиции», в сущности мало чего стоившей.

Так первопричина-то в том, что Россия была готова зажечься! И в этом огне все попутное горело синим огнем. В том числе и всякие дикости. И то безумие, которое в самом поджигателе пламенело. «Кто первый писатель на Руси?» Да что это за пошлость, что за чушь номерная! А ведь тоже от Белинского идет. Он-то отгорел, а Чернышевский уже тут как тут: судить писателей, приговоры выносить, и уже не пламенно, а каменно. А там уже и заплечные мастера марксистского закала вооружаются, советские прокрусты 20—30-х годов. И самозабвенная мечта о «первом писателе на Руси» выворачивается обоймами литноменклатуры, «секретарской прозы», лауреатской поэзии.

И ведь не только в официоз сбежал этот огонь, но и в зеркальную оппозицию официозу, к «новомировским» бичевателям 60-х годов. Я недавно прочел в дневниках Лакшина похвалу Рассадину за «беспощадность». Откуда они набрались этого карательного неистовства?

Да от Неистового же. Пока горит душа, можно терпеть этот шахсей-вахсей. Отпылало — только сажа и остается. «Литературная критика умирает». Ну так туда ей и дорога.

И пока не запылает, ничем вы ее не разогреете. Ни теперь, ни в прошлом. <...>

Вы думаете, что хоть один нормально дышащий человек захочет копаться в нынешних отвалах? Судить об оттенках дерьма в новых опусах Сорокина? Выяснять, чем Донцова отличается от Марининой? Или какие новые проекты вынашивает Акунин? Да они про себя смеются над вами, а допрежь того — над читателями. Обслуживание! Релаксация! Оборот веществ. Очищение от шлаков. Регулярно. По книге в сезон».

А вот мнение главного редактора «Української літературної газети» Михайло Сидоржевского, которое он высказал в сентябре 2011 года во время веб-конференции на сайте Информационного агенства RegioNews: «Состояние критики сегодня заставляет желать лучшего, есть талантливые критики, но совершенно отсутствует системный подход для оценки литературных произведений. Сегодня литературная критика — это преимущественно комплиментарное или графоманское творчество. Вместе с тем есть критики, которые работают серьезно, однако для того, чтобы у нас складывалась мозаика литературного процесса, должно быть создано силовое поле (я имею в виду литературные журналы, литературные газеты, сайты, на которых профессионально и объективно оценивается современный литературный процесс)».

Если отбросить излишнюю эмоциональность Льва Аннинского, то оба эти высказывания во многом схожи и в немалой степени дополняют друг друга. И как бы ни относился Лев Александрович к Белинскому, думается, уместно здесь будет напомнить и слова Виссариона Григорьевича из его знаменитой «Речи о критике»:

«Многие под критикою разумеют или осуждение рассматриваемого явления, или отделение в нем хорошего от худого — самое пошлое понятие о критике! Нельзя ничего ни утверждать, ни отрицать на основании личного произвола, непосредственного чувства или индивидуального убеждения: суд предлежит разуму, а не лицам, а лица должны судить во имя общечеловеческого разума, а не во имя своей особы. Выражения «мне нравится, мне не нравится» могут иметь свой вес, когда дело идет о кушанье, винах, рысаках, гончих собаках и т. п.; тут могут быть даже свои авторитеты. Но когда дело идет о явлениях истории, науки, искусства, нравственности — там

всякое я, которое судит самовольно и бездоказательно, основываясь только на своем чувстве и мнении, напоминает собою несчастного в доме умалишенных, который, с бумажною короною на голове, величаво и благоуспешно правит своим воображаемым народом, казнит и милует, объявляет войну и заключает мир, благо никто ему не мешает в этом невинном занятии. Критиковать — значит искать и открывать в частном явлении общие законы разума, по которым и через которые оно могло быть, и определять степень живого, органического соотношения частного явления с его идеалом».

«Речь о критике» появилась в 1842 году, а так и хочется, спустя столько лет, размножить ее и держать под рукой на редакционном столе на случай появления очередного автора, отдаленно знакомого с законами этого ремесла, но желающего непременно напечатать в журнале свой критический материал. Впрочем, опыт подсказывает, что не помогут такому автору ни Белинский, ни Бабареко. Как с профессиональным поэтом или прозаиком куда продуктивнее разговаривать о некоторых недостатках в их текстах, чем об этом же говорить с очевидным графоманом, так и профессионального критика значительно легче убедить в необходимости определенной доработки его статьи. Автор, далекий от азов этой профессии, будет до конца стоять на своем. А уж если его статья носит критический характер в прямом смысле этого слова, то любые замечания по ней он обычно расценивает как «пособничество» критикуемому. И слова о том, что раз в литературном издании высокие требования к поэзии, прозе, публицистике, то почему они должны быть иными по отношению к критике, пролетают сквозь адресата, словно пули в мистическом боевике сквозь привидение.

А ведь серьезный, полемический разговор о современной литературе давно назрел. Разговор о том, как развиваются проза, поэзия, драматургия, публицистика и, конечно, сама критика в последние десятилетия, о том, что нового привнесли в литературу наши писатели... Вопросов множество, и очень острых, вот только разговор станет полезным, если будет аргументированным, если в нем будут участвовать люди авторитетные, профессионалы своего дела. Иначе непременно получится словесная резня, базарная ссора, беспардонная и бессмысленная, — к чьему-то глубокому удовлетворению и удивлению читателя. Резня и ссора, которые, можно не сомневаться, авторитета нашей литературе не прибавят. В своих знаменитых «Лекциях по русской литературе» статью о Льве Толстом Владимир Набоков начинает следующим абзацем: «Толстой — непревзойденный русский прозаик. Оставляя в стороне его предшественников Пушкина и Лермонтова, всех великих русских писателей можно выстроить в такой последовательности: первый — Толстой, второй — Гоголь, третий — Чехов, четвертый — Тургенев. Похоже на выпускной список, и разумеется, Достоевский и Салтыков-Щедрин со своими низкими оценками не получили бы у меня похвальных листов».

Это достаточно спорное, глубоко личное суждение, тем не менее, очень любопытно (в первую очередь, своими нетривиальными аргументами), поскольку высказано замечательным писателем, мастером слова. Но услышать подобное от человека в литературе случайного — ничего кроме грустной улыбки оно не вызовет.

А что же сегодня наша профессиональная критика? Казалось бы, вырванная из идеологических рамок прежней эпохи, она должна стать тем мощным двигателем, благодаря которому литература устремляется в будущее. Но не стоит обольщаться. Настоящий критик — штучный товар, которого по определению не может быть много. И уж если оглядываться на прежнюю эпоху, то следует напомнить, что авторитет критика тогда был несоизмеримо выше (к чему это иногда приводило — разговор отдельный). Сегодня его читают в основном коллеги, а в первую очередь те, о ком он пишет. Как показывает практика, влияние критической статьи на читательский выбор минимально, а иногда имеет совершенно противоположный эффект.

Впрочем, в данном вопросе единого мнения быть не может. Поэтому редакция «Нёмана» и обратилась к писателям, небезразличным к данной проблеме, с просьбой ответить на вопросы анкеты. Ниже мы публикуем некоторые из присланных ответов.

Алесь БАДАК

Форум

Рецензент — это критик в эпоху упадка литературы

Вопросы анкеты

1. Каково, на ваш взгляд, главное предназначение критики? Какое место она занимает в современном литературном процессе?

2. Кто, по-вашему, основной читатель этого литературного жанра?

3. Какой период в истории белорусской критики вы считаете наиболее интересным и плодотворным?

4. Назовите имена наиболее ярких современных отечественных критиков.

5. Какие критические материалы, опубликованные в последнее время в периодике или сети, вам особенно запомнились?

6. Ваш прогноз относительно дальнейшей судьбы литературной критики как жанра.

Анатолий Андреев, прозаик, критик:

1, 2, 6. Не претендуя в данном случае на определение *литературно-художественной критики* (далее просто — критики), попытаюсь выделить главные ее функции. *Критика — это аналитическое сопровождение литературного процесса, цель которого выявить закономерности процесса (общественные и художественные), а сверхзадача (сверхцель) — пополнить копилку шедевров литературы страны и мира.*

Что значит говорить о процессе в обозначенном ключе?

Это значит, в конечном счете, говорить о писателях, которых критики-аналитики делают или не делают *знаковыми фигурами*, символами определенных тенденций, трендов, отечественных и мировых. А знаковых фигур не бывает без *знаковых произведений*. Таким образом, говоря о произведении, критик говорит о нем как о моменте литературного процесса, который всегда оценивается по шкале высших культурных ценностей, по шкале художественности. Мастерство критика — за деревьями видеть лес, говорить об одном произведении, как о маленькой матрешке, запрятанной в другие матрешки побольше (произведение — писатель — литературный процесс — высшие художественные ценности). А такой, многоуровневый, разговор предполагает уже культурную ответственность, это не анализ рифм или острого сюжета, никого ни к чему не обязывающий. Таково «предназначение», миссия критики как деятельности культурной.

Чтобы выяснить, какое место занимает критика в современном литературном процессе, для начала есть смысл разобраться в жанрах критики. Состояние современной литературы осмысливается (преимущественно) в двух жанрах. Назовем их так: «рецензия» и «критическая статья».

Что такое *рецензия*?

Рецензия — это отзыв на литературно-художественное произведение, с целью привлечь внимание к рецензируемому произведению.

В каких случаях пишется рецензия?

Главная функция и сверхзадача рецензии — привлечение внимания *любым* способом. Вот почему в рецензии ценится умение резко индивидуализировать объект рецензии, отыскивать в нем «фишки» — стилистические, тематические, биографические — любые (даже если их там нет и в помине). Субъективный, эссеистический момент в рецензии не просто приветствуется, он является *одним из обязательных условий*, ключевым пунктом в правилах игры, по которым создается рецензия. Ясно, что рецензия представляет собой литературу по поводу литературы.

Если цель рецензии — обратить внимание почтенной публики на произведение, явно того не заслуживающего, то перед нами, говоря языком рекламы, грязноватый маркетинговый ход. Нам пытаются навязать барахло.

Если привлекается внимание к объекту достойному, то рецензия выступает как вполне безобидный жанр.

Что такое *«критическая статья»*?

Критическая статья — это рецензия культурологического, литературоведческого характера, задачи которой можно свести к трем пунктам: 1) рассмотрение произведения как в современном, так и в актуальном историко-литературном контексте; 2) рассмотрение произведения в контексте универсальных критериев художественности; 3) рассмотрение произведения с определенных, внятных методологических позиций.

Цель критической статьи, главного жанрового инструмента литературной критики, — осмысливать закономерности современного литературного процесса (выявлять актуальные стилевые тенденции, знаковые произведения, знаковые творческие фигуры и проч.). Вот почему критику можно назвать оперативным литературоведением (а литературоведение, напомним, — это уже наука). «Критическая статья» — название условное; главное — установка на объективность, а не на критику.

Для написания содержательной «критической статьи» необходима солидная литературоведческая подготовка; еще точнее — научное мышление (в той или иной степени). Вот почему пишут их, в основном, литературоведы, временно исполняющие функции критиков. Для написания рецензии требуется нечто прямо противоположное: чем меньше литературоведческого образования, тем лучше. «Рецензия» выполняет заказ коллективного бессознательного (или массового сознания: кому что больше нравится): она культивирует эмоциональное отношение в противовес познавательному и потому ориентирована на публику попроще (в интеллектуальном отношении).

Но, как ни парадоксально, непроходимой границы между названными «критическими жанрами», научными и ненаучными, нет. Высший пилотаж в работе критика-литературоведа — когда его «рецензия» ориентирована на параметры «критики», а «критика» по литературным достоинствам сопоставима с эссеистическими пассажами «рецензии». В этих случаях — и вновь парадокс, знак научного отношения! — главным критерием становится качество научного мышления (а кажется — что литературные достоинства).

Очевидно, что в современном литературном процессе преобладает рецензия, причем преобладает настолько, что критические статьи просто исчезли. Лучше так: вымерли. Что же осталось?

Осталась *заказная критика* — просьба заинтересованного лица (типа «творца») написать «солидную» рецензию, которая имитировала бы критическую статью (желательно — с преогромным арсеналом наукообразия) и с помощью «железной» логики, «неотразимых аргументов» отводила бы заинтересованному поэту (писателю, а то и критику) почетное место в литературе. Заказная критика — это способ ввести в заблуждение общественное мнение. Строго говоря, «заказуха» — разновидность мошенничества.

Осталась *мягкая критика* — разновидность заказной критики, в которой доля субъективного отношения сближает ее с рецензией. Цель такой критики — придать культурную значимость тому, кто ее не заслуживает.

Осталось *критиканство* — заказная критика наоборот: псевдонаучная писанина, рецензия, как правило, цель которой — опорочить того, кто явно заслуживает большего. Мотив — зависть бездарей, что же еще.

Как соотносятся критика и субъективность/объективность?

Гарантия объективности, как уже было сказано, — методология.

Высший пилотаж, как уже говорилось, — не поступаясь методологией, блеснуть литературным мастерством, то есть уникально выразить универсальное содержание. В этом и только в этом случае субъективность является не помехой объективности, но условием ее существования.

Это возможно при наличии — вот тут внимание! — художественного и научного таланта. Критик — гораздо более *редкий* дар, чем талант художественный либо научный. Это элитарный дар. Но к критике у нас относятся как к чему-то второстепенному. Символы нации у нас, увы, поэты, а не «критики» (в широком смысле — не мыслители).

А возможна ли вообще объективная критика?

Из сказанного выше очевидно, что критика возможна только как объективная критика, в противном случае она превращается в критиканство, «заказуху» или рецензионную активность, превращается в деятельность, не имеющую культурного значения. «Объективная критика» — это попросту тавтология. Критика же — необходимый компонент для функционирования высокоразвитой литературы. Глупо обсуждать ее «возможность» или «невозможность». Есть высокохудожественная литература — рано или поздно появится и критика. Нет критики — следовательно, что-то не так с литературой.

Куда бы ни была приписана «секция критики» — к толстым журналам ли, союзам ли писателей etc. — сами рыцари этого ордена, которым все больше и больше нравится статус вольных художников, будут писать либо рецензии, либо «критические статьи», что же еще?

Иное дело — институт критики, столь необходимый для литературного процесса. Сам по себе институт критики не зависит ни от каких писательских объединений; он зависит от состояния литературы. Стоит ли удивляться, что в Беларуси институт критики вытеснен институтом заказного рецензирования? С одной стороны, критики нет, а с другой — факт отсутствия критики можно рассматривать как знак присутствия, и даже своеобразной активности критики, этого молчаливого привидения (все убеждены, что оно (она) есть, но никто его (ее) не видел). Перед нами протестное молчание: нет объекта — нет критики. Вы хотите, чтобы соловей критики, которого только баснями и кормят, пел просто так, сам по себе? Без басен?

В таком случае маленькая птичка, отдаленно напоминающая соловья, исполняет суррогатные серенады, которые называются рецензии.

Птичка безбожно фальшивит.

Но почему так происходит? Что не так с птичкой?

Разговор о критике неизбежно переходит на разговор о литературе. И тут следует сказать самое главное — то, с чего, возможно, следовало начать эти заметки (правда, продолжить их пришлось бы тем, с чего начал). Литература у нас есть, книжные магазины переполнены, критики нет. В чем дело?

Обращу внимание на один очень простой критерий. *Писатель*, согласно глубокой и одновременно тонкой мысли Л. Толстого, *не может унизиться до приема* (надо понимать — до абсолютизации приема, до превращения приема в самоцель «творчества»). А теперь поинтересуйтесь у несунов из магазинов: что они несут?

Во-первых, остросюжетную прозу. Кто пишет, с позволения сказать, *остросюжетную прозу*? Мастера остросюжетной прозы, из каких-то им одним известных предрассудков избегающих называть себя писателями (что, конечно, делает им честь). Чтобы стать таким мастером, надо сначала унизиться до приема (что есть «острый сюжет», если не древнейший прием?), чтобы затем гордиться своим мастерством.

Во-вторых, посетители книжных магазинов покупают фэнтези (или хоррор, или готику, что едино суть). Фэнтези вкупе с фантастикой — это вообще не текст, а тест: не способен писать и при этом не можешь не писать — пиши фэнтези. Хочешь повысить тиражи, выйти, так сказать, в тираж? Попробуй унизиться до фэнтези, чтобы страшно потом этим гордиться.

В-третьих, женская проза. Это уже унижение не до приема даже, а до прямого вызова литературе типа «Война и мир»: это чтиво для тех, кого тошнит от «высокодуховного», сиречь от литературы.

В-четвертых, детская литература, разновидность массовой литературы. Увы, это так. Здесь хвост также виляет собакой, прием подчиняет себе смысл — и это в лучшем случае, если перед нами хорошая детская литература.

А теперь пусть читатель спросит себя: когда он последний раз читал критическую статью об остросюжетной прозе, фэнтези, женской прозе или детской литературе?

Он их никогда не читал, потому что статей таких практически нет (они пишутся крайне редко, да и то по соображениям, не делающим чести *литературе приема*).

Вот и получается: если литература унижается до приема, то критика опускается до рецензии. Закон, однако.

Что же получается: у нас нет литературы?

Это зависит от того, что считать литературой. Если чтиво получает права литературы, если мастера остросюжетной, мелодраматической или фантастической прозы считаются писателями, то литературы у нас пруд пруди. Писателей — сотни. Инструменты манипулирования такой литературой — рейтинги, премии и тиражи (вот тут и рецензии весьма кстати, вот этим и обусловлена их жизнеспособность).

Я же придерживаюсь мнения прямо противоположного. Хорошая литература (и прежде всего проза) начинается с известной плотности *экзистенциального* смысла. Умение с помощью минимума средств выразить максимум философского смысла (не философского смысла в литературе попросту не бывает) — вот что такое искусство прозы. Здесь прием всегда «на побегушках» у смысла. Писатель, о чем бы он ни писал, пропускает через душу (совесть) и сознание такие понятия, как истина, добро, красота, счастье, свобода, любовь, достоинство. Таких понятий немного, но они составляют ядро культуры. Литература по определению высокодуховна, что, между прочим, означает: если она не высокодуховна — то это не литература (не зря жрецы чтива шарахаются, как черт от ладана, от слова духовность). Литература по определению элитарна.

Так вот «предназначение», миссия критики как деятельности культурной, в свою очередь элитарной, — квалифицированно *отделить литературу от чтива*. Сегодня это главная, первостепенная задача.

Критика, чтобы выйти из тени, и должна ответить на вопрос: есть ли у нас литература? Тут уж за рецензию не спрячешься, тут уж надо возвыситься до критической статьи. Ибо: исчезновение литературы — это культурный вызов.

Если литературы нет, то почему?

Если она есть, то почему никому не нужна? Почему выгодно делать вид, что ее нет?

Пока что над этими вопросами ломает голову осиротевший без критики читатель, закормленный наскоро испеченным фастфудом рецензий.

3. Не могу сказать: история белорусской критики вне сферы моей компетенции.

4. Если говорить о литературе белорусской, то выделяется, на мой взгляд, Шевлякова Ирина Леонидовна (между прочим, кандидат филологических наук). Выделяется искусством культурной аранжировки, богатством и разнообразием литературных ассоциаций и стилем. Но это весьма своеобразная, эссеистическая критика: здесь формат рецензии преобладает над форматом статьи, а кажется, что наоборот. Витиеватость такой критики и культ неопределенности — да и нет не говорить, черное с белым не носить — делают ее почти литературой. Крити-

ка — это, как ни крути, определенность, четкость, внятность оценок. Это риск. И, черт бы ее побрал, ответственность. Но эссеистическая критика всегда уместна: она украшает литературный процесс, напоминая, кстати, о том, что талант в написании рецензии никто не отменял.

Если говорить о литературе русскоязычной, то здесь время от времени кто-то из писателей или поэтов выступает в качестве (или в роли) критика-рецензента. А вот литераторов с репутацией именно критика сразу и не вспомнишь. Самые сильные и впечатляющие работы критиков — это работы литературоведов (например, статьи и доклады профессора И. Скоропановой).

5. Для себя я отметил книгу академика В. В. Гниломедова о русскоязычной поэзии Беларуси (2013 г.).

Василь Ткачев, прозаик, драматург:

1. Для писателя критик — прежде всего учитель, советчик. Можно принимать его замечания или нет — это уже другое дело. А читателей он должен ориентировать в литературном потоке, чтобы они могли яснее видеть ситуацию: на что обратить внимание в первую очередь. Истина стара как свет. Хотя Борис Саченко как-то сказал в шутку: «Критики — это люди, которые не умеют писать сами, а учат других». Обратная сторона медали: редко какой писатель может написать критический материал.

Не всегда, кстати, хвалебная критика воздействует на умы и разумы читателей желательным для писателя образом. Есть немало примеров, когда разбитое в пух и прах произведение приносит славу и автору, и критику. Вот классический пример.

Владимир Чивилихин, который в конце пятидесятых и начале шестидесятых был редактором «Комсомольской правды» по отделу литературы и искусства, однажды вышел из кабинета и застыл от неожиданности. В конце длинного редакционного коридора показался молодой поэт Евгений Евтушенко, который решительно, почти бегом приближался к нему. В последнем номере «Комсомолки» была опубликована зубодробительная статья о творчестве Евтушенко, и редактор, подумав, что поэт намеревается по этому поводу закатить скандал, приготовился к неприятному разговору.

Однако Евтушенко крепко обнял его и с радостным блеском в глазах воскликнул:

— Володя, спасибо! Вы сделали меня знаменитым!

Это я так, к слову... Хотя почему — к слову? Мой рассказ «Перекур», напечатанный в «ЛіМе» в январе 2008 года, после того, как о нем через месяц в том же еженедельнике молодой критик написал что-то непонятное — статью, по размеру большую, чем рассказ, вызвал небывалый интерес у читателей, о чем я сужу по звонкам и письму старейшего нашего писателя-гомельчанина Михася Даниленко...

2. Библиотекари, учителя, краеведы, работники культуры, поклонники писателя, он сам, разумеется, и... недоброжелатели. «Ага, получил!» Этих всегда хватает. Если рядом кто-то успешно работает в литературе, а другого Бог обидел или тоска заела, — то хоть какая-то радость в жизни у человека...

3. Может быть, 60—70 годы прошлого столетия? Я тогда сам входил в литературу, был не безразличен к публикациям подобного рода. В памяти отложились такие имена, как Рыгор Шкраба, Варлен Бечик, Рыгор Березкин, Виктор Коваленко, Борис Бурьян, Яков Герцович, позже — Алла Кабакович... Пусть простят те, кого не вспомнил. А не вспомнил кого-то — это наверняка. Да, событием тогда, чуть не забыл, стала и книга Михася Стрельцова «Загадка Багдановіча».

4. В оценке поэзии, мне кажется, нет равных Владимиру Гниломедову. Основательный мастер! С интересом читаю публикации Вячеслава Рагойши, Адама Мальдиса, Дмитрия Бугаева, Серафима Андреюка, Михася Мушинского, Татья-

ны Шамякиной, Василя Журавлева, Алеся Мартиновича, некоторых молодых, но зубастых авторов, имена которых могу назвать, покопавшись в первоисточниках. Про меня писал Алесь Мартинович и в то время, когда я делал первые шаги на литературной ниве, что для меня было чрезвычайно важно, да и сейчас он не проходит мимо, замечает...

Жаль, куда-то исчезла Наталья Яковенко. Редко встретишь публикации Елены Руцкой.

Иногда издатели просят автора написать «пару слов» к выходу своей книги. А не нескромно ли это? Я в таких случаях вспоминаю К. Паустовского: «Обычно писатель знает себя лучше, чем критики и литературоведы. Вот почему я согласился на предложение издательства написать краткое предисловие к своему Собранию сочинений.

Но, с другой стороны, возможность говорить о себе у писателя ограничена. Он связан многими трудностями, в первую очередь — неловко давать оценку собственным книгам.

Кроме того, ждать от автора объяснения собственных вещей — дело бесполезное. Чехов в таких случаях говорил: «Читайте мои книги, у меня же там все написано». Я с охотой могу повторить эти чеховские слова».

Вспомнив К. Паустовского, подумалось: а почему бы другой раз критику и не поинтересоваться, что хотел сказать писатель? Может, стоит? Или между писателем и критиком не может быть союза? Мол, если ты критик, то соответствуй предназначению — бей!..

5. Очень ярких публикаций вспомнить не могу. Ничего не зацепило. А вот три тома Ивана Штейнера, земляка-гомельчанина, назову: «Дняпроўскія матывы», «Прыпяцкая рапсодыя» и «Сожскі карагод». Книги представляют собой сборники научно-популярных статей, в которых анилизируется творчество писателей, жизнь которых связана с Гомельщиной. Большой труд. Никто из творцов, кажется, не обделен вниманием. Правда, авторство И. Штейнера засвидетельствовано только на одном томике, но я-то знаю, что и в двух других почти все тексты его.

Да и так Иван Штейнер, случается, замолвит словечко о ком-то из местных литераторов в республиканской печати.

6. Институт критики, как мне кажется, у нас уходит, если уже не ушел, вместе с болотами. И если тех коснулась мелиорация, то что же произошло с критикой? Как это ни парадоксально, сам литературный процесс постепенно и убивает критику. Что сегодня происходит в литературе? Где Мележ, Шамякин, Быков, Танк?.. Увы! О чем бы сегодня могли сказать читателю тот же Варлен Бечик и Рыгор Шкраба? Только хорошая литература и рождает хороших критиков! Один полковник, которому пожелали стать генералом, полушутя обронил: «Войнишка нужна». В нашем смысле — литература нужна, тогда будут и в критике генералы.

Наум Гальперович, поэт, прозаик:

1. По-моему, главное предназначение критики — во-первых, обратить внимание читателей на яркое и незаурядное произведение или наоборот — заострить внимание на неудаче, предостерегая от излишне восторженного отношения заранее заказанных автором отзывов. Во-вторых — помочь автору как бы взглянуть на себя со стороны, обратить внимание на те места, которые можно поправить, усовершенствовать. В любом случае, критика должна быть аргументированной и не оскорбительной.

2. Прежде всего, сам автор, удовлетворенный или обиженный, коллеги по перу, любители литературы и те, для кого такое чтение составляет профессиональный интерес: литературоведы, учителя, библиотечные работники.

3. Наиболее интересным и плодотворным считаю период 60—80-х лет XX столетия, когда в жанре литературной критики активно работали Алесь

Адамович, Рыгор Березкин, Варлен Бечик, Владимир Гниломедов, Михась Стрельцов, Григорий Шупенька. Тогда каждое их выступление вызывало резонанс. С критическими материалами, рецензиями, отзывами выступали Янка Брыль, Пимен Панченко, Иван Науменко, другие известные и авторитетные литераторы.

4. Среди ярких современных отечественных критиков я назвал бы Ирину Шевлякову, Ладу Алейник, Владимира Гниломедова, Петра Васюченко, Ивана Саверченко, Людмилу Рублевскую, молодых Марину Веселуха, Дениса Мартиновича, Тихона Чернякевича, которые, правда, порой, излишне эмоциональны и категоричны. Интересен взгляд на современный литературный процесс Натальи Капы и Юрия Сапожкова.

5. Среди наиболее интересных публикаций последнего времени я бы выделил «Роздум над адным вершам» Ивана Саверченко, «Ілюстраваны атлас далікатнасці» Ирины Шевляковой, колонку «Нататкі рамантычнага маркетолага» Екатерины Симон, заметки Марины Веселуха и Анастасии Грищук («ЛіМ»), статьи Елены Мальчевской «ЖЖ и литература», Галины Тычко «Польский и русский авангардизм в творчестве Максима Танка», Ивана Штейнера «Вольные рассуждения по поводу выхода сборника А. Рязанова «З Велеміра Хлебнікава», Юрия Сапожкова «Бабочка на ладони» («Нёман»), Вячеслава Рагойши «Напісанае застаецца» («Полымя»).

6. Трудно ответить однозначно. Вырастает опасность дилетантизма, когда свое весьма некомпетентное мнение любой желающий готов выдать за литературную критику. К сожалению, становится нормой заказная рецензия, борьба групповых интересов. Совсем недавно один из литераторов, которому я подарил книгу, спросил: «А кто пишет рецензию?», и был удивлен, когда я ответил, что понятия не имею.

Есть бойкие авторы, о которых говорят, что они «пекут» рецензии, не читая книг рецензируемых, молодые грешат снобизмом и высокомерием, чрезмерной избирательностью, стремлением отрицать все написанное классиками.

Если требования редакций к качеству материалов в жанре литературной критики не ужесточатся (я имею в виду требования чисто профессиональные, а не вкусовые или групповые), то людям с хорошим литературным вкусом придется туго, а наша литература потеряет много в профессиональной оценке произведений.

Уже сегодня можно видеть или чрезмерное захваливание, или уничижительный разнос от людей, случайных в литературной критике, что наносит ощутимый вред литературному процессу. Свое веское слово должны сказать профессионалы — в стране досточно кандидатов и докторов филологических наук, специализирующихся в литературной критике.

А в конце концов, качество литературной критики зависит от качества литературы. Не будет литературы — не о чем будет писать критикам. Так что пожелаем нам всем встреч с новыми яркими литературными произведениями!

Михаил Поздняков, поэт, прозаик:

1. В годы моей работы в редакции журнала «Нёман» приходилось сталкиваться с авторами (неизвестными или малоизвестными), которые несли свои стихи или прозу в отдел критики, требуя отзывы на них. Почему-то эти авторы считали, что отдел критики — главный среди других отделов и должен определять, какие произведения публиковать, а какие отклонять. Весьма странный взгляд, с отголоском жестоких времен, когда критике навязывали несвойственные ей функции, особенно для «расправы» над неугодными авторами. При таком определении предназначения критики она бы сводилась к диктату в литературе, к сужению, обеднению литературного процесса, к указаловке: что и как писать... И сегодня, к сожалению, находятся еще горячие головы, которые не прочь

навязать критике критиканство, роль карающего кнута, своеобразного отдела контроля или пропускного пункта по дороге в литературу. А это уже веяло бы ограничением свободы творчества.

Критика по сути своей — вторична. Литература сама — первична. Да, можно, а иногда и нужно подсказывать, какой тематики в ней недостаточно, в зависимости от запросов общества и времени. Но подчинить природу творчества, пожалуй, невозможно. Мы знаем о так называемом социальном заказе, когда произведения, книги писались на заданную издательством тему, однако большой литературой, как правило, эти произведения и книги не становились. Все в силе художественного таланта и зрелости личности писателя. Они определяют успех. Предназначение критики сегодня не ново. Оно — в определении общих тенденций развития, протекания литературного процесса, что возможно по истечении определенного времени, при богатстве самого предмета исследования. Оно — в анализе, оценке творчества конкретных писателей, литературных жанров или конкретных произведений, книг. Критике необходимо присмотреться, постичь, оценить, сравнить и только потом сказать свое слово. И это слово должно быть взвешенным, правдивым, чутким.

Нередко приходится слышать, что у нас нет критики... Банальное и ошибочное мнение. Она была и есть. Кричат о ее отсутствии, кстати, именно те, кто ничего и никого не читает, не выписывает литературно-художественных журналов и газет. Критика не должна быть оголтелой, прямолинейной, уничтожающей, дабы не мешать творческим поискам, разнообразию художнического видения и отображения всех проявлений жизни.

2. Среди основных читателей этого литературного жанра — преподаватели литературы в вузах и школах, критики и литературоведы, писатели, работники библиотек, студенты гуманитарных факультетов, старшеклассники общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. Безусловно, о массовом читателе здесь говорить не приходится и это обычное явление, тем более в наше скоростное и прагматичное время. Нередко старшеклассники и студенты ограничиваются критическими статьями о произведениях, экономя время на прочтении объемных романов, повестей, сборников стихов. С одной стороны, это повышает значимость и роль критики, а с другой, лишает молодых людей большого эмоционального заряда, той энергетики, которую несут сами произведения. Бесспорно, сочетание прочтения текстов произведений и критики дает наиболее ощутимый и нужный эффект.

3. Наиболее интересным и плодотворным в истории белорусской критики считаю период с 1965 по 1995 годы XX столетия. Кстати, на мой взгляд, это наиболее продуктивные десятилетия в нашей литературе. Посмотрите, какие замечательные писатели создают в это время свои лучшие произведения: Иван Мележ, Василь Быков, Владимир Короткевич, Иван Шамякин, Иван Чигринов, Иван Науменко, Иван Пташников, Борис Саченко, Янка Сипаков, Янка Брыль, Максим Танк, Пимен Панченко, Петрусь Бровка, Аркадий Кулешов, Алексей Пысин, Янка Мавр, Геннадий Буравкин, Нил Гилевич, Рыгор Бородулин, Михась Стрельцов, Алесь Адамович, Василь Витка, Андрей Макаенок... Можно перечислять и перечислять. А каков расцвет издательского дела! Какие тиражи книг на белорусском языке! Какие гонорары, наконец! Что только значит работа издательства «Юнацтва»! Более сотни книг белорусских писателей на родном языке для детей и юношества ежегодно, фантастическими для сегодняшнего дня тиражами (от 40 000 до 120 000 экз.). Богатым было это время и на литературных критиков, мастеров своего дела: Алесь Адамович, Виктор Коваленко, Ничипор Пашкевич, Владимир Гниломедов, Иван Науменко, Василий Журавлев, Варлен Бечик, Серафим Андреюк, Михась Тычина, Дмитрий Бугаев, Олег Лойко, Вячеслав Рагойша, Микола Арочка, Маргарита Ефимова, Геннадий Шупенька, Алесь Яскевич и многие другие. Безусловно, сам уровень развития литературы во многом определяет, побуждает к появлению высокопрофессиональной, яркой критики. Сама

литература — почва для критики, а чем богаче, питательнее почва, тем богаче и значительнее и то, что произрастает на ней.

4. По-прежнему активно и плодотворно работают в жанре критики Владимир Гниломедов, Валентина Локун, Алесь Мартинович, Василь Макаревич, Татьяна Шамякина, Любовь Горелик, Вячеслав Рагойша, Алексей Рагуля, Олег Ждан, Степан Лавшук, Казимир Камейша, Евгений Коршуков, Иван Чарота. С большим вниманием знакомлюсь с рецензиями, статьями, откликами Лады Олейник, Георгия Киселева, Виктора Гордея, Владимира Саламахи, Юрия Сапожкова, Анатолия Андреева, Михаила Южика, Евгения Городницкого, Василя Ткачева, Валерия Гришковца, Алеся Карлюкевича, Михаила Ковалева, Наталии Костюченко, Ивана Штейнера, Валерия Максимовича, Миколы Микулича, Ивана Саверченко, Юрия Фатнева, Аркадия Русецкого, Михаила Кузьмича, Зинаиды Дроздовой, Егора Конева, Татьяны Студенка, Раисы Боровиковой, Надежды Сенаторовой, Татьяны Старостенко, Тихона Чернякевича...

5. Порадовали, подтолкнули к глубоким размышлениям, открыли немало нового статьи Василя Макаревича «Чудо простое и не простое» («Нёман» № 1 за 2003 г.) и «Открытие Атлантиды» («Нёман» № 1, за 2008 г.). Первая — о творчестве Таисы Бондарь, а вторая — Раисы Боровиковой. А еще: Владимира Гниломедова «Три времени Анатолия Аврутина» («Нёман» № 7 за 2008 г.); Алеся Мартиновича «Страшнее смерти — только смерть» — о романе Ганада Чарказяна «Не умирай раньше смерти» («Нёман» № 10 за 2006 г.); Виктора Гордея «На меже двух миров» — о творчестве Владимира Саламахи («Нёман» № 6 за 2006 г.); Ивана Штейнера «Глубокая огранка слова» — о творчестве Изяслава Котлярова («Нёман» № 4 за 2008 г.); Валентины Локун «Иван Шамякин: в поиске нравственного идеала» («Нёман» № 10 за 2003 г.) и «Проза Уладзіміра Гніламёдава» («Полымя» № 2 за 2009 г.); Лады Олейник «Рецензия на жизнь: роман Наталии Костюченко «Верба над омутом» («Нёман» № 2 за 2012 г.); Наталии Костюченко «Незапертая дверь» — о творчестве Юрия Сапожкова («Нёман» № 3 за 2010 г.); Казимира Камейши «Два крылы аднаго таленту» — о книге Ганада Чарказяна «Пад адным небам» («Полымя» № 2 за 2009 г.) и «Полынь пахнет по-белорусски» — о романе Ганада Чарказяна «Горький запах полыни» («Нёман» № 9 за 2012 г.)...

6. Задачи у литературной критики и сегодня большие, поле действия широкое, на котором есть и целинные участки. Литературный процесс движется, крепнет после определенного спада, вызванного известными общественными сдвигами. В литературу идут молодые творческие силы, меняются приоритеты и ориентиры... И задача критики, не отрицая творческого многообразия, различных направлений и поисков форм и способов художественного отображения жизни, — помочь сохранить в литературе самое главное — ее нравственное начало, направленное на созидание добра, духовности, мира, человеколюбия...

Настоящая целина для освоения критикой — литература, издающаяся за счет авторов и спонсоров. Зачастую здесь много серости, графомании, мелкотемья, книг низкого художественного уровня. И критика обязана помочь читателю да и обществу правильно ориентироваться в этом книжном море, умно, спокойно и компетентно отделять зерна от плевел, способствовать тому, чтобы художественное поле страны не зарастало сорняками.

Валерий Гапеев, прозаик:

1. А каково главное предназначение литературы? Театра? Искусства вообще? Они просто должны быть. Как пять пальцев на здоровой руке, как два легких, две почки, сердце, печень и прочие «селезенки» в здоровом организме. Литературная критика есть и, значит, весь организм культурной и духовной жизни здоров. Попытка вмешаться в естественный процесс развития критики, литературы — это как попытка заставить печень отвечать за облысение черепа. Вам

не нравится работа организма? Но может, чем лезть в него кривыми руками со скальпелем, вначале дадим этому организму жилье, еду, зарплату, уважение? Может, перестанем командовать, какие книги рассматривать и под каким углом зрения? Не станем создавать суррогаты, назначая вчерашних верных соратников-друзей вдруг критиками, дав им право унижать и оскорблять авторов? Мне кажется, именно тогда все станет на свои места: и литература, и критика. И мы сами увидим значение литературной критики как обязательной части единого литературного процесса, живого и многогранного.

2. И авторы, и читатели. Автор, он ведь иногда может и не подозревать, что сотворил. Хочется улыбнуться при этом, но говорю без улыбки. Автору, каким бы независимым он сам себя не считал, как бы не был уверен в своей гениальности, нужна оценка со стороны. Читатель точно также может не увидеть за деревьями лес. Увы, но это так: критика сегодня — как нить Ариадны, она помогает найти тропинку среди хаоса рыночной литературы, она учит видеть. Кроме всего прочего, критика — это своего рода пиар, это продвижение настоящего. Знаю, что многие, перед тем, как купить книгу, ищут в сети отзывы и критические материалы о ней.

3. Перефразируя известное: хорошо было в то время, в которое мы не жили. Но все же вспомню то время, когда я выписывал «ЛіМ», сам я практически ничего тогда не писал. Читал. Читал критику — не столько статьи о конкретных произведениях, сколько о тенденциях в литературе, о самом литературном процессе... Это был конец 90-ых — начало нового века. Сегодня... Сегодня критика стала чересчур осторожной, потому что некоторые авторы, размахивая полученным членским билетом, считают его этаким знаком качества, который должен ставиться еще на чистые листы бумаги на их столе. А если критик говорит, что автор написал обыкновенную чушь и пошлость, последний хватается за этот билет и кричит, что его недооценили и унизили. Хватает у него и заступников, кричащих: «Наших бьют!» Стоит ли удивляться, что критики считают себе дороже выступать с отрицательными рецензиями? А это — беда, потому что у любого автора всегда найдется друг-товарищ, который состряпает оду на совершеннейшую серость.

4. Голубович — современный критик? Тогда его имя. Боюсь кого-либо обидеть, назову несколько имен, для меня авторитетных, и расположу их в алфавитном порядке: Лада Алейник, Петр Васюченко, Жанна Капуста, Алена Карп, Анна Кислицына, Денис Мартинович, Тихон Чернякевич, Ирина Шевлякова... Их с интересом читаю, неважно, о чьем произведении они пишут.

5. Тихон Чернякевич об «Одной копейке» Владимира Степана, и об этой же книге — Жанна Капуста. Интересно было сравнить.

6. Она умрет. Как самостоятельный жанр искусства — умрет. У нас к этому идет, хочу обратить внимание. И у нас — умрет. Потому что литературная критика, равно как и литература, не может развиваться по законам, придуманным пусть даже опытными и умными писателями, руководством нашего Союза. Если диктовать правила для развития нашей критики будут писатели. Если они будут ей командовать: о чем писать и как — критика умрет. Она и сейчас живет уже не благодаря, а вопреки. Хочу обратить внимание: абсолютно неважно, кто будет ею командовать. Что будет, когда умрет критика? На ее место станет суррогат. Любой человек с улицы, который стихи белорусских классиков читал последний раз в школе, который скажет, что книги читает и про книги нечто знает, может быть «призван на службу литературе», был бы язык подвешен был бы послушен. Тогда вместо института литературной критики мы получим уродливое существо на цепи (с собакой не хочу сравнивать, не нужно обижать животное). Мы получим цепную критику. Кому это все выгодно? Тому, кто цепь будет держать в руках.

Отсюда и прогноз: сегодня сделано практически все, чтобы живое колючее дерево критики превратилось в липу. Еще лет пять усилий — и авторы будут

просить друг друга писать рецензии на свои книги и произведения. Дружеские такие, слащавые.

А настоящая критика уйдет из государственных изданий в интернет. На негосударственные ресурсы. Кто выиграет? В любом случае, не СПБ, не сотни людей, которые поверили в эту организацию.

Алеся Лапицкая, критик:

1. Задача критики — ориентировать автора, потенциального читателя, литературоведа в мире современной литературы. Многие отмечают, что белорусская критика не совсем успешно с этим справляется, и основания для этого есть. Во-первых, ее мало: наши солидные литературоведы в большинстве могли бы подписаться под утверждением, что с начала 90-х в белорусской литературе не было создано ни одного значительного произведения. В текстах модернистского или постмодернистского толка они «не узнают» произведения искусства, не находят чего-то существенного для себя, и либо ругают современных авторов, либо спокойно игнорируют их творчество, занимаясь историей литературы.

Во-вторых, писать в духе модернизма под впечатлением от любимых писателей человеку одаренному значительно проще, чем анализировать модернистский текст. Критик хочет выглядеть не менее современным, чем рассматриваемый им автор, а ведь для этого нужно хорошо знать теорию зарубежного литературоведения, чему уделяется мало времени в наших университетах. Мне кажется, это одна из причин, по которым у нас так мало «писательской» критики. В общем, чем более профессиональной и тактичной будет наша критика, тем уважительней к ней будут относиться.

2. Для меня главные, безусловные и гарантированные читатели — это авторы произведений, о которых приходится писать. Поэтому стараюсь корректно относится к анализируемым текстам: посмеиваться над ними, обижать их мне кажется просто невежливым, несмотря на то, что острословие или язвительный тон всегда привлекают внимание.

3. Мне лучше всего знаком литературный процесс начала XX века — «нашенивский» период, 20-е годы. Это время зарождения нашей литературной критики, время формирования репутации будущих классиков. Литературоведы того времени — Ефим Карский, Лев Клейнборт — и более молодые критики — Антон Адамович, Станислав Станкевич, Адам Бабарека — выделили главные особенности творческой индивидуальности многих наших писателей. Их статьи часто оказываются более ценными, чем отдельные современные монографии.

Интересный период — это и конец 80-х — 90-е годы. Валентин Акудович однажды заметил, что молодые авторы часто идут по второму кругу, отстаивают те же взгляды, идеи, принципы, которые обсуждались лет 20 назад, но (это уже от себя) так и не восторжествовали. Нужно знать своих предшественников, чтобы при необходимости ссылаться на уже написанное, и идти вперед, а не топтаться на месте!

4. Очень субъективно, это Ирина Шевлякова, Анна Кислицина, Лада Олейник. И, конечно, Леонид Голубович! На этих авторов стоит ориентироваться, хотя какие-то моменты в их работах могут не совсем импонировать.

5. Для меня, как и для многих, наиболее запоминающимся было обсуждение эссе Альгерда Бахаревича, которые вошли в книгу «Гамбургскі рахунак». От этого писателя сложно было ожидать особенного пиетета к белорусской классике, зато он смог написать про нее живо и интересно, что случается очень редко. Дискуссия, посвященная «Гамбургскаму рахунку» лучше любого научного сборника выделила проблемные моменты и болевые точки белорусского литературоведения, специфику отношения к нашей классике, ко многим известным писателям.

6. Писать обзоры компьютерных игр — сегодня дело, наверное, более прибыльное и востребованное, чем следить за белорусскими литературными новинками. Но компьютерная игра или мультфильм — результат труда многих людей, которые в первую очередь работали на потребителя, а не стремились удовлетворить свою потребность в творчестве. Пока будет существовать более-менее профессиональный автор, будет и литературная критика, ведь писателям в основном интересно, как их оценивают. Стремление к ранжированию лежит в основе современной культуры, благодаря ему существует и литературоведение — наука о критериях мастерства. Если писательское мастерство перестанет быть важным, не будет нужен и критик, но такие кардинальные изменения в нашей культуре произойдут, пожалуй, не скоро.

Ирина Шатыренок, прозаик, критик:

1. В идеале критика занимается исключительно литературными новинками, в ее задачу входит оценка новых книг. Критика должна помочь читателю выбрать достойное произведение, научить его отличать хорошее от дурного. Критика, таким образом, с одной стороны, помогает развитию творчества писателя, с другой — формирует читательское мнение, воспитывает эстетический вкус. Образуется некий мост между писателем и читателем.

2. Влияние литературы на общество сегодня очень снизилось. Здесь много объективных факторов: маленькие тиражи художественных книг, «толстых» литературных журналов, постоянное уменьшение количества часов литературы в школе и т. д. Читатели критики — это очень образованный, можно сказать, рафинированный потребитель из университетской преподавательской среды, ученый-литературовед, журналист, редактор, издатель, школьный учитель литературы и, конечно, писатель.

Писатель пишет, читатель читает. Критик и читает, и пишет, но пишет скорее для писателя, а хотелось бы, чтобы его статьи были рассчитаны и на умного, «профессионального» читателя.

3. Времена, которые наступили после «хрущевской оттепели» — 60—80 гг. XX в. Появление в литературе таких крупных имен, как В. Короткевич, В. Быков, И. Мележ и др., обусловило и развитие литературной критики.

4. В. Гниломедов, И. Штейнер, А. Андреев, В. Локун, М. Южик. Г. Киселев, Л. Олейник, И. Жук, Л. Саенкова, В. Максимович, А. Кислицина, Н. Яковенко, А. Адамович, А. Тявловский, Д. Мартинович, М. Шамякина.

5. Обзорная статья о русскоязычной поэзии в Беларуси В. Гниломедова «Где прожил жизнь — там Родина» (журнал «Нёман» № 4, 5 за 2012 г.), статья И. Жука «Цывілізацыйны акт «зорнага неба»: нататкі на палях адной кнігі пра літаратуру» (журнал «Маладосць» № 4 за 2012 г.), статья Г. Киселева «Кирпичом по Пушкину» (журнал «Нёман» № 1 за 2012 г.), А. Андреев «Уроки русского. Заметки о творчестве Валентина Распутина (журнал «Нёман» № 12 за 2011 г.).

С интересом ознакомилась с рецензиями на книги, которые номинировались в 2013 году на премию имени Е. Гедройца.

6. Все-таки критика всегда идет за литературой. Какая литература, такая и критика. Большая литература рождает соответствующую критику. Мне кажется, нашей отечественной критике не хватает талантливых, независимых имен, в литературную критику должны прийти, прежде всего, яркие, неординарные и одаренные личности. Я рассматриваю критику как художественное творчество, а не как скучный и обязательный оброк.

Пока существует литературный текст, критика, его вечная спутница, будет жива. Несмотря ни на что.

Александр Новиков, критик:

1. По сути, предназначение критики должно следовать из ее определения (дефиниции). Но, как оказалось, такого определения нет, и каждый понимает критику по-своему. Исходя из этимологии этого слова, предназначение критики, а точнее — задача критиков — осуществление объективного разбора произведений, творчества отдельных писателей, состояния литературы за определенный период, изучение литературных процессов... К сожалению, многие критики эмоциональны в своих суждениях, а то и вовсе прибегают к фантазиям, что совершенно недопустимо.

В современном литературном процессе у нас, как ни странно, существует некое разделение «критик». Я бы сравнил их с близнецами: один попал служить (или ему поспособствовали) при Дворе, весь разодет, с регалиями, а второй — парубок. Понятно, что первый соотносится с академической критикой, больше известной под названием «литературоведение», а второй с критикой единиц литературы — произведений, или творчества отдельных авторов.

2. Академических критиков (литературоведов) читают их же коллеги, если есть такая необходимость. Широкому кругу читателей их критика и «критика» просто не нужна по понятным причинам: сложный язык, которым зачастую написаны статьи, сухость изложения. Критика произведений более востребована читателями. Естественно, если она понятная и незанудная. Конечно, я сужу исходя из собственного опыта и наблюдений.

3. По большому счету, у нас всего один период — советский. Если в России, например, на смену советской критике пришла иная, современная, со всеми ее достоинствами и недостатками, то у нас советский период затянулся. Причины тоже ясны и понятны. Поэтому интересного периода в истории нашей критики я не знаю. Советская критика была, по большей части, заказной и хвалебной. Современная критика в нашей стране только зарождается, при огромном сопротивлении литературной среды.

4. «Яркий критик», наверное, очень звучное название. Ярких писателей наперечет в отечестве, не то что критиков. Но из тех, с чьими отдельными работами я знаком, назову Татьяну Шамякину, Владимира Гниломедова, Наталью Казаполянскую (Капу), Ладу Олейник, Юрия Сапожкова.

5. В последнее время опубликованные — это я возьму период пять лет. Но я с ними познакомился недавно. Конечно, работы Татьяны Шамякиной: «Роль критики в литературном процессе» («Белая вежа», 2(4)—2011) и «Литературная критика на рубеже столетий: мировоззренческий аспект», материалы X Международной научной конференции (Минск, 6—8 октября 2011 г.).

Статья Лады Олейник «Шкада, што так атрымалася?», «ЛіМ», № 10 за 2012 г., в которой она анализирует рассказ А. Брита «Последний джеб».

В 2008 году в «ЛіМе» были напечатаны интересные статьи Натальи Капы и Лады Олейник о творчестве Анатолия Аврутина.

Вступительная статья Владимира Гниломедова к книге «Янка Купала» из серии «Библиотека Союза писателей Беларуси». Особенно заставляют задуматься его выводы в заключение статьи.

6. Пока прогноз печальный по банальной причине: критика почти никому не нужна. Это факт. Писатель, как правило, ожидает хвалебной рецензии (благо, есть мастера таких рецензий) на свои произведения, а еще лучше — восхищения тем, что он «изваял», и наград. Читатель, покупая книгу, слепо верит аннотации и первым страницам. Разочарование наступает после.

Необходимы бурные литературные процессы, которые либо реанимируют полуживого младенца, который зовется Критика, либо похоронят его. Я надеюсь на реанимацию.

Форум

ИРИНА ШЕВЛЯКОВА

«Рациональная этика» для родной литкритики

(© Дети лейтенанта Шмидта)

Этическая проблематика в исследованиях, направленных на теоретическое осмысление различных аспектов функционирования и развития белорусской литературной критики конца XX — начала XXI вв., занимает *исключительное* место: она оказалась практически *исключенной* из сферы внимания современного отечественного литературоведения.

Дело, вероятно, не только в том, что «этика критики» в коллективном бессознательном филологического сообщества сегодня блуждает как «очевидная очевидность», ассоциируется с целиной аксиоматики. Поначалу даже кажется, будто здесь успеха сможет достичь только исследователь, вооруженный терпеливостью рудокопа и честолюбием отшельника. Следует также четко представлять масштаб исследований (теоретико-методологических, историко-литературных, междисциплинарных и т. п.) белорусской литературной критики во второй половине 1990-х — 2000-е годы:

- монография «Літаратурная крытыка Заходняй Беларусі» (2001) Е. Мороз;
- обзор М. Мушинского «Крытыка і літаратуразнаўства» во второй книге четвертого тома «Гісторыі беларускай літаратуры XX стагоддзя» (2003);
- статья А. Кислицыной «Эстэтычныя прынцыпы сучаснай беларускай крытыкі» в коллективном издании «Міждысцыплінарныя даследаванні актуальных праблем тэорыі літаратуры» (2011);
- исследовательские инициативы кафедры литературно-художественной критики Института журналистики БГУ, результат которых представлен в изданиях «Сучасныя тэндэнцыі літаратурна-мастацкай крытыкі: тэорыя, практычны вопыт» (2002), «Виды литературно-художественной критики: опыт историко-теоретического обзора» (2005), «Произведение искусства — предмет анализа критика» (2009), «Время, искусство, критика» (2010) (сегмент литературной критики разрабатывался в статьях О. Безлепкиной, А. Ковалевского, Н. Кузьмич);
- публикации в сборниках научных трудов (статей) и литературно-художественных изданиях Е. Городницкого, Л. Синьковой, Л. Киселевой, М. Алешкевич[1].

Этические аспекты существования отечественной литературной критики в научных работах, как правило, затрагиваются косвенно (например, в упомянутой статье А. Кислициной) или «угадываются» в качестве некоего фона (работа Е. Городницкого «Сацыялогія літаратуры на сучасным этапе: суб’ектна-аб’ектныя дачыненні творчага працэсу», являющаяся одним из разделов книги «Чалавечае вымярэнне ў сучаснай беларускай літаратуры» (2010)). Так называемая критическая практика ответы на этические вопросы отыскивает непосредственно на полях «боевых действий», нередко в ходе спланированных (запланированных какой-нибудь редакцией или спровоцированных группой энтузиастов) дискуссий. Со второй половины «нулевых» фронт их переместился в интернет, где в ходе

[1] Ритуальное ***«и др.»*** в этом перечне не выполняло бы даже декоративную функцию.

баталий в блогах, на форумах общественно-культурных изданий, акций или на специализированных порталах «практическая этика» белорусской литкритики разворачивается перед наблюдателем во всей своей стилевой орнаментальности и концептуальном однообразии.

В публикациях, посвященных тенденциям развития белорусского литературоведения и критики 2000-х годов [17; 18], мы уже предпринимали попытку проанализировать истоки и наиболее значительные последствия того «репутационного кризиса», который и в начале второго десятилетия XXI в. определяет специфику отечественной литературной критики. Наиболее существенные, на наш взгляд, уроки описанной ситуации можно резюмировать следующим образом:

1) ясное понимание (при невнятной вербализации, озвучивании) того, что коллективная (теоретики + практики) ревизия ценностных оснований, на которых сейчас зиждется взаимодействие субъектов родного литературно-критического дискурса, неизбежна;

2) четкое представление, что дискуссии о роли литкритики в социокультурном пространстве реальной Беларуси (≠ Альбарутении, сотворенной средствами мифа для Мифа) так и останутся ослепительно-бессмысленными, «безосновными», если проблема (точнее, комплекс проблем) не станет предметом заинтересованного обсуждения *сообщества* исследователей: литературоведов, философов, социологов, культурологов, искусствоведов и др.

После «нулевых» ключевое значение для сохранения институциональности белорусской критики, ее востребованности как культурного медиатора приобретает «проблематизация принятых норм интерпретации и оценок» [3]: соответствующий опыт, например, в немецком литературоведении был связан с «кризисом легитимации» после 1968 года. В российском дискурсе исчезновение литературной критики как «единого словесного и смыслового пространства» (Д. Бак) с конца 1990-х уже не столько обсуждается, сколько констатируется. Причем «критическая пестрота» (Н. Иванова) проистекает из принципиальной разнородности критики: «не только по целям и задачам, по методам и подходу к произведениям, но и с точки зрения восприятия собственного статуса» [13].

С поправкой на специфику нашего литпространства (а также с учетом суммарного коэффициента ментального катастрофизма и *самоты* как способов (вы)жить в динамично меняющемся мире) можно говорить о том, что типологически схожая ситуация сложилась и в белорусской литературной критике. Литературная (и окололитературная) общественность в последнее десятилетие демонстрирует тотальное разочарование в отечественной критике: по причине утраты ею влиятельности, снижения активности, неспособности оперативно и объективно (или хотя бы адекватно) оценивать новейшую художественную словесность. Причем в нашем случае речь идет о «сокращении и разрыве устойчивых, регулярных коммуникаций литературного сообщества» не только с «читательской публикой» [1], но и между этико-эстетическими группами внутри этого сообщества, и даже с литературоведением и литературой[1].

В очерченном контексте поиски белорусской литературной критикой собственной *самости* (концептуально-методологического «ядра», способного обеспечить ее жизнеспособность в качестве актуального феномена национального культурного пространства) наиболее результативными могут быть в плоскости ***«этики жанра»***.

Контент-анализ массива текстов, имеющих отношение к теории и практике белорусской литературной критики последней четверти XX — первого десятилетия XXI вв., позволяет говорить о том, что *«этика жанра»* — как понятие

[1] Следует особо отметить ту активность, с которой сегодня обсуждается тезис о литературности критики: по одной версии, критика напрямую соперничает с литературой [3], по другой — все еще остается переходной формой между литературой и литературоведением [14].

и одновременно формульное выражение комплекса практических проблем отечественной литкритики — в этой статье «дебютирует».

В отличие от «этики литературной критики», проблемное поле которой будет неизменно оставаться территорией междоусобных конфликтов, *«этика жанра»* может стать той системой координат, где субъективированная «пестрота» новейшей литературной критики могла бы трансформироваться в относительно объективированную (упорядоченную на основе определенных закономерностей и тенденций развития жанровой системы) «мозаичность». Иначе говоря, *«этика жанра»* в ситуации *центонного* литературно-критического дискурса способна удержать разнофактурные «лоскуты» в едином поле притяжения. Мы предлагаем рассматривать *«этику жанра»* как *механизм аксиологической и методологической самоорганизации* отечественной критики, которая в 2000-х годах переживала катастрофу (авто)дисквалификации, а сейчас вынуждена преодолевать посттравматический шок. Для отечественной литературной критики сама выработка подобного механизма — *«рациональной этики»* — это проблема эргономического типа, способ не только остаться, но и на новом уровне актуализироваться в информационном обществе.

В первом приближении суть *«этики жанра»* раскрывается с помощью идеи выработки такой системы норм интерпретации литературы как ценности (национальной, культурной, эстетической, художественной), которая позволила бы интегрировать усилия субъектов литературно-критического процесса, направленные на развитие национальной художественной словесности и самовосстановление критики.

Специфику содержательного наполнения понятия *«этика жанра»* (отличного, например, от «этики жанра» литературоведения) мы связываем прежде всего с такими факторами, как функции, адресность и публичность литературной критики.

Критика как часть коммуникативной литературной системы по определению публична. Именно ее ориентированность «на публичные формы коммуникации (наличные условия, институциональные структуры, средства и каналы) позволяет рассматривать литературную критику как моделирующий публичную сферу или саму общественность институт» [3]. Однако потенциальная влиятельность критики без элементов устойчивости, согласованности в деятельности самых разных критиков (например, «культурологов» и «социологов», по версии И. Кукулина), *разной критики* (транслирующей различные концепции литературы) в лучшем случае бесполезна. В худшем это готовит почву или для «гражданской войны за слова» (которая, по мнению Б. Менцель, случилась в «русской литературной критике эпохи перестройки» [3]), или для плохо скрываемой неприязни всех ко всем (сюжет нашей критики периода «нулевых»).

Если рассматривать этику как «контекст человеческого поведения, выходящий за пределы непосредственных практических интересов» [19, с. 13], то деятельность в конвенциональном поле *«этики жанра»* предполагает *контекстуальное мышление*, что позволяет выйти за рамки элементарной функциональности (клановые, имиджевые, даже репутационные интересы). Экстраполируя идеи известного российского философа А. Гусейнова [2, с. 698] на ситуацию в отечественной литкритике, позволим высказать предположение: конвенциональность *«этики жанра»* могла бы основываться на идее двойной мотивации деятельности. С одной стороны, сохранение профессионального этоса критики как жизненно важной составляющей литературной системы. С другой — сохранение и развитие жанровой системы критики как динамичной целостности, в системе координат которой белорусские критики имеют наибольшее количество шансов достигнуть профессионального соглашения, прежде всего, в интересах национальной художественной словесности.

Философ М. Каган рассматривал литературную критику как феномен, имеющий отношение не столько к познавательной, сколько к «ценностно-ориен-

тационной» сфере человеческой деятельности [15]. По мнению самих творцов современного литературно-критического пространства, традиционная (в постсоветском понимании) критика предполагает «органическое... включение идеологических и моральных компонентов в эстетическую оценку» [16].

В новейшем белорусском литпространстве *«этика жанра»* (аксиологичная по сути) функционально востребована не в качестве прокрустова ложа: как и в любой этике, свобода здесь выступает как необходимое условие возможности моральной ответственности [11]. *«Этика жанра»* не отрицает личностности (и даже демонстративной субъективности) результатов работы критика: она предлагает осмысливать эти результаты в рамках профессионального соглашения («конвенции»). Это становится возможным благодаря объективированным знаниям, в данном случае — о специфике формирования, функционирования и развития литературной критики как жанровой системы.

Состояние отечественной литературной критики в начале второго десятилетия XXI ст. хорошо описывать с помощью понятия *хюбрис*. В современной западной философии этим термином (франц. l'hubris — от греч. urbis — необузданность, невоздержанность, бесчинство) обозначаются «предпороговые формы стихийных процессов, задающих неустойчивые параметры функционирования определенной системы и открывающих возможности новых форм ее бытия» [10, с. 1165]. В этой ситуации *«этика жанра»* могла бы стать механизмом рациональной самоорганизации литературной критики как системы, характеризующейся хюбрис.

Если этика в рассуждениях М. Фуко проблематизируется как «форма, которую следует придать своему поведению и жизни» [11, с. 1242], то *«этика жанра»* способна придать форму «хюбрисному» существованию литкритики. *«Этика жанра»*, на наш взгляд, сегодня востребована в качестве своего рода экспертной модели, чей инструментарий позволяет (как минимум):

а) определить аксиологические и методологические доминанты, на основе которых строится модель оценки литературного произведения, например, в «экспертной» критике и литжурналистике;

б) соотнести ценностные ориентиры с эстетическими приоритетами и способами их художественного воплощения;

в) осмыслить диапазон оправданных притязаний (относительно культурной влиятельности, обоснованности выводов, аргументированности оценок и т. п.) разных «агентов» литературно-критического пространства: критика-«эксперта», литжурналиста, «рекламщика» и др.

Одной из наиболее значимых проблем теоретического плана для *«этики жанра»* является *проблема критериальности*. В комплексе критериев, которые могли бы стать основой жанровой этики как системы, четко выделяются два сегмента: инвариантный и вариативный. Отдельный вопрос, каковы должны быть роль и вес каждого из них, чтобы *«этика жанра»* выполняла свою ключевую функцию: удерживала профессиональную критику («кровеносную систему литературы», по мнению О. Славниковой), от неодолимой тяги поучаствовать в беспощадно-бессмысленных (для литературы, критики и, вероятно, самих критиков) акциях. Вот их жанровый репертуар достаточно разнообразен: это может быть рельсовая война «резерваций»[1], локальные стычки (М. Мартысевич — А. Поплавская) или специфически-глобальные (М. Южик против «всех») конфликты. Не углубляясь в обсуждение конкретных соотношений инвариантного и вариативного компонентов (соотношений, способных обеспечить устойчивость и эффективность «этики жанра»), сконцентрируемся на проблеме определения

---

[1] «Резервации» эти у нас образуются (самопроизвольно) на самых разных и неожиданных основаниях, как то: лонг-лист премии имени Ежи Гедройца — шорт-лист премии имени Ежи Гедройца — финалисты премии имени Ежи Гедройца — неприсоединившееся прогрессивное (хоть и страшно раздраженное) литчеловечество.

базовых элементов — того «ядра», «стрежня», без которых любая этическая система невозможна.

Базовая формула *«этики жанра»* по отношению к литературной критике наиболее прозрачно (с нашей точки зрения) может быть развернута с помощью ключевых понятий (категорий) классической риторики: этос (ethos), логос (logos), пафос (pathos).

Как известно, понятие логоса в риторике Аристотеля предполагало средства убеждения, апеллирующие к разуму; понятие пафоса соотносилось со средствами убеждения, которые апеллировали к чувствам. Причем в последнем случае важное значение приобретало «размежевание пафоса самого оратора, то есть его личных чувств, изливающихся в речи, и того пафоса, который достигается языковыми средствами, который идет к слушателям от текста, а не от оратора» [8]. В свою очередь, понятие этоса «реферировало *к средствам убеждения, апеллирующим к нормам человеческого поведения* (в том числе и *речевого поведения)*» [5]; этос рассматривался в качестве основы формирования риторического идеала [8]. Иначе говоря, «*этос* создает условия для речи, пафос — источник создания смысла речи, а *логос* — словесное воплощение *пафоса* на условиях *этоса*» [12].

Диапазон вариативности критических практик в этой системе координат зависит от разнообразия *логосов* и их «валентностей» — способностей сочетаться с различными *пафосами*. Так, критика «экспертная» и «торговая» оперируют *логосами* разной степени сложности, что обусловлено разными целевыми установками, обращением к разным адресатам и т. д. В свою очередь, в корпусе текстов, которые (с некоторыми оговорками) можно рассматривать в рамках «экспертной» критики, обнаруживается достаточно широкий спектр *пафосов*: обратимся, например, к текстам Л. Голубовича, П. Васюченко, Ю. Сапожкова, Л. Алейник, М. Алешкевич, О. Безлепкиной, Д. Жуковского, Ж. Капусты, Н. Капы, А. Кислициной, М. Мартысевич, А. Новикова, Т. Чернякевича, И. Шатыренок. Критические штудии «новых филологов» (А. Янкута, Д. Мартинович) и «новых радикалов» (А. Адамович)[1] очевидно отличаются по степени структурированности, разветвленности, аргументированности *логосов*. А вот в рамках белорусской критики так называемого журналистского типа, где публицистичность доминирует над научностью и/или художественностью, «полюса» образуются, во-первых, за счет разницы в филологической компетентности авторов, во-вторых, за счет разницы в степени «совпадения», «стыковки» *логосов* и *пафосов*: литературно-критические произведения Л. Рублевской, П. Абрамовича в массовых медиа — тексты А. Поплавской о литературе и по ее поводу везде и всюду.

Инвариантная основа *«этики жанра»* в логике нашего исследования соотносится с таким компонентом ее формулы, как *этос*. Обращение к *этосу* (понимаемому как устойчивая природа чего-либо) создает условия не только для концептуализации (теоретического проектирования), но и для востребованности *«этики жанра»* в литературно-критической практике.

Сегодня критика, обеспечивающая осмысление процессуальности литературы (Н. Иванова) в контексте культурного развития, приобретает статус своеобразного культурного медиа [7]. В проблемном поле *«этики жанра»* существенной становится не только очевидная связь *этоса* литкритики и коммуникативного «инструментария». Проецируя некоторые результаты исследования динамики типов художественного сознания и смены «великих стилей эпох» (Д. Лихачев) на ситуацию в современной литературной критике, можно сделать вывод о том, что с конца 1990-х годов мы имеем дело с процессом *парадигмальной смены типов литературно-критического творчества*. Выделение и систематизация соот-

[1] Выделенные Б. Дубиным и А. Рейтблатом «два типа критического высказывания вокруг и по поводу литературы», которые реализуются «новыми филологами» и «новыми радикалами» [1] в новейшей российской критике, нам показались очень выразительными определениями для описания некоторых явлений в белорусском литературном пространстве.

ветствующих характерологических черт — предмет отдельного исследования[1]. Пока нас интересует общее движение критики от «эзопова языка» к «прямой речи» и перемещение критической полемики из сферы смыслов в сферу стиля [4], точнее — стилистики. По отношению к отечественной (и шире — восточнославянской) литературно-критической традиции *«этику жанра»*, таким образом, наиболее целесообразно рассматривать в комплексном ключе: в связке критериев смысловых (*этос* + *логос*) и стилевых (*логос* + *пафос*).

Компоненты упомянутой ранее формулы в неравновесном пространстве белорусской литературной критики начала XXI в. могут быть востребованы в качестве критериев истинности (*логос*), искренности (*этос*) и взвешенности (целесообразности) стратегии самоактуализации критики (*пафос*). Иначе говоря, они могут образовывать *«матричную» критериальную основу этической адекватности* того или иного жанра литкритики.

Если не поддаваться на «провокации» (не обращать внимания на стремление субъектов литературно-критического пространства величать самостоятельным жанром то, что есть его разновидностью/модификацией), жанровая палитра «экспертной» («профессиональной») литкритики выглядит аскетично:

— рецензия;

— статья (аналитическая, проблемная, обзорная, портретная и т. п.);

— эссе.

При очевидном росте востребованности литературной эссеистики «наивысшим жанром» современной литературной критики сами ее создатели считают «критический обзор актуального потока литературы» (С. Чупринин). Структурообразующий жанр критики «оперативного реагирования» — рецензия — тоже попадает под скромное обаяние эссеистики; нередкий итог — «слишком мало информации, слишком мало анализа и слишком много ничем не обоснованных оценок» (Б. Менцель).

Известный российский исследователь литературы, критик Н. Иванова уже по отношению к критике 1990-х указывала на изменение жанрового репертуара как реакции на конец литературоцентризма, который «естественным образом совпал с расцветом журнализма», на превращение критики в «прессу» [4]. Анализ современного литературного процесса в социологическом ключе позволяет сделать вывод о сущностном характере трансформации жанровой природы литературно-критических оценок: «Жанровые же сдвиги в литературе — всегда наиболее серьезные: они говорят об изменении структуры литературных коммуникаций» [1].

Для критики «торговой» (в нашем пространстве, впрочем, представленной минимально) оптимальные жанровые сдвиги в критике — редукция всех жанров до анонса и рекламной листовки (флаера). Отечественная критика журналистского типа отдает предпочтение коротким рецензиям, анонсам или эссеистическим заметкам, а в версии «гламурного трэша» — игривой аннотации и скетчу по мотивам окололитературной жизни. Расширение палитры в этом сегменте происходит за счет активности «новых радикалов», чей «ресурс — спецэффекты, чаще всего — «хорошо отрепетированный буран», как это называлось в давней пародии А. Архангельского, если получится — сенсация, в общем, не важно, вокруг чего и есть ли для нее повод, а не получается сенсация — литературный скандал (перечисляем жанры работы)» [1].

Обращение к сборникам белорусской литературной критики, вышедшим в 2000-х (книги Л. Алейник, З. Вишнева, Л. Голубовича, А. Кислициной, Ю. Са-

---

[1] Определенное движение в этом направлении было предпринято в работе:

«Утылітарная аксіялогія»: беларуская літаратура канца XX — пачатку XXI стагоддзяў у *рэтраперспектыве* тыпаў літаратурнай творчасці / І. Л. Шаўлякова-Барзенка // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. — Луцьк, 2010. — № 11. — С. 280—285.

пожкова и др.) позволяет говорить о том, что отечественная критика «экспертного» типа отдает предпочтение проблемным статьям, литературным портретам, литературно-критическим эссе, рецензиям. Причем и по отношению к этим жанрам можно говорить о явной тенденции к редуцированию, стяжению с одновременным «квантованием» текста: делением его на небольшие фрагменты. Кроме того, в реестр жанров «экспертной» критики можно с определенными оговорками включить очерки, заметки, диалоги.

Чрезвычайно интересный, на наш взгляд, подход к дифференциации жанров критики предлагал еще в 60-х годах XX в. литературовед, философ, критик М. Поляков в книге «Поэзия критической мысли» (1968): в основу жанровой классификации закладывались структурно-композиционные соотношения литературного факта и проблематики. Например, жанровыми признаками рецензии являются авторитетность и монопроблемность. Соответственно, жанровую формулу рецензии мы можем представить следующим образом: факт + анализ + оценка. По нашему мнению, *«этика жанра»* начинается тогда, когда взвешиваются соотношения (на предмет целесообразности, уместности) тех элементов, которые и являются структурообразующими для того или иного жанра с учетом принципов, принимаемых во внимание профессиональным сообществом по отношению к любому жанру критики.

К числу таких базовых принципов *«этики жанра»* предлагается отнести:

- принцип постоянного становления (совершенствования): и жанровой системы, и критики как феномена;
- принцип этического обращения с аргументацией;
- принцип доказательности, обоснованности оценок;
- принцип «сочувствия» (во взаимодействиях «критик — писатель», «критик — критик»).

Функциональный аспект *«этики жанра»* связан с параметрами оценки и своего рода «оценочным потенциалом» того или иного жанра критики. Б. Менцель выделяет три основных формы критики, отличающиеся как по адресатам, так и по функциям (информация, рекомендация, полемика, интерпретация, обобщение) [9]. В данном случае *«этика жанра»* предполагает понимание всеми участниками коммуникации (но критиками — прежде всего) отличие в функциональных приоритетах, например, анонса (информирование), рецензия (рекомендация), проблемной статьи (полемика) или обзора (обобщение).

В подобной логике становится ясно, что «сенсацию», «скандал» или жанр «тусовочного стеба» (Н. Иванова) нецелесообразно рассматривать в поле *«этики жанра»* критики, поскольку они изначально не имеют отношения к ценностным и методологическим основаниям литературно-критического типа творчества (культурно-художественной деятельности). Иначе говоря, продуцирование и функционирование «гламурно-трэшевых» жанров подчинено принципиально иному, нежели жанры критики, целеполаганию: «рыночному».

Проблема «рыночных» и «нерыночных» жанров по отношению к белорусской критике последнего десятилетия, с одной стороны, подталкивает к размышлениям о статусе и сферах влияния «оценщиков» (К. Степанян) и критиков. С другой стороны, возникает вопрос о степени конвенциональности *«этики жанра»*: стоит ли вообще критикам договариваться с кем бы то ни было (даже между собой) и о чем бы то ни было (например, с «оценщиками»)?

В случае с белорусской литературной критикой утвердительный ответ на этот вопрос аргументируется с помощью обращения к «очевидным» особенностям *этоса* и *пафоса* отечественного критического дискурса. *Этос* объединяет и белорусских критиков и *почти*-критиков: «традиционалисты» и «авангардисты», «конформисты» и «нонконформисты», «профи» и «любители» (возможны различные комбинации) искренне и необратимо озабочены состоянием и перспективами белорусской литературы, утверждением (иногда через отрицание) ее уникальности, конкурентности, витальности и т. д. Само разнообразие *пафосов*

(например, в текстах критика и «оценщика», «консерватора» и «прогрессиста» — тоже возможны комбинации) активизирует поиски некоего конституирующего начала, с помощью которого указанные *пафосы* словно обретают вещность, легитимируются в смысле культурной значимости. Другое дело, что разнообразные (про)явления критического бытия существуют не в общем поле, но отмежевываются (группируются) внутри своеобразных «резерваций». Границы этих «резерваций» практически непроницаемы для взаимовлияний на уровне *пафосов* и даже *логосов* (присмотритесь, например, в этом аспекте к ЛитКритике.by и bookster.by), поскольку истоки (авто)сегрегации в данном случае отсылают к изначальному конфликту *этосов*.

Таким образом, уже на стадии проблематизации концептуально-методологического поля *«этики жанра»* выделяются несколько ключевых позиций, представить которые для ясности мы попытались в вопросно-ответной форме (не помышляя при этом о какой бы то ни было «катехизации» тех, кого заинтересовала *«этика жанра»*).

— Стоит ли говорить о возможности (и необходимости) существования противоположно направленных этосов в рамках «этики жанра» современной литературной критики?

Специфика новейшего литературного процесса, а также ситуация, в которой оказалась белорусская литературная критика после масштабного репутационного кризиса указывают на то, что преодоление этого кризиса возможно на основе хоть и *динамичного*, но *цельного этоса*. Коммуникативный разрыв в сообществе отечественных критиков во многом обусловлен конфликтом исходных установок (идеологических — в большей степени, эстетических, художественных — в меньшей).

Жанровый *этос* представляется нам той основой, той почвой, которая способна консолидировать разрозненные усилия по активизации литературно-критической деятельности. Реальные намерения реализовать (пусть и вне каких-либо «соглашений», «конвенций») эффективные личные творческие стратегии демонстрируют в последнее время молодые критики (каждого из них, кстати, можно назвать и исследователем литературы): Т. Чернекевич, Ж. Капуста, Д. Мартинович, А. Янкута. Их деятельность разворачивается в системе координат национально-просветительского *этоса*. Их тексты указывают на серьезную теоретическую подготовку, достаточную, чтобы обеспечить аргументированность *логосов*. Их критическое творчество обнаруживает необходимую контекстуальность мышления, позволяющую удерживаться в рамках уместности и не жертвовать актуальностью *пафосов*.

— Возможно ли выработать этические эталоны критических жанров?

Этический эталон того или иного литературно-критического жанра (рецензии, статьи и тем более эссе) — это если и не условность, то феномен явно конвенциональный. Поэтому эталон наиболее целесообразно представлять через систему принципов, реализация которых и является условием существования *«этики* (конкретного) *жанра»*.

Так, если абсолютной ценностью считать сохранение культурной памяти (М. Розов), то в качестве ключевой ценности *«этики жанра»* можно рассматривать сохранение «генофонда жанра». Например, литературный обзор должен сочетать панорамность, контекстуальность взгляда на процесс определенного временного периода со стереоскопичностью (ценностной, эстетической, художественной) осмысления конкретного литературного факта (произведения, события, явления).

— Возможно ли выработать в рамках «этики жанра» определенные «рамочные правила» коммуникации[1]*?*

[1] Наподобие принятых в риторике: не следует смешивать факт/оценку факта (то есть объективное/субъективное), существенное/несущественное и т. д. [5, с. 140—141].

«Этика жанра» для белорусской литературной критики второго десятилетия XXI в. оказывается, как ни парадоксально, «утилитарной этической системой» [19, с. 36]. Причем формулировать ее можно с помощью категорий *негативной этики*. Это словосочетание в философии имеет не менее четырех значений [2, с. 690—691]. Нас оно интересует прежде всего в связи с тем, что позволяет сформулировать для критики *«этику жанра»* не в номинациях долженствования (то, что должно быть). Интересно, что в социологическом контексте (например, в рассуждениях М. Вебера) конвенция может рассматриваться как внешняя регулируемость поведения посредством неодобрения отклоняющегося поведения. Поэтому в рамках *«этики жанра»* литературной критики мы как бы договариваемся о том, чего *не должно* быть, от чего *стоит воздерживаться*.

— Стоит ли выделять в особую группу «внеэтичные» жанры?

«Внеэтичных» жанров в белорусской литературной критике не существует: есть жанры «внекритические», по тем или иным причинам выдаваемые за критику, вроде очно-заочной полемики на литературные темы в блогах. Скажем, осмысливать обсуждения в блогосфере лонг- и шорт-листов премии имени Ежи Гедройца (пик пришелся на конец 2012 — начало 2013 годов) в логике *«этики жанра»* и даже в системе координат «этики критики» контрпродуктивно. Поскольку коммуникация, которая разворачивается по законам демонологии[1], не имеет отношения к критике как типу творчества.

— Стоит ли говорить по отношению к критике традиционной (например, «толстожурнальной») и интернет-критике о двух «этиках жанра»?

Интернет-критика почти всегда — полилог [6]; по замечанию Н. Ивановой, сетевая критика лишена красоты цельного литературного высказывания. Внешне присутствие белорусской литературной критики в интернете чем-то напоминает vers conversation («стихотворение-разговор»): пожалуй, смысловой самодостаточностью отдельных фрагментов и подчеркнутой необязательностью, случайностью их сцепления в полемическое лоскутное «одеяло».

Впрочем, нам импонирует точка зрения С. Чупринина, который говорит о том, что интернет — это среда, а не форма жизнедеятельности критики.

Эта среда, как нам кажется, только наводит «тюнинг» на критику: требования эргономики (объем текстов, усложненность высказывания и т. п.) иногда ошибочно принимаются за стратегические приоритеты. Суть критики — «логизировать» жизнь литературы, налаживать «причинно-следственные связи», без которых литература не имела бы «выраженной динамики существования, формы *процесса*» [6], — сохраняется в любой среде. Иначе это не критика, а (в лучшем случае!) ее «начальная школа» — литжурналистика [16]. На наш взгляд, «этика жанра» и у традиционной, и у сетевой критики одна; другое дело, что разнятся иерархические структуры их жанровых систем.

* * *

Предложенные размышления стоит воспринимать не столько как ответы на вопросы, сколько как приглашение к обсуждению *«этики жанра»*.

Тем не менее, уже сейчас наиболее существенными *условиями* использования ее ценностного и методологического потенциала нам представляются:

- существование жанрового *этоса* как динамичной целостности;
- признание базовых принципов *«этики жанра»*;

---

[1] Забавно, что один и тот же «актор» (например, «персонаж»-критик) в различных этико-эстетических «резервациях» (группах) может в границах одного конфликта восприниматься то как посланец «света», то как «исчадие ада» — словом, как Лада Алейник в некоторых локальных стычках белорусского сегмента ЖЖ-пространства.

• сохранение относительной устойчивости структуры *«этики жанра»* как системы;

• историчность по отношению к критериям и механизмам актуальных литературно-критических оценок;

• достаточный уровень профессионализма «акторов» (действующих лиц) литературно-критической коммуникации: они должны понимать, о чем договариваются (например, иметь четкое представление о структуре и функциональных особенностях разных жанров, проще говоря, отличать рецензию от анонса, заметки и т. д.).

Препятствия на пути формирования *«этики жанра»* как ядра (*самости*) новейшей белорусской литературной критики — это своеобразный «негатив» перечисленных выше условий:

• усиление поляризации, рост количества этико-эстетических «резерваций» внутри и без того условно-целостного отечественного литературного пространства;

• превалирование в современном БелКрите индивидуальных *пафосов* над профессиональным *этосом* сообщества;

• обмен своеобразными «минус-влияниями» между критикой традиционной и сетевой; в результате — экспансия поверхностных суждений, отказ от этического использования аргументации, недостаток аналитичности, усиление тенденций к графоманской избыточности;

• неопределенная филологическая компетентность части персонажей критического дискурса с агрессивной стратегией самоактуализации в литпространстве.

Как бы там ни было, *«этика жанра»* предлагает отечественному литературно-критическому сообществу тот же способ/шанс (вы)жить, который получили в романе И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок» предприимчивые «дети лейтенанта Шмидта»: заключить конвенцию.

Четко представляя реальные шансы на успех подобного предприятия, *tut/тут* предлагаем всем заинтересованным сторонам продемонстрировать принципиальную верность родным традициям культурной коммуникации: начать с того, чтобы *договориться договариваться*.

Литература:

1. Дубин, Б. Литературные ориентиры современных журнальных рецензентов / Б. Дубин, А. Рейтблат // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.rl-critic.ru/new/newcrit.html/. — Дата доступа: 03.04.2013.

2. Гусейнов, А. А. Философия — мысль и поступок : статьи, доклады, лекции, интервью. — СПб.: СПбГУП, 2012. — 840 с.

3. Зоркая, Н. Литературная критика на переломе эпох / Н. Зоркая // НЛО. — 2004. — № 69. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2004/69/. — Дата доступа: 12.04.2013.

4. Иванова, Н. Между: О месте критики в прессе и литературе / Н. Иванова // Новый мир. — 1996. — № 1. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1996/1/. — Дата доступа: 10.04.2013.

5. Клюев, Е. В. Риторика : Учебное пособие для высших учебных заведений / Е. В. Клюев. — М. : ПРНОР, 2001. — 272 с.

6. Кузнецова, А. // Это критика. Выпуск 2 (08.05.2003). — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.russ.ru/krug/20030508_kritika.html. — Дата доступа: 07.04.2013.

7. Кукулин, И. В. Программа дисциплины «Мастер-класс по литературно-критическому письму» для направления 031400.62 «Культурология» — подготовка бака-

лавра / И. В. Куклин. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://do2.gendocs.ru/docs/index-409308.html. — Дата доступа: 10.04.2013.

8. Мацько, Л. І. Риторика: Навч. посібник / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. — К.: Вища шк., 2003. — 311 с.

9. Менцель, Б. Перемены в русской литературной критике. Взгляд через немецкий телескоп / Б. Менцель // Неприкосновенный запас. — 2003. — № 4 (30). — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nz/2003/4/. — Дата доступа: 15.04.2012.

10. Можейко, М. А. Хюбрис / М. А. Можейко // Новейший философский словарь : 3-е изд., исправл. — Минск : Книжный Дом, 2003. — С. 1165—1166.

11. Можейко, М. А. Этика / М. А. Можейко // Новейший философский словарь : 3-е изд., исправл. — Минск : Книжный Дом, 2003. — С. 1240—1242.

12. Рождественский, Ю. В. Теория риторики : Учебное пособие. — 4-е изд., испр. / Ю. В. Рождественский. — М. : Флинта; Наука; 2006. — 512 с.

13. Рудалев, А. В ожидании критики / А. Рудалев // Вопросы литературы. — 2007. — № 4. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://magazines.russ.ru/voplit/2007/4/. — Дата доступа: 30.04.2013.

14. Третьяков, В. А. Проблема литературного и металитературного дискурсов в современной теории : диссертация... кандидата филологических наук : 10.01.08 / В. А. Третьяков. — М., 2009. — 136 с. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.lib.ua-ru.net/diss/cont/392754.html/ — Дата доступа: 20.02.2013.

15. Фролова, И. В. Мастерство литературного критика: Учебное пособие / И. В. Фролова. — Улан-Удэ : Издательство Бурятского университета, 2010. — 86 с.

16. Чупринин, С. Граждане, послушайте меня / С. Чупринин. — Знамя. — 2003. — № 5. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://magazines.russ.ru/znamia/2003/5/. — Дата доступа: 04.05.2013.

17. Шаўлякова-Барзенка, І. Л. Беларуская літаратурная крытыка 2000-х: «рэпутацыйны» крызіс / І. Л. Шаўлякова-Барзенка // Спадчына І. Я. Навуменкі і актуальныя праблемы літаратуразнаўства: зб. навук. артыкулаў / рэдкалегія І. Ф. Штэйнер (гал. рэд.) [і інш.], М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ўн-т імя Ф. Скарыны. — Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2012. — С. 188—192.

18. Шаўлякова-Барзенка, І. Л. Найноўшае беларускае літаратуразнаўства: асноўныя тэндэнцыі і вынікі развіцця ў 2000-я гг. / І. Л. Шаўлякова-Барзенка // Восьмыя Танкаўскія чытанні : матэрыялы Міжнар. навук. канф., г. Мінск, 13—14 верас. 2012 г. / Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка; рэдкал. В. Д. Старычонак, І. М. Гоўзіч, А. П. Жыганава і інш.; адк. рэд. В. Д. Старычонак. — Мінск: БДПУ, 2012. — С. 207—210.

19. Шрейдер, Ю. А. Лекции по этике: Учебное пособие / Ю. А. Шрейдер. — М.: МИРОС, 1994. — 136 с.



С точки зрения рецензента

И божество, и вдохновенье!

Снова с Пушкиным

Постоянный читатель нашего журнала, прочитав этот подзаголовок, не преминет заметить: «Ну вот, опять Пушкин!» Год назад статья этого автора называлась «Кирпичом по Пушкину». Неужели Георгий Киселев не знает более современного авторитета в литературе, чье имя могло бы послужить своего рода отправной точкой для серьезного разговора о состоянии нынешней поэзии в Беларуси?

Ну почему же, знаю, и великих русских лириков, и наших национальных гениев. Но год назад имя Пушкина мне пришлось защищать от поэта, который осмелился спародировать Александра Сергеевича, а в нынешней статье я прибегнул к Пушкину как к основателю литературоведения и критического жанра в литературе, чьи оценки и суждения о творчестве современных ему писателей были настолько основательны и глубоки, что не потеряли своего значения и по сей день.

Стихи... Поэзия... Вдохновение... Складываются ли эти слова в логическую цепочку понятий, способных объяснить феномен существования такой стихии речи, которой подвластно выражение самых тончайших движений души, самых сокровенных надежд и мечтаний человека?

Может быть, другой порядок приведенных мной слов точнее выразит самую сущность этой языковой стихии, где созвучия играют первостепенную роль: вдохновение... стихи... поэзия?

Но всякий, кто когда-либо брался выразить свои чувства или мысли в форме стихов, знает, что вдохновение не всегда предшествует рождению стиха. Очень часто этот капризный гость или запаздывает, или не приходит вовсе, а твое стихотворение уже кто-то и где-то ждет: то ли газета, то ли журнал, то ли именинник, то ли юбиляр, то ли еще некое важное лицо, которое ты пообещал осчастливить поздравлением в стихах, и, конечно же, единственная она и неповторимый он.

Очень часто вдохновение, т. е. «...расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно, и объяснению оных» (А. С. Пушкин), появляется в процессе работы над стихотворением, а то и на завершающей стадии. И тогда сами собой возникают строки, которых ты никак не ожидал, которые кажутся тебе посланными свыше. Даже пары таких строк достаточно, чтобы стихотворение состоялось и превратилось в поэзию. Да что там — пары, даже одной строки, иногда даже одного точно поставленного слова!

В своей поэзии Александр Сергеевич расширил формулу вдохновения, соотнеся его с высшим состоянием духа, с вмешательством в творческий процесс Бога. Он приравнял вдохновение к Божеству:

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь!

Всегда ли мы, господа стихотворцы, беремся за перо с ясным сознанием, что мы хотим сказать, чтобы написанное нами было в согласии с Божьим

благоволением, с Божьим замыслом о нас, с собственной совестью, которое, как говорят, и есть вместилище самой высшей в мире силы и высочайшей мудрости? Готовы ли мы соединиться с Ним в нашем слове, нести за него ответственность не только перед людьми, но и пред Создателем, который наградил нас способностью к творчеству?

Попробуем совместно ответить на этот вопрос, читая и обсуждая поэтические книжки на русском языке, вышедшие из печати в нашей стране за последние три года. Оговорюсь, что это не весь урожай поэзии за это время, а только пять сборников стихов, которые показались любопытными сотрудникам журнала «Нёман» и чей интерес я тоже разделяю. В капле росы видно небо, а в пяти книгах — отечественный небосклон поэзии.

Господь — гарант творчества

А начну я статью не с книг, данных мне в редакции для рецензии, а с книжки, которая неизвестно как и когда появилась на моих полках, никем не даренная. И точно помню, что я ее не покупал. Но, видимо, таково было Божье предопределение о ней, что она рано или поздно должна была мне понадобиться. И это произошло через четыре года после ее издания. Открыл ее, как всегда я открываю книги стихов, — наугад. И сразу в точку, сразу в тему нашего разговора:

...снова эта песня за рекою:
боль, тоска — аж оторопь берет.
Но есть в ней сокрытое такое,
что и безголосый подпоет.

И пойдет каликой перехожим
в мир, где небо плещет через край
Осуди и покарай нас, Боже,
только эту песню спеть нам дай!

Эти строки из книги Николая Наместникова «Листопад исповедальный» (изд. И. П. Логвинов, Минск, 2008) задели во мне какой-то чуткий нерв, по-новому осветили тугой проблемный треугольник: автор — творчество — Бог.

Сколько на эту тему написано прекрасных стихов, где Бог призывается и как гарант творчества, и как его высший судья, но здесь несколько иное. Автор смиренно молит Творца дать ему время и силы, чтобы не свою песню сочинить, а только подпеть той, что слышится за рекой, не им созданной, но и не чужой, поскольку отвечает на нее сердце. В этом истинное смирение христианина, который все объективно прекрасное на земле ценит выше своего творчества.

И все детали в стихотворении подводят нас к мысли, что та песня за рекой сто́ит нашего полного отказа от собственного сочинительства, сто́ит нашего окончательного смирения перед Божьим изволением: безголосый, «калика перехожий», то есть нищий странник, по сути лирический герой стихотворения, отказывается от себя, от своей творческой воли, от счастья ради возможности спеть вместе с другими прекрасную песню, автором которой может быть сам народ. Такое смирение можно назвать христианским.

И тут возникает вопрос: всегда ли уместно ставить между собой и миром защитную стенку собственного сочинительства, уходить в дебри своего сознания, в хитросплетения слов? Не лучше ли просто оглянуться вокруг и восхититься красотой Божьего мира?

Восприятие жизни открытым для радости, незамутненным собственной психикой зрением оборачивается либо открытием, либо новым углом зрения на уже привычное и примелькавшееся.

Дышит теплом весна,
Капли стучат монотонно.
В строгой оправе окна
Высветлен лик Мадонны.

Всего лишь обычная улица,
Ничем не приметный апрель.
И чудом земным любуется
Безвестный еще Рафаэль.

Так пунктирно обозначил состояние максимальной открытости миру Алексей Мартынов («Арт — деко», непроза. Минск, изд. И. П. Логвинов,

2010). Это любование чудом, открытие небесного, неземного во вполне реальной земной женщине. Автор здесь не называет по имени то высшее творческое начало, по чьему образу и подобию все мы созданы, но оно как бы подразумевается в самом этом акте любования «чудом земным».

И в миг предельного отчаяния и наивысшего напряжения всех духовных сил кого мы призываем на помощь, когда вблизи не на кого опереться?

Нерв трассирующих строк упокой,
Гнев, тонирующий страх, отведи,
Дрожь грассирующих букв под рукой,
Неба трущих ткань... Господи!

Дней стареющих мороку прости.
Лет, дрейфующих в закат, огради,
Боль, штрихующую смысл, нести
Несгорающим крестом на груди.

Здесь Бог понимается как высшая нравственная опора, без которой человек слаб и беспомощен, без которой он просто раб страстей. Именно в таком смысле призывает Господа в свое творческое волеизъявление Ольга Переверзева («Амальгама судеб», Минск, «Ковчег», 2010). Я пока не касаюсь техники выше процитированных строк, мне важен только их духовный вектор. А он, мне кажется, объединяет всех авторов в стремлении обеспечить своим стихам высшую достоверность, крайний предел переживаний, дальше которого уже только Господь.

Богом поверяем себя и в искренности наших чувств, Богом прощаем, на Бога отпускаем от себя самых близких и любимых.

Уже потерям несть числа.
Подсчитывать — пустое дело.
Как в голубые зеркала,
В печаль бездонных глаз глядела.

Копить обиды?.. Бог простит!
В короткий миг вливалась вечность.
Живительных надежд в горсти —
Пред тем, как в Путь умчаться Млечный.

Дарил глоток... И пусть свела
Уста отчаянная жажда,
Но все равно — любовь была!
А остальное все — неважно!

Эти стихи принадлежат перу Елизаветы Полеес, чья книга «Не приучай меня к себе...» (Минск, «Ковчег», 2011) сейчас раскрыта передо мной на 132-ой странице. Простые строки, в которых все ясно и понятно, никаких хитросплетений слов, ни малейшей позы, ни капельки лжи, а как они трогают сердце! Невозможно удержаться от того, чтобы не похвалить поэта за такое бережное отношение и к слову, и к питавшему его чувству.

Мы с Вами, читатель, бегло просмотрели три книги наших минских авторов, людей уже достаточно зрелых, с немалым опытом и личной и социальной жизни, которые состоялись в своих профессиях и призваниях. Вот, к примеру, Ольга Переверзева — автор статей и эссе по психологии социума в республиканской печати, а Алексей Мартынов еще и бард и художник. Для всех это книги не первые, а вторые или даже третьи, отражающие определенный этап судьбы, конкретный отрезок бытия. Я не читал их первых книг и не могу проследить эволюции их талантов, но и по очередным книгам их можно сделать вывод о том, что каждый из них имеет право на выход к читателю и на его благосклонное внимание.

Нет, не ошибся я, доверившись первому впечатлению, и нынешние авторы дают мало поводов для критического раздражения. Хотя у каждого есть своя ахиллесова пята. Но, право, надо еще хорошенько подумать, прежде чем эти пяты пощекотать.

Стоит ли?

Каждый поэт из тех, чьи книжки сейчас открыты передо мной на столе, по-своему хорош. Ну кто-то, может быть, излишне заборматывается, уходит в дебри словесных джунглей, кто-то сознательно набрасывает на себя тогу гениальности, из-под которой светятся прорехи гордыни. Но в целом каждый поэт самобытен (я и к женщинам, пишущим хорошие стихи, применяю этот термин мужского рода, слово «поэтесса» воспринимаю как салонное и слащавое) и у него за некоторыми издержками оригинальничанья есть что сказать читателю.

Да ведь и те авторы, для кого русская речь или родная или более естественная, чем белорусский язык, тоже небесталанны.

Я имею в виду и Елену Свечникову, и Владимира Василенко, с творчеством которых я знакомил вас в статье «Кирпичом по Пушкину». Просто каждый из них, развиваясь самостоятельно и наощупь в мире поэзии, без поддержки и помощи доброжелательной критики порой теряет из виду конечного потребителя своих откровений: ищущего и вдумчивого читателя.

«Я любви своей растратчица»

Но оправдывают ли нынешние русские поэты Беларуси ожидание читателя? (Признаюсь, меня коробит это слово «русскоязычный» в применении к писателю. Оно звучит как-то даже оскорбительно, намекая на некую ущербность человека, не владеющего языком образующей государство нации в той мере, чтобы на нем выражать свои мысли. Ориентация своего творческого сознания в двуязычном культурном поле — вещь сложная. И в нашей республике есть и были прекрасные поэты, для кого русский язык — не столько родной, сколько избранный в соответствии с психическим складом, с ориентацией в культурном пространстве и личной судьбой. Речь о них пойдет ниже. И еще хочется заметить вот что. Ведь не называем же мы белорусских поэтов «белорусскоязычными»! Человек, пишущий стихи на русском языке, является русским поэтом, где бы он ни жил. Это мое глубочайшее убеждение.)

Так что же именно ждет читатель, открывая книгу стихов незнакомого автора? С таким вопросом я обратился к одной близкой мне читательнице, вкусу которой в области поэзии я бесконечно доверяю.

— Встречи с интересной личностью, которая видит мир несколько не так, как его вижу я, — ответила она, немного подумав.

— Значит, Вы ожидаете открытия, новой точки зрения на то, что Вам хорошо известно? — уточнил я.

— Да. Можно сказать и так, — согласилась она. — А еще меня поражает иногда в стихах незнакомого поэта совпадение его мыслей с моими. Я тоже так думала, и он это каким-то образом сумел угадать и выразить точно и красиво.

— То есть сумел сформулировать Вашу мысль, придумал выражение, которое оказалось вместилищем и Вашего чувства?

— Да, именно так. Вот этот момент узнавания своего, выстраданного или передуманного в отличной, выразительной форме — это очень важно для того, чтобы книжка понравилась, а имя поэта запомнилось.

— А какого плана стихи Вам больше всего по душе? О природе, о творчестве, об искусстве, о чести, долге?

— Вы нарочно не произносите самого главного слова? О любви, конечно, о любви. Если в книге нет стихов о любви, то их автор, какой бы профессионал он ни был, не состоялся в жизни в основном призвании. Ведь призвание человека любить и быть любимым. Все остальное производное от этого. Напомню Вам слова апостола Павла из первого послания коринфянам: «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто». А если человек не состоялся в любви, то, я считаю, все его сочинения — это дом, построенный на песке.

Под воздействием этого разговора начал я перелистывать лежащие на моем столе книги, по-новому осмысляя прочитанные накануне строки. Собственно говоря, книги поэтов-женщин Елизаветы Полеес и Ольги Переверзевой — это глубоко личные дневники в стихах и читаются залпом, как любовные романы. Уже по одному только этому свойству их место в дамских и студенческих сумочках, и если бы этим книгам дать хорошую рекламу, то их тираж во много раз превышал бы их куцые издания в пятьсот (первая) и двести пятьдесят (вторая) экземпляров.

Полистаем-ка на досуге карманного размера книжечку Елизаветы

Полеес с таким эмоционально мучительным названием «Не приучай меня к себе...» Уже само это название как бы предрекает то состояние внутренней непоправимой тревоги и сердечного смятения, которые свойственны для душевной жизни женщины, познавшей всю оборотную сторону самого жгучего человеческого чувства. Раскроем наугад книжечку и прочитаем:

Я любви своей растратчица.
Ничего не сберегла.
За спиною робко прячутся
Два обугленных крыла.

Не взлететь мне с тихой песнею,
Не добраться до небес.
Высь пугает неизвестностью,
Угрожает темный лес.

Что ж ищу на светлой зорюшке,
Снова память вороша? —
День, когда, не зная горюшка,
С ветром спорила душа?

Чудный сон, в который верила?..
Я давно за боль утрат
Расплатилась полной мерою.
Ты ни в чем не виноват.

Невеселый итог жизни души, честное признание самой себе в катастрофе любви, и какое мужество, какая жертвенность: всю боль за трагедию двоих принять на себя! Ты в ни в чем не виноват, виновата только я одна! И какая точность слова! Ни одного слова для прикрытия своей боли от постороннего и равнодушного взгляда, наоборот — предельная, почти исповедальная незащищенность, и она рождает у читателя ответное сочувствие.

Автор доверяет своему читателю. Доверяет его сострадающему сердцу, призывает его на ответное доверие.

Разбросала себя, распылила
На ненужные встречи и споры.
Не того — по ошибке — любила,
Не о том я вела разговоры.

Разменяла судьбы тихий омут
На сюжеты, на строчки, на темы.
Жизнь считала простой аксиомой,
Да пришлось разбирать теоремы.

Раздарила легко, разметала
И надежды, и нежность, и чуткость...
На дорогах, где счастье искала,
Незабудки цветут, незабудки...

Искренности высказывания легко прощаешь мелкие огрехи, даже эту весьма условную рифму «чуткость — незабудки», которой состояться мешают совершенно различные окончания.

Но я возвращаюсь к мысли о верховной сущности над нашим миром, к кому обращаются за поддержкой и утешением все обделенные счастьем и неутешенные любовью. На него, на Бога, мы уповаем, когда уже не на что надеяться, через него прощаем обидчиков, говоря: «Бог простит!» или «Бог с тобой!», как бы передавая ему эту прерогативу миловать и прощать, а сами между тем, оставаясь в тени *непрощения,* призываем Бога в свидетели душевного смятения или очередной несправедливости на нашем жизненном пути. Как говорит пословица: «Без Бога ни до порога».

Милый мой! Бог с тобой!
Улетай из клетки!
Сизый дым — не любовь.
Птица — не наседка.

Милый мой, мы родня
До вечерней зорьки,
До заката огня,
До печали горькой.

Уходи! Улетай!
Ничего не требуй!
Там, где был ты, — беда.
Хорошо — где не был.

Милый мой, бывший мой,
Ветреный, горячий,
За прощания слезой
Сердца боль не спрячешь.

Поэт, а уж поэтка (по-белорусски) тем более, существо влюбчивое, порой замещающее вдохновение влюбленностью и наоборот. Собственно, два эти состояния схожи, граница между ними так зыбка и условна. И там и тут человек чувствует некую окрыленность, приподнятость над буднями, и там и тут вспыхнувшие душевные силы позволяют воспринимать мир

необычайно остро и быстро выполнять то дело, на которое в обычном состоянии надо потратить многие часы, а то и недели напряженного труда. Поэтому у иных творческих натур возникает маниакальное стремление именно к этому состоянию, и они не могут придумать ничего лучшего, как постоянно культивировать в себе влюбленность. Берегитесь поэтов, уважаемые читатели! Они в вас могут влюбиться только для того, чтобы писать стихи...

Поэтому не ищите за образом лирического героя какой-то один конкретный персонаж, вдохновлявший поэта на протяжении всей его творческой жизни. За его обращением к любимому человеку через местоимения «ты», «он» или «она» стоят совершенно разные объекты его чувств. Между одним «ты» и другим могут стоять десятки лет и совершенно разные местности, и уж тем более совершенно разные люди.

Я это пишу не для осуждения поэтов, не для того, чтобы свергнуть их с пьедесталов исключительности и лишить уважения читателей. Какое нам в сущности дело, кого любил поэт, по ком страдал, сумел ли он дать счастье предмету своего обожания! Главное, что ему удалось написать это:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

«Его храни, мой Боже!»

Тема размена судьбы на мелочи существования, любви на влюбленности, прозвучавшая в поэзии Елизаветы Полеес, находит новое воплощение и в стихах Ольги Переверзевой.

На булавки миллион
Разменяла,
Не спросила, мил ли он,
Разве мало,

Что любил, пока любил?
Еле слышно
Сердце, выкрав, загубил
Третий лишний.

Падал на пол гребешок —
Обмирала.
Душу, знал ли ты, дружок,
Отбирала

И любила — был лишь час.
Разве много?
Бес попутал. То ли спас
Равный Богу.

Вроде о том же, да не совсем. И вместо двоих, тут уже третий лишний. И любила-то горемычная всего лишь час. И действительно — разве это много? Но все эти подробности входят в нас на уровне информации, не задевая сердца. Ну нет ни одного обращения к чувству читателя. Слишком «умственные» стихи, да и ритмическая клетка их столь тесна, что негде чувству-то и поместиться. А вот кто такой равный Богу? Это вообще загадка. Кого автор имел в виду? Уж не падшего ли ангела, только возмечтавшего быть равным Богу? Я не хочу здесь ударяться в теологию и комментировать Божественное Писание. Но горе человеку, если его спасает не Бог.

Еще почитаем Ольгу. Может быть, мое первое впечатление от ее поэзии обманчиво?

Да кому нужны твои букеты?
Вежливое «здравствуй» и конфеты,
Дорогих духов флакончик с бантом,
Речи то по Фрейду, то по Канту,
Как собачий выгул, встречи в парке,
Вдруг моей родне — твои подарки
И не чушь, но модную, — билеты,
Чуть ли не по Библии советы,
И готовность вечно улыбаться,
Если нужно, даже рассмеяться?
Ты же просто, как один словарь толковый!
Тьфу ты, Господи, не надо мне такого!

Это тебе не просто — «Бог с тобой! Ступай себе мимо!» Здесь же рядом с обращением к Богу плевок огорчения, разочарования, пренебрежения по отношению к тому, кто дарил не только лирической героине, но и ее близким подарки. Уж лучше было бы чертыхнуться, чем так опрометчиво унизить священную для всех христиан личность!

Да, не каждый влюбленный цитирует во время прогулки своей визави

Фрейда и Канта! Да ведь, наверно, старался бедный малый соответствовать высоким духовным запросам своей девушки! И Библию не поленился почитать! Мало того, что букеты с конфетами таскал, что, конечно, ныне весьма дорогостоящее дело. Не оценила! Лично я на месте лирической героини присмотрелся бы получше к парню, и уж если не Фрейд ей нужен, а поцелуи и объятия, то я постарался бы дать ему это понять. И чем же так плоха широкая эрудиция парня, пусть даже на уровне толкового словаря?!

Думаю, что со мной согласится большинство читательниц этого стихотворения. Все дело, видимо, в том, что у плюнувшей вслед парню девицы не было к нему даже проблеска любви. Так бывает и очень часто. Мы любим, а нас нет. В таком случае рубить надо сразу, а не принимать до поры до времени цветы и дорогие подарки. Так что и с этой точки зрения наши симпатии не на стороне лирической героини.

Как видите, дорогие читатели, я не веду речи о стиле поэзии Ольги Переверзевой, обо всех аксессуарах стихотворной техники, о ритмике, рифме и т. д. Здесь с этим все в порядке. Автор демонстрирует высокий технический уровень. Рифмы порой просто блестящие, ритмы напряженные, как тетива натянутого лука, ни одного слова написанного всуе. О таком уровне мастерства многие поэты могут только мечтать.

Я веду речь исключительно о содержании стихов Ольги Владимировны. И не всех, а только тех, где ее лирической героине приходиться апеллировать в своей сердечной и житейской маяте к высшему разуму.

Небо — без Бога,
Руки — без хлеба.
Слезы — дорога
К солнцу из снега.

Надоба — в слове!
Сердце — берлога.
Злое — презлое
Небо без Бога!

Хочется спросить в итоге прочтения этой сентенции — ну и что? Лирического героя в стихотворении нет, сочувствовать просто некому. Кто видит небо без Бога? Чьи руки без хлеба, у кого не сердце, а берлога? В берлоге же кто-то должен обитать! Стихотворение-загадка. Красиво написано? Красиво. Но без души. А «солнце из снега» вызывает недоумение. Я догадываюсь, что речь идет о снежной дороге, но ритм дал автору подножку, и автор поскользнулся.

Еще из этой же серии рифмованной философии:

И свет один. И Бог един.
И мало истин не из тин.
И не души чтоб ни души!
И чтоб без лжи во ржи, без лжи...

И нет войны, чтоб без вины.
И нет вины вина войны,
И винных истин. Чтобы в клин
Тот свет один, где Бог един.

В этом стихотворении неясность мысли еще и усугублена авторским или корректорским недосмотром. Мне кажется, третья строка должна бы иметь такой вид: «И нет души, чтоб ни души!»

Я лично оторву от своей пенсии полмиллиона, чтобы премировать того читателя, который мне растолмачит это стихотворение, написанное вроде бы на русском языке, с соблюдением и орфографии, и синтаксиса, и знаков препинания, характерных для русской речи, но совершенно не по-русски с точки зрения смысла. Особенно замысловата строка: «И нет вины вина войны». Впрочем, и другие не лучше.

Энергично написано, технично? Да. Но этот ребус понятен, видимо, только самому автору. И вряд ли положение спасает упоминание Бога.

Приведя подряд четыре стихотворения Ольги Переверзевой, в которых то ли выбранный автором афористичный стиль, то ли боязнь проявить лирическую героиню женщиной слабой лишают стихи искренности и убедительности, я вовсе не стремлюсь доказать, что поэту неподвластна стихия любви. Вовсе нет. Там, где автор отрекается от предвзятости, от заранее придуманного афоризма, его ожидает удача:

Спаси его, разлука.
Пусть легкой будет ноша,
И поезда — без стука,
И день любой — хороший.

Помилуй нас, жестоких,
Его храни, мой Боже,
Он не из одиноких,
Я знаю, он — не сможет.

Прости ему обиду,
Она без злого яда,
Он крепкий только с виду,
Побудь с ним просто рядом.

Дай, Боже, что попросит.
Я отдала, что было.
И, видно, он не спросит,
Но ты скажи: «Любила»...

Все в этом стихотворении на месте: и обращение к Богу как к самой последней инстанции в любви оправдано, и подлинное чувство не застегнуто на все пуговицы, и нет боязни обнаружить свою слабость и беззащитность. И в наличии та самая жертвенность, которая отрицается самой себя во имя пользы любимого человека. И недосказанность хороша: «Я знаю, он — не сможет». Сами поразмыслите, что стоит за этим «не сможет». Стать одиноким, забыть предмет своей любви, стать счастливым?

Справедливости ради, напомню Вам, читатель, что пару лет назад в одной из статей я привел одно из стихотворений Ольги Переверзевой в качестве примера истинной поэзии. Есть оно и в сборнике «Амальгама судеб». Я его напомню:

Их разделяют три войны.
Но кровь — не шутка-то на деле:
Иваны оба, и видны
Две схожих родинки на теле.

И Ванька — внук, когда разбит
Курносый нос шпаною местной:
«Мне, дед, лишь родинка болит.
Мне и не больно, — скажет, — честно».

Великий Май, Парад Побед.
Под вечер все медали спрячут.
И Ванька-внук: «Где больно, дед?»
«Мне Родина болит». И плачет.

Я тогда не обратил внимания на грамматически неточно построенные фразы: мне родинка болит, мне Родина болит. Как знать, может быть, в той местности, где родилась Ольга Владимировна, именно так и говорят. Но в целом, эти стихи настолько жизненны, настолько питают патриотическое чувство, оскорбленное развалом СССР и 90-х, что подобных мелочей не замечаешь.

В этой книге есть еще два пронзительных стихотворения:

Он как румяный старичок
С дождливо-мудрыми глазами.
И крепко сжатый кулачок
Прижмет к губам. Он хочет к маме.

Он знает запах, белый цвет
Ее больничного халата.
И нет нежней, и мягче нет
Ее руки. Ушла куда-то.

Закрыты глазки. В тишине
Сопит уснувший человечек.
И вместе с птицей в вышине
Парит над мощью горных речек.

Ну вот и утро! Счастлив он!
И фея в белом так знакома.
И медсестра сожмет жетон:
«Отказ»... и данные детдома.

Второе стихотворение о мальчике-попрошайке в Германии. Вот предпоследняя строфа:

Его бросила русская мать.
Русский Бог, помоги ему, битте!..
Русских слез по ночам не унять,
И коленки, и сердце разбиты.

То есть, когда специалист по психологии Ольга Владимировна Переверзева от созерцания своего внутреннего мира обращается к миру внешнему, она видит в нем таких героев и такие события, которые способны взволновать нас, читателей, и вызвать наше сопереживание.

Я вовсе не хочу призвать Ольгу Владимировну отказаться от исследования человеческой души, от стихов о любви, от стихов, инициированных чтением умных книг, в том числе и поэтических (налет непреодоленной книжности на стихах О. В. Переверзевой все же есть), я просто хочу под-

черкнуть, что рисовать другие характеры намного сложнее, чем свой или близкий своему. Все мы, в сущности, пишем всю жизнь самих себя (подобный упрек обращаю и себе), а надо бы к людям, и рядом живущим, и к чужим приглядеться. О том, что не только неторопливой прозе, но и суетливой поэзии это доступно, как раз и свидетельствуют приведенные мной последние три стихотворения автора.

Не мной это замечено, я просто повторю чужую мысль, что все женщины-поэты позиционируют себя в энергетическом и стилистическом поле поэзии двух великих поэтесс прошлого века — Марины Цветаевой и Анны Ахматовой, осознанно или непроизвольно подражают им, и даже когда выходят на свою оригинальную стезю, все равно моделируют свои голоса в их неподражаемых интонациях.

Нетрудно видеть, что духовно и стилистически Ольга Переверзева тяготеет к мироощущению Марины Цветаевой, к волевому бескомпромиссному характеру ее поэзии, а нежная, не стыдящаяся слабости своей лирической героини Елизавета Полеес, будь это возможно, явно была бы подругой Анны Ахматовой. Впрочем и Елизавета Давыдовна способна иногда писать столь же кратко и афористично, в духе великой Марины:

Не виновна река,
Не виновен песок
В том, что я далека,
В том, что ты одинок.

Не виновна листвы
Золотая печаль.
Есть духовная высь
И духовная даль.

«На фоне арт-деко»

А теперь обратимся к стихам представителей сильной половины человечества, чьи избранные строки я процитировал в начале статьи. Тема наша остается той же: любовь и ее божественная ипостась, поднимающая человека над буднями и бытом.

Книга Алексея Мартынова «Арт-деко» издана красиво и даже изысканно. На обороте обложки — фото автора на фоне плаката с арт-выставки. На плакате — женщина в синем бальном платье с декольте. Полагаю, что автор был потрясен этой выставкой и перенес ее название на обложку книги. Подтверждает мою догадку и стихотворение с одноименным названием и с подзаголовком: каунасский сюжет.

Я погружаюсь в арт-деко,
в те странные года,
где — откровенно далеко —
я не был никогда.

Никто не знает наперед
удел грядущий свой,
где все разнузданно живет
меж Первой и Второй.

Но тает вечное «прости»,
колышется с дождем...
Я погружаюсь в этот стиль,
как заново рожден.

Где нет блуждающей молвы
и где я не умру,
где так же бронзовые львы
катают по шару.

Где колокольня, и музей,
и сквер, и водомет,
где за завесой многих дней
никто меня не ждет.

Но что-то важное в судьбе
ломается легко
там, где я нужен сам себе
на фоне арт-деко.

Даже по выбранному автором размеру стиха (нечетные строки — четырхстопный ямб, четные — трехстопный) видно, что автор не только не новичок в поэзии, но достаточно опытный стихотворец. Молодые, а тем более начинающие поэты не отваживаются писать столь кратким размером, потому что трудно овладеть строчками, в которых рифма следует через два-три слова.

Видимо, выставка столь потрясла Алексея Игоревича, что изменила многое в его мироощущении и в стиле его письма, потому что он почувствовал себя заново рожденным.

Можно назвать это стихотворение ключевым в сборнике, хотя оно и помещено не на первой странице, а где-то в середине.

Для недогадливых поясню, что строку «меж Первой и Второй» надо понимать так: «меж первой мировой войной и второй», в том временном промежутке, когда расцвел стиль «Арт-деко» в искусстве, архитектуре, мебели, обуви, одежде и автомобилях. Арт-деко был стилем роскошным, и считается, что эта роскошь — психологическая реакция общества на аскетизм и ограничения в годы Первой мировой войны.

Что же говорит о неизвестном мне авторе аннотация? «Книга избранных стихотворений минского автора, написанных в разные годы. Некоторые из них, положенные на музыку, любители бардовской песни могли слышать в авторском исполнении на концертах и в телевизионных программах в период возрождения этого музыкально-поэтического движения в 80—90 годы прошлого уже века...»

Как проявляет себя лирический герой его поэзии в отношениях с представителями слабого пола? Способен ли он на возвышенные чувства к ним?

Врожденная скованность жестов.
Герой средь толпы, да не тот.
Стесняюсь беременных женщин,
открытости чувств и забот.

Лицо строгой миной завесил,
струится мистический дым,
и скрытность моя бронзовеет
сплошным монументом литым.
По сути все верно наружно,
слова и поступки просты.
В восторге дурашки-дурнушки
кладут у подножья цветы.

Но тайно в глуши одичанья,
в провинции вздорных обид
глупею от шутки случайной
и плачу позорно навзрыд.

Автор довольно откровенно раскрыл внутреннюю сущность героя своей поэзии, находящую себе и внешнее выражение в скованности жестов и в сдержанности чувств.

Ну не рубаха-парень, всем понятный с первого взгляда и всеми любимый! Цивилизация и прошедший, видимо, достаточно горький опыт жизни в обществе, далеком от идеала, наложили свою печать и на внешность героя, и, главное, на его душу. Но явно она не заскорузла, не сморщилась от обид и оскорблений. Она еще жива, потому что обиды ей порой кажутся вздорными, и не чурается она тайных слез. Женщины в этой системе самоопределения героя названы дурашками-дурнушками. Видимо, их подкупает этот характер героя, названный автором бронзовым монументом, но монумент не оживает в ответ на их признания и цветы. Он, видимо, ищет и ждет свою Единственную.

Ради одного настоящего стихотворения
я купил книгу его стихов.

Ради одной настоящей Женщины
стоит прожить жизнь...
даже если она была
только фрагментом этой жизни.

А когда в жизни появляется эта самая Единственная, зачастую удержать ее в поле своего сердечного тяготения нет ни сил, ни возможности.

Опостылела немощность,
суета да поденщина.
Мне любить тебя — не на что,
мне забыть тебя — дешево.

...улыбаться, заискивать,
оступаться, пришаркивать,
на подмостках замызганных,
в интерьерах обшарпанных.

...упаси от усердия —
под заклад ради порции, —
снизойти до посредника
и продаться за полцены.

Беспородное скопище,
разоренное начисто.
Не картины — а копии,
Не стихи — а трюкачество...

Прошу прощения у автора, что я сократил это стихотворение наполовину, но и в таком виде оно красно-

речиво говорит о том, что автор и его герой, когда приходит эта долго ожидаемая Единственная, оказываются банкротами не только потому, что их одолевает нищета денежная. Но какую оправу могут они предложить своей Драгоценной? Замызганные подмостки, обшарпанные интерьеры, обед под заклад самого себя, копии картин и стихи, не дотягивающие до истинной поэзии, и внутреннюю немощность и собственную бездарность?

Можно ли этим удержать у себя настоящее чувство, не копию с Моны Лизы, а саму современную Мону Лизу?

Самое дешевое дело — расписаться в бессилии и бездарности и постараться забыть ту, что на время осияла своим Явлением нищий быт неуспешного творца. Разве можно читать эти стихи без сочувствия и без внутренней горечи? И невольно перед автором этой статьи пробегают картины собственных банкротств и утрат...

Но Моны Лизы с поэтами и живописцами не живут, и, может быть, это правильно. Самое удобное место для их обитания — это мечта художника, его идеал, к которому он всю жизнь стремится и, как умеет, воплощает в стихах и полотнах. Разделяют их творческую судьбу, их падения и взлеты, их неизвестность и признание совсем другие женщины, преданно заглядывающие в глаза своим избранникам, оберегающие их своим трудом от мелочей быта, а зачастую и от голода.

Ты не бей меня больно по роже:
я и так каждой встреченной бит.
Оттого мне свобода дороже,
чем сколоченный наскоро быт.

Мне твой мир интересен, но тесен.
Мы похожи, но есть и контраст.
Ты не пой мне пленительных песен —
я и сам в этом деле горазд.

Я не требую тихого рая —
даже очень потертый тщетой, —
просто будь со мной рядом, родная,
когда тело поладит с душой.

И часто эти женщины напрасно ждут от своего избранника благодарности и признаний, потому что он смотрит как бы сквозь них, словно сквозь прозу жизни, в ту романтическую даль, где обитает его идеал.

Я к вам волной тоски прибит,
я ваш должник — не обессудьте.
Но вряд ли что-то в вас польстит
Моей претенциозной сути.

Нас гавань тихая спасет
от перепалки, перестрелки.
И вы, и я — как бутерброд,
побывший на чужой тарелке.

Я обращаюсь к вам на вы,
Хоть становлюсь при этом пошлым.
Я не скажу вам слов любви —
я обронил их где-то в прошлом.

И все же нет-нет да опомнится бедный творец от наваждений ушедшей молодости, от беспочвенной мечтательности и оценит нынешний день и ту, что с ним рядом и в праздник, и в будни:

Так много мерзости,
но есть один совет:
проснулся — радуйся,
что видишь снова свет;

что жив, что чувствуешь,
где — лед, где — горячо,
и что любимая
сопит тебе в плечо.

Непросто людям с творческими амбициями, даже хлебнувшими неустройства и уязвимости в равнодушном к их судьбе мире, — очень непросто придти к пониманию простой и одновременно высшей мудрости в жизни: негоже быть в этом мире одному без дружеской опоры или плеча любимой. И причина для радости так проста: ты еще жив, ты еще видишь свет, ты еще можешь изменить свою жизнь к лучшему. И вся мерзость прошлого и настоящего меркнет перед этим светом.

Но нужно сделать в этом ясном осознании своей радости следующий шаг в направлении источника радости, не сиюминутной, зависящей от множества текущих обстоятельств, радости высшей, источник которой пронизывает, как солнечные лучи, все сущее на

земле. Источник этой радости и вне, и внутри нас. Имя ему Бог.

Мне импонирует лирический герой поэзии Алексея Мартынова: человек бывалый, потертый жизнью, многое в ней вкусивший, отчего в душе его осел горький осадок, много любивший и часто ошибавшийся, но сохранивший в душе некий стержень духовности и порядочности. Замечательна эта ирония несколько разочарованного в жизни человека, которая часто переходит в самоиронию. И юмор, ненавязчивый, приглушенный, рассчитанный не на смех, а на полуулыбку понимающего юмор человека. Его стихи и чаруют не бьющим в глаза интеллектом. Такого автора читать было для меня большим удовольствием.

Хотелось бы, конечно, чтобы инструментовка такой поэзии была более тонкой. Я имею в виду рифмы, которые порой не являются полными созвучиями. Такие, как «выстрела — вывеска», «крышами — крыльями», то есть, от налета евтушенковщины, которой все мы некогда переболели.

Однако надо отдать должное автору, большинство его рифм точные, а ассонансные рифмы поражают своей полнотой: «всполох — подсолнух», «сфинксами — с фикусом», «приличью — прилипчив», «ночи — полномочий».

В силу своего интеллекта и любви к русской поэзии Алексей Мартынов не мог пройти мимо исторического пятна на своей уважаемой фамилии.

Помню поименно всю семью,
кровною повязан эстафетой.
Вот несу фамилию свою —
ту, что на обложке книги этой.

Обижал кого-то, не прощал,
а теперь и сам прошу прощенья...
Лермонтова я не убивал,
но в душе как будто бы смущенье.

В этой последней строчке — самая выразительная черта его поэзии: смущение по поводу всего, в чем он виноват и не виноват. Смущение как выражение глубоко затаенной от даже вдумчивого читателя совести. Совестливость зачастую обнаруживает себя в деликатности, с которой автор касается любой темы, имеющей отношение к миру чувств и мыслей.

«Речь монастырская»

Тихий и скромный, но осознающий себя интеллект пронизывает стихи следующего фигуранта нашей статьи Глеба Артханова, творческое имя которого как бы соединяет два различных мироощущения: славянское, христианское — Глеб, и азиатское, восточное — Артханов.

Такое двоение ментальности в одном опознании личности через творческий псевдоним по задумке автора, видимо, должно означать широту его духовных координат, планетарную отзывчивость на все явления и достижения человечества в области Духа.

Посмотрим же, как это воплощается в его лирике.

Первая ипостась поэта Глеба Артханова ярко и выпукло проявляется в подавляющем большинстве его стихов. Наиболее открыто она звучит в стихотворении «Выборг»:

Нерусский город с русским населением,
Гранит, поросший среднерусской ивой.
Не думаю, что вы без сожаления
Луга сменили на морские нивы.

И обернулись тем последним олухом,
Непомнящим и Богом позабытым,
Что ляжет в землю у святого Олафа,
А не у церковки с окном разбитым.

На море и за морем не озлобились.
Заутрени воскресной перезвоны
Носить с собою тихо приспособились,
Как на груди нагрудные иконы.

Мы русские! Все вдохом этим сказано.
И попеченьем древним златоустским
Счастливо помним всех, кому обязаны
Служению быть вдохновенно русским.

Для читателей с помощью Википедии поясню: святой Олаф, король Норвегии с 1016 по 1028 годы, — один из самых почитаемых в Скандинавии общехристианских святых (почитается также на Руси). В России во имя святого Олафа были освящены храмы

в Новгороде (где он жил несколько лет), в Старой Ладоге, где он проездом гостил у посадника, и, как открывается в стихотворении, еще и в Выборге.

Как видите, для полного понимания развиваемой в стихотворении темы христианских святынь, пришлось провести историческое разыскание. Правда, после этого не все в стихотворении оказывается понятым до конца. К кому или чему относится в первой строфе это обращение: «вы... луга сменили на морские нивы»? Кто имеется в виду под упоминанием «последнего олуха»?

Из контекста можно предположить, что слово «вы» относится все же к жителям Выборга, но обращаться на вы (множественное число) к населению (единственное) — это просто грамматически неправильно.

Таких подобных не объясняемых автором ни в стихах, ни в примечаниях историко-культурных артефактов в его лирике немного, но однако же они затрудняют восприятие его творчества с первого же прочтения.

Раздор свежел, балуя гюйсами,
Рубахи рвал и бил крестами.
Мы по волнам вощились юзами
Промеж гранитными фортами.
На Балтике слеза гранитная...
Суровый постник, дерзкий трудник
Сынам на сердце беззащитное
Надели каменный нагрудник.

«Кронштадт»

Предлагаю самим читателям с помощью всякого рода энциклопедий или бывалых моряков разобраться, что такое «гюйсы» и «юзы» и как последними можно «вощиться». А вот слова «трудник» и «постник» человеку, хоть раз побывавшему в православном монастыре, — слова, очень даже близкие и понятные.

Но мне кажется, напрасно я с самого начала главки о поэте Глебе Артханове зациклился на требовании понятности и доступности поэтической речи любому, даже совсем неискушенному в поэзии читателю. А почему, собственно говоря, поэт, с радостью или муками рождая строки, должен все время держать в уме поправку на этого гипотетически равнодушного к поэзии человека и только ради него упрощать свои стихи до уровня примитивной общедоступности? Конечно, стихи пишутся не для элитарных представителей рода человеческого, не для высоколобых интеллектуалов. Хотя и для них тоже, если они имеют интерес к поэзии. Но поэт адресует свои рифмованные послания человеку, который развил в себе этот интерес до духовной потребности, без удовлетворения которой он чувствует неполноту своего физического существования. В последние годы я прихожу к выводу, что поэт пишет для избранных. «Много званых, да мало избранных», — вспоминается мне из Евангелия. От самого читателя зависит: причисляет ли он себя к этим избранникам поэзии, или глух к приглашениям поэта войти в духовный мир его образов.

Из всех поэтических книг из урожая прошлого года — книга Глеба Артханова «Зеркальный ковчег», изданная кстати в Санкт-Петербурге, — самая христианская, самая духоносная (не побоюсь этого библейского слова), самая деликатная в обращении со святыми в народном разумении символами и понятиями православия. Видно, что тяготение автора жить по вере — составляет самую суть творческих исканий Глеба Артханова в этом мире.

Пусть простит меня автор, что я для подкрепления своей мысли подвергну его стихи выборочному цитированию. Из стихотворения в одиннадцать строф извлеку только две:

Усердней помолимся, отче!
Худобы своей не жалей.
Отсюда до Бога короче,
Подале от страшных людей.

Опять монастырские тени
Затеплила вечная Русь.
Давно уж я стал на колени
И все о спасенье молюсь.

«Остров Коневец»

Но как ни важно мне в качестве подкрепления моей мысли это свидетельство православного исповедания автора, не могу удержаться от попутных замечаний. Все же слово «худоба»

стоит в неподобающем его общепринятому ударению месте и усеченная частица «уж» вместо полнокровной «уже», конечно, не свидетельствует о мастерстве автора. Так же как и слово «златоустский» вместо «златоустовский». Подобные огрехи, пусть и редко встречающиеся в стихах Глеба Артханова, говорят либо о том, что он занимается сочинительством поэзии любительски, либо о том, что на эти нарушения грамматики он идет вполне сознательно, считая их второстепенными и вполне допустимыми, не создающими помехи главной мысли.

Промелькнувшие в нашем сознании слова «трудник» и «постник», по всей видимости, вошли в стихи автора не из книг, не по наитию. Видно, что оба способа существования в православии он примеривал на себя, и, скорее всего, испытал, как говорится, на собственной шкуре. Иначе бы не родились такие стихи:

Надо на зимних держаться запасах.
Лед не пошел, и вода не открылась.
Мерзнет худая душа — нету спасу.
Шторм затянулся. Тепло припозднилось.

Нам до открытой воды продержаться.
Там — материк. И грешно там, и хлебно.
Даром, что братья не в меру постятся,
Но упираться сейчас не потребно.

...Будем терпеть. Не хватает горючки.
Будем молчать на заглохнувший дизель.
Мы при свечах разберем закорючки,
Что возвестил бывший мытарь на мызе.

«Остров Коневец»

Видно из этих строк, что автор не в качестве восторженного паломника перезимовал на острове посреди Ладожского озера в Коневском Рождество-Богородичном мужском монастыре. Еще более убеждает нас в этом следующее стихотворение этого же цикла, состоящего из трех стихов (снова предлагаю только фрагмент):

...Глина закисла и кровью и потом,
Лезо разъело раденье — не ржа.
Повеселит православных работа —
Вона еще на подходе баржа.

Известь и лес поскидаем, не баре,
А опосля и чухонский гранит...
Кесарям всем воздавали кесарий
И уходили в завьюженный скит...

Замечательна в этом стихотворении живая просторечная лексика работных людей российского Севера: раденье, ржа, вона, поскидаем, не баре, опосля. Этими словами поэт как бы лепит характеры основательных и немногословных мужиков, занятых артельной работой в монастыре.

В том, что монастырские раденья автора не являются блажью ищущего, чем бы себя заполнить, интеллектуала, говорит и это стихотворение, которое я не нахожу возможным сократить до фрагмента:

В монастыре глуховаты речения.
Теплится тихий глагол монастырский,
Будто лампадки далекой свечение
Путник приметил с дороги неблизкой.

Самому верному тихому голосу,
Самому верному — мы не послушны.
С черной ведет он на белую полосу.
Мы же по черной бредем равнодушно.

Мы — за стенами, как все оглашенные,
Мы равнодушны, мы немы и глухи.
Мы — оглушенные, мы — отрешенные.
Если и ждем, то костлявой старухи.

Братцы, уважьте и душу уставшую
Вы окуните в сияние светов.
Братья, услышьте мольбу просиявшую —
Речь монастырскую русских поэтов!

Хорошие стихи трудно комментировать. Да и надо ли? Умному да еще и верующему читателю все здесь абсолютно понятно.

В книге Глеба Артханова много замечательных и даже прекрасных стихов не только на христианскую тему, а также о родителях, о семье, о памятных местах, где вызревала душа поэта, о любви. Но все эти стихи вольно или невольно одухотворяет именно христианское мироощущение автора и особая, происходящая от смирения, деликатность в упоминании символов и реалий православной веры.

Как у всякого искавшего смысла жизни человека, а тем более у поэта,

не все там хорошо и ладно в прошлой, до обретения веры, жизни.

Как же так,
Как же так?..
Как же мы удержать не смогли?..
Позапродались мы за пятак,
А любили,
Что и умереть было впору.
Мы в разлуку случайную,
Словно в могилу легли,
И не свидимся больше,
И не надо пустых разговоров.

Как же быть?
Как теперь удержать на ветру
Эту куклу тряпичную,
Ту, что душою зовется?
А теперь я узнал,
Что совсем уже скоро умру
И последняя весточка,
Как паутинка, порвется.

Ничего
Мне не нужно уже от судьбы,
Поглядеть мне бы только
В случайную щелку у края,
Как засветятся рядышком
Весело наши гробы...
И как дальше,
Как дальше мне быть,
Я не знаю.

Конечно, последняя строфа больнее всего бьет по эстетике читателя, но надо пройти сквозь первое возмущенное неприятие, чтобы понять чувства автора, толкнувшие его к соединению в одном образе, казалось бы, совершенно несоединимых элементов: веселья и похорон.

По первому впечатлению строчка Глеба Артханова: «Как засветятся рядышком весело наши гробы» кажется эпатажной и не более того. И цель автора через нее эмоционально встряхнуть нас, читателей, обострить наше восприятие его стиха. Он, конечно, этой цели достигает. Но смысл этого оксюморона гораздо глубже: автор чает быть похороненным в один день с той женщиной, кому он эти щемящие предельной искренностью строки адресует. Вспомним окончания большинства русских сказок: они жили долго и счастливо и умерли в один день. Вспомним подобное завершение и народного сказания о благочестивой княжеской чете — Петре и Февронии Муромских, не только умерших в один день и час, но и положенным по преставлении Господу в один гроб. Вот чего хотел бы лирический герой этого стихотворения, и, видимо, с ним и автор, который понял всю тщетность своих земных упований («ничего мне не нужно уже от судьбы»). Вот какое последнее желание просвечивает сквозь эти исповедные строки!

Автор похоже совсем не боится слова «смерть» и понятия, им обозначаемого. Он и это небытийное состояние примерил на себя.

Я умер — узнали не скоро —
На юге в конце февраля.
Мятутся шторма в эту пору
Сквозь розовый дым миндаля.

...На ялтинском кладбище горном
Под сизую зелень огня,
В лазурь, в родовые просторы —
К отцу положили меня.

«Я умер...»

Смерть — последняя тайна для человека на земле. И как всякая тайна, она его томит и тревожит. Но разрешает эту тайну уже не человек.

Опять о главном говорить не смеешь.
Опять не смеешь и не говоришь.
Опять молчишь.
Немотствуешь.
Немеешь.
Потом опять немотствуешь.
Молчишь.

Но разве другу выскажешь за чаркой
О том, что смерти стал бояться вдруг?
Она с размаха ударяет жарко...
Но от тебя и сам таится друг...

Прихвачены на нитку, на живую,
Мы здесь укреплены едва-едва...
Уйти во тьму, в пучину мировую —
Какие безнадежные слова!

И шепчет только жаркий ком в груди —
И шепот холодит навылет спину —
О том, что полыхает впереди,
И что осталось меньше половины.

И как же иначе может быть для человека, укорененного в православии.

Люби и бойся Бога, помни о смерти, молись и не греши! Эти требования просты и грозны, но исполнение их дает покой душе и отрезвление от страстей.

Человек верующий, да еще и перевалививший рубеж пятидесятилетия, не испытывает иллюзий относительно длительности своего пребывания на земле. Тем более поэт. Каждое его стихотворение о милых сердцу уголках, где он живет или некогда жил, это по существу прощание с ними. Таких когда-то восхитивших его мест не так уж много. Это родины отца и матери, это место, где ты сам увидел свет, это те земные пределы, где ты состоялся как работник и гражданин, где ты любил и был счастлив.

Ялта,
Ялта моя!
Отчего же я плачу?
Кипарисы твои
Посгибались в снегу...
Я рукою махну и умчусь наудачу.
Сотый поезд сегодня
Уходит
В пургу.

«Запуржила метель...»

Сиваш, Севастополь, Херсон, Балаклава,
Вы в сердце моем, вы в сердце моем.
Добыта отцами и дедами слава.
О славе, славяне, споем!
О славе, славяне, споем!

«Крымский марш»

Крым — это родина отца Глеба. Север России им изучен и исхожен по свойству духовной близости и как точка приложения сил его в качестве архитектора и реставратора. Об этом говорят стихи, которые я привел в начале этой главы. И глубоко в душе теплится любовь к родине матери.

Белоруссия

Ушла на болота сестрица,
А там сон-трава и дурман
Очам не дают проясниться,
Слепит ядовитый туман.

Сомлела на диком болоте.
Зыбун и туман без конца.
И в мутной холодной дремоте
Увязло уже пол-лица.

Кричу в замутненные очи —
Пускай проясняется взгляд! —
Там ждет тебя истинный отче
И молится истинный брат.

На первый взгляд — простое стихотворение, но поразмыслив над ним, видишь, что оно сразу не открывается и над ним надо подумать, как над замком с секретом. Стихотворение многозначно и образно отражает отношение автора к земле, где живут родные ему люди через символы родства: «сестрица», «истинный отче», «истинный брат». В этом списке истинных людей нет уже ни матери, ни отца, ни других представителей рода, видимо, потому, что их уже нет на земле.

Мама, ты старухой не была,
А была ты как листок измятый,
Но во гробе словно ожила.
Надо лбом вощеной пахнет мятой.
С малолетства не такая ты...
Нынче ж проявляются так трудно
Польские фамильные черты,
Что с сестрою в нас живут подспудно.

«Мама, ты старухой не была»

Есть в книге «Зеркальный ковчег» стихотворение, в котором как бы спрессовано прожитое им детство, пришедшееся на крутые времена.

По Сибири катит голодуха,
Детский дом.
Война. Война...
Мама будто серая старуха,
По щепотке —
Хлебушек она
Крошит в тюрю вместе с сухарями...
Нету ей подмоги, все — сама.
Книжечку стихов меж букварями
Согревает тощая сума...

...На хрущевской стуже —
В хвост и дышло! —
Очередь за черною мукой.
Чтоб по килограмму в руки вышло,
Мы с сестрой — с протянутой рукой.
И тетрадки,
Синие тетрадки,
Сочинений целые пуды.
Как добыть училке на оладки,
Чтобы дети были не худы...

...Так и жили мы и не тужили,
А затужишь — ведь не напоказ.
Я ушел в пятнадцать, чтобы жилы
Мама не рвала бы из-за нас.
Мы учились,
Как она училась —
Уперевшись и наперекор.
Ничего нам с неба не валилось.
Смотрим трезво в небо с детских пор...

«По Сибири катит голодуха»

«Я ушел в пятнадцать» — в этом предложении не хватает дополнения «из дома». Такие недомолвки характерны для авторского стиля. В том же стихотворении: «мы с сестрой (стоим) с протянутой рукой». Но имеющий уши, да слышит! Но имеющий глаза и воображение, да видит!

Меня больше впечатляет последняя строка этого отрывка: «Смотрим трезво в небо с детских пор». Трезво — ведь это равносильно безнадежности, безверию. Между тем от большинства стихов этой книги просто веет христианством. Этот парадокс разрешается самим автором в послесловии к его переводу памятника мировой литературы, Бхагавадгиты, которая является частью великого индийского эпоса Махабхараты. Этот перевод занимает вторую половину книги.

Вот как объясняет автор побудительные мотивы своего обращения к восточному брахманизму.

«Продолжающаяся культурная деградация, похоже, бесповоротная, неудовлетворенность ценностями и целями социума тогда, двадцать пять лет назад, вынудили меня искать иных путей. Первоисточников истинных, а не навязанных политическими сектами.

Христианство, конечно, последняя инстанция, но молодо и имеет свои корни. Иудаизм мистичен и недоступен. Китайские философии и религии, хоть и чудесны, и экзотичны, а простоваты... Нашумевший в последнее время Карлос Кастанеда тогда не мог быть представлен читателю по понятным причинам.

Эти обстоятельства привели меня сначала в Египет, потом в Индию».

Последнюю строку не надо понимать так, как это понимают сейчас. В советское время такое путешествие можно было совершить только в воображении. Да и сегодня не все поэты имеют средства перевести виртуальное путешествие в реальное. Основной способ путешествия философа и поэта остается прежним — это книги.

Я попытался составить хоть какое-то мнение об этом капитальном труде Глеба Артханова, которому он отдал, по его собственному признанию, «несколько счастливых лет». Но мне не хватает ни компетентности в индийской философии, ни широты взгляда, неминуемо сосредоточенного на русской православной традиции, ни эстетического чутья к достоинствам нехристианского текста.

Да и просто нет времени продираться сквозь дебри брахманизма. Оставим кесарево кесарю, а этот перевод — специалистам-востоковедам.

Поэтому я поверю Глебу на слово, что ему удалось создать более точный и художественный перевод, чем перевод упоминаемого им академика Смирнова. Когда пером переводчика управляет пламенная любовь к исходному тексту, тогда несомненно упорный труд венчает удача.

От себя скажу, что мне прекрасно знакомы эти сладкие муки переводчика, когда добровольно, без понуждения со стороны взятая обязанность становится страстью, и нет от нее покоя ни днем, ни ночью. А всякая страсть, если она не проникнута ревностью в вере, отталкивает от Бога и порочна. Так я сейчас это понимаю, сам отдавший четыре года переводу двух книг Райнера Мария Рильке, издать которые я не вижу никакой возможности. Наверняка так же обстояло дело и у Глеба Артханова, который, отчаявшись дождаться внимания книгоиздателей в Беларуси, выпустил свой труд в России с помощью спонсоров, присовокупив к нему и оригинальную лирику.

Так и получилось: первая половина книги — может быть, помимо воли автора, христианская, вторая половина — индуистская, что никак не свидетельствует, что автор в полной мере разделяет мировоззрение индуизма. Творческий интерес к памятнику мировой литературы — это еще не исповедание

чуждой русскому человеку и вообще славянину чужеземной религии. Я так предполагаю, а что думает автор по этому поводу, — мне неведомо.

Вот где выстрелило ружье. Вот где аукнулась вторая половина авторского имени — Артханов. В этой тяге к Востоку, к его причудливым, как узоры на рукояти восточного кинжала, сказаниям и верованиям. В этом увлечении поэта индийским эпосом, видимо, и проявилась та всемирная отзывчивость русской души, та изумительная ее способность делать родным и близким все чуждое и далекое, которую современники отмечали и у Пушкина.

Книгу Глеба Артханова приятно держать в руках. Она не просто хорошо издана. Она издана со вкусом. Ценную изобразительную информацию о книге и ее авторе несут не только обложка, но и титульный лист и так называемые шмутцтитулы, чье оформление повторяет рисунок задней обложки. А на этой обложке фотография медальона с изображением святого великомученика Георгия-победоносца, по всей видимости небесного покровителя автора.

Как же так? — усомнится читатель, — Георгий и Глеб — разные имена. Но в выходных данных книги вслед за творческим псевдонимом автора стоит его настоящее имя — Юрий Игоревич Алексеев. А Юрий — это по сути то же, что и Георгий.

Великолепная книжка, насыщенная интеллектом и поиском смысла существования, названия которой мне разгадать не удалось. «Зеркальный ковчег» — что это? Символ хрупкости нашего земного бытия и непрочности стен, в которых плывем по жизни?

Штучная книжка, триста штук — весь ее тираж. Таким же «штучным» является и читатель этой книги. Вряд ли ее приобрела для продажи наша книготорговля. Вероятно, разошлась она только по друзьям и знакомым поэта. И самому мне удалось познакомиться с творчеством поэта по экземпляру, принадлежащему замечательной минской поэтессе Татьяне Лейко.

В книге всего семь посвящений и два из них озвучено именами Анатолия Аврутина (кстати, редактора книги) и Любови Турбиной, нашей московской белоруски.

И то хорошо, что есть эти люди, что еще есть на земле друзья и попутчики, кому хочется пожать руку. А путь наш до вечного привала уже не долог. Тот путь, на который мы когда-то на заре туманной юности в жажде подвига и славы встали и с которого нам, убеленным сединами, уже не сойти.

Клены лимонный рассыпали цвет —
Щедро рассыпали под ноги.
Русский, а, значит, последний поэт
Тайно взыскует о подвиге.

Каждый настоящий поэт вершит свой подвиг в одиночку и дарит его всем, кто к нему не равнодушен.

Конечно, это подвиг не монашеский, он не требует строгой аскезы и обязательного удаления от мира. Но разве легче творить его в миру, где бушуют страсти и одолевают искушения, где люди ждут от своего одаренного небом собрата духовной помощи? Ведь еще есть такие люди, для которых и поэзия, одухотворенная верой, — тоже глоток воды живой.

«Спасибо, стакан и кулак!»

И, наконец, я беру с почтением в руки самую весомую книгу из последнего литературного урожая под грифом на обложке: библиотека Союза писателей Беларуси. Книга приличного объема, почти в семнадцать печатных листов, о чем прежде прочитанные мной авторы могут пока что только мечтать. Валерий Гришковец. «Я из тех...». Избранное. Издательство «Харвест». 2012 год.

И объем книги, и ее оформление, и солидное столичное издательство, и патронаж Союза писателей, — все внушает уважение к автору и предрекает встречу с подлинной поэзией.

Моя старая читательская метода — читать выборочно и наугад.

Сколько солнца, весеннего солнца!
Солнце, солнце в моей голове!
Пью, склоняясь над ведром у колодца,
Солнце что-то бормочет в листве.

Это юности книга раскрыта,
Вечность в синих страницах поет.
У земли словно выросли крылья,
Мы летим! Не держите ее!

Пью, лицо в синеву запрокинув.
Солнце плещется прямо у глаз
И стекает на грудь мне, на спину.
Я, наверно, из солнца сейчас.

И легко, так легко, словно ветер,
Весь из золота и серебра,
Тронул сада цветущего ветви
И звенит в чистом горле ведра.

Я все пью, я все пью эту песню,
Я допью эту песню до дна...
С ней умру, и даст Бог, с ней воскресну,
Жаль вот — тише и тише она.

Стоило бы, пожалуй, разделить с автором его восторги по поводу и солнца в его голове, и раскрытой книги юности, и «чистого горла ведра». И автор избирает вроде бы такие детали и понятия, которые априори считаются поэтичными. Ну разве не поэтично сказать: «У земли словно выросли крылья»? А вот я, сермяжный, никак не могу этого представить: землю с крыльями. В космическом плане с этим еще как-то можно согласиться. Но ведь Валерий Гришковец всем подбором деталей — колодец, ведро, цветущий сад — создает зрительное впечатление понятия «земля» как места, где растут сады, живет и действует лирический герой. Так куда же будем прикреплять крылья: к земле, к колодцу или саду? А может, к дороге или полю? Налицо обычная поэтическая затасканная красивость, то есть литературный штамп. Само по себе упоминание крыльев еще не создает впечатления окрыленности лирического героя.

И вообще не слишком ли много солнца? И в голове лирического героя, и у его глаз, и на его груди, и на спине. Это обилие света так слепит читателя, что уже не видно и самого героя. И непонятно, что автор этим обилием солнца в одном человеке хочет сказать. Что в юности человек весь солнечный, то есть светлый в мыслях и чувствах? А вдруг он огненный от страстей, которых еще не научился побеждать? Автор же не делает никаких понятных выводов из причастности своего героя солнцу.

Сомневаюсь я и в подлинности ветра, который обращен автором в золото и серебро. Моей фантазии не хватает, чтобы это представить наяву. И не могу я вообразить горло ведра, вот горло кувшина — это пожалуйста!

Откуда ни возьмись, в последней строфе появляется песня. Ведь ветер, звенящий в ведре, это еще не источник песни. Вот, к примеру, что считал такими источниками немецкий поэт первой половины XIX века Йозеф фон Айхендорф (перевод мой):

Вот жаворонком воздух соткан,
Вот с гор ручей несет струю.
Ужель я с ними во всю глотку
И полной грудью не спою?

Согласитесь, что жаворонок и ручей — это все-таки более естественные источники музыки, нежели звенящее под ветром ведро. И еще. Сколько я ни читал стихов, ни разу не встретился с этим превратным пониманием песни, как субстанции, которую можно не петь, а пить.

Впрочем, третья строка другого попавшего мне на глаза стихотворения каким-то образом объясняет, почему автор объединяет пение и питие в одно сакральное действие: при упоминании песни ему всегда видится застолье: «Пилось и пелось!» И в этом он как человек традиции не виноват. А в определенном состоянии духа, если самому петь не дано, можно так проникновенно слушать застольную песню, что как бы и пьешь ее. Как видите, я честно пытаюсь понять автора, хотя мне и не нравится его питие в союзе с пением.

И попрощались, ушли за ворота
Милые гости, родня и друзья.
Пилось и пелось! Но все же, но что-то,
Что-то не спелось и вышло, скользя...

Были заботы, и были субботы,
Горечь, обиды... и радость была!
Вот уж, казалось... но все же, но что-то,
Что-то... и сети тревога плела...

Жарко топили. И спалось охотно.
Нежно любили, ничуть не таясь.
Вроде, сроднились... Но все же, но что-то,
Что-то не то, хоть и дочь родилась.

Кругом башка: что ни день, то находка.
Жизнь — будто черт закрутил колесо!
Деньги и водка!.. Но все же, но что-то,
Что-то еще бы, чуток бы и все...

...и распрощались. Ушел за ворота.
Дом — полный короб. Друзья и родня.
Славно живется... Но все же, но что-то,
Что-то все гложет, все гонит, маня...

Не знаю, как вам, читатель, но мне от этого откровения автора стало неуютно в его поэзии. Не всякое признание стоит тащить в поэзию. Лучше все же исповедоваться не читателю, у которого и своих забот полон рот, а священнику. Бросается в глаза, прямо-таки вопиет нравственная неряшливость лирического героя. А все эти маячащие «что-то» не прибавляют стихотворению ясности и сочувствия у читателя не вызывают. Ничего себе «что-то», от которого как бы между заботами о деньгах и водке родилась дочь!

Нет, мой метод читать наугад здесь не проходит. Видимо, надо искать то, что мне ляжет на душу и не оттолкнет той непричесанной и неумытой правдой жизни, которой автор так дорожит. Есть ли такие стихи у Валерия Гришковца? Да, есть.

Зарядило с утра! С подоконника
Тихо капают слезы дождя.
Не горюй — это время шиповника,
Соберем урожай погодя!

Погодя, перед первой порошею,
А пока — все дожди и дожди...
Не горюй, не печалься, хорошая,
Лучше в печке огонь разведи!

Это время терновника. Ягода
Вон уж светится, жжет, словно боль.
Знай — к беде бы готовились загодя,
Да беда ли, родная, — любовь?

Дай-ка плечи теплее укутаю.
Это слезы. А были дожди.
Я люблю и тебя, и тоску твою.
Ты пореже в окошко гляди.

Это осень и время терновника.
Это горечь — с горчинкою чай.
К окнам тянутся гроздья шиповника —
Мы еще соберем урожай!

Здесь хороша приглушенность интонации, умеренность в выражении чувства, тонкость той материи душевных отношений двоих, которая под пером автора не рвется, а наоборот, покрывает флером чистоты все, чего ни касается его взгляд. И последняя строка по-доброму многозначна. Умному читателю понятно непрямое значение слова «урожай».

Особенно хороши у Валерия Гришковца стихи, наполненные памятью родины.

Рождество у мамы

Не белоручка — белоруска,
Ты почернела от беды.
Но все ж — достало лебеды,
С того и радость песни грустной.

Опять зима. И вперемешку
Со снегом дождь. Как будто смех
Сквозь боль и слезы. Дождь и снег.
И жизнь осталась где-то между.

Как небо черное — в деревьях,
Как смех — в слезах и в счастье — боль.
Но чистой ты несла любовь
И веру — в лютое безверье.

Стоишь — светла вся — у окошка,
А за окошком — снег и смех.
И отступают хворь и смерть,
И в чугунке кипит картошка.

А на столе — вино! И скатерть
Хрустит на сене молодом...
И тесно будет за столом,
Но места всем, как прежде, хватит.

Невозможно читателю не отозваться на чувства, переполняющие лирического героя. Их разделит с автором каждый, у кого еще есть на земле самый любимый человек, а у кого ушел, — тем более.

Когда речь идет о самом дорогом, то автору не до набивших оскомину красот стиля, не до ложного бодрячества или похмельной горечи. И нахо-

дятся слова самые что ни на есть единственные и точные.

Мой белый свет — Отчизна, Беларусь.
Я рад, что здесь, да, здесь, сошелся клином
Мне белый свет — снегов твоих абрус
И в чистом поле вырай лебединый —
Мой вечный свет, мой свет неугасимый.

В кочевьях лет, на росстанях души,
Под смех слепой и возгласы бокалов
Не дьявол ли шептал: «Спеши! Спеши!»
Металась даль, дорога спотыкалась,
И снова был ты, был ты у начала...

Дорога от порога без конца.
Но что же вечно гонит нас из дома —
Наживы жажда, лавры мудреца?
«А дома — пухом жесткая солома», —
Вдруг вспомнишь в неприветливых хоромах.

И станет ясным самый черный день.
И свет прозренья, свет неугасимый
Сметет с души сомненья, словно тень.
И сердце вдруг забьется с новой силой,
Подавшись по дороге лебединой.

«Мой белый свет, — воскликнешь, — Беларусь,
Как мог я жить, смотреть и не увидеть:
В низине — рощ березовых абрус
И солнце, засыпающее в жите...»
Мой белый свет — Отчизна, Беларусь.

К сожалению, хорошие, крепкие стихи, способные отозваться в читателе чувством благодарности, тонут среди таких, в которых ложно понимаемая правда жизни мешает проявлению правды художественной. Уж очень часто, как говорят — замного, лирический герой его стихов прикладывается к Бахусу. Похоже, что без этого допинга он не в силах почувствовать красоты и высокого божественного содержания самой жизни.

Прокуренный тамбур вагона,
Каюты речных колымаг,
Я вызубрил ваши законы, —
Спасибо, стакан и кулак!

Но это еще не вся беда, а беда в том, что автор исповедует и навязывает читателю свое этическое кредо: законы у жизни волчьи и надо уметь отбиваться от зверей в человеческом обличье. Да, звери среди людей еще бродят и ездят. И добро должно быть с кулаками, как сказал некогда поэт. Но через призму стакана и поверх собственного кулака трудно разглядеть обычных неагрессивных людей, которые волчьих законов не воспринимают, стараются жить по законам, которые впервые прозвучали на земле в Нагорной проповеди.

В поэзии Валерия Гришковца «стакан» (не рюмка, не фужер и не кружка) вырастает в символ мужского и даже всечеловеческого братства. Надо понимать, что стакан не пустой. Поэт и книгу начинает со стакана.

Я шел на голос завтрашней печали
По следу отболевших бед и ран.
Меня в вокзальных толпах узнавали —
Краюху подвигали и стакан.

Да, конечно, и в России, и в Беларуси пьянство довольно большой части населения — это и национальная беда, и социальное зло. Может быть, писать об этом надо, но не так. Я не слышу в этой книге голоса осуждения людей, теряющих или потерявших человеческий облик за стаканом пойла, не вижу любви к этим несчастным, не чувствую боли за спивающийся народ. Стихи Валерия Гришковца декларируют полную солидарность с теми, кто исповедует стакан как меру человеческих отношений, а цвет вина кажется поэту цветом самой жизни.

Вот и снова весна заполошная,
И звенят, и поют небеса!..
И попутчица смотрит хорошая, —
Как вино, зеленеют глаза.

Такая мера не принесла счастья его лирическому герою, которого я все же остерегусь отождествлять с самим автором.

Веселился — пил и не напился.
Как болит с похмелья голова!..
Сорок раз женился — разводился, —
И шумит по следу трын-трава...

Кому адресованы эти строки? Такому же горемыке, который размотал свое счастье по вокзалам и у кого болит с похмелья такой неприкаянной жизни голова? Но такие люди, как правило, стихов не читают. Читать книгу Вале-

рия Гришковца будут те воспитанные подлинной поэзией читатели, которых привлечет к этой красиво изданной книжке золотое перо на обложке и название фирмы, гарантирующей высокое качество стихов. «Библиотека Союза писателей Беларуси» — это вам не частная лавочка, не какой-нибудь издатель Сидоров.

Не постигнет ли их разочарование? Конечно, найдутся среди образованной публики и ревнители такого похмельного взгляда на жизнь, которые в поддержку автора бросят цитату из Блока, который так писал об обывателе своего времени:

Он будет доволен собой и женой,
Своей конституцией куцей.
А вот у поэта — всемирный запой
И мало ему конституций!

А также напомнят ревнителям трезвости и другое стихотворение Блока, в котором прямо-таки через край льется апологетика вину, как средству, преобразующему убогую жизнь в «берег очарованный и очарованную даль».

Но продолжим искать в книге Валерия Гришковца стихи о любви.

Звериный дух в округе колобродит.
Метель — метель! И не видать ни зги...
Чу, волчья рать по насыпи проходит,
Знобящий гуд несется из пурги.

И ни души... Лишь волчий дух во мраке
Да семафор, дымящийся что кровь.
Ни родины, ни друга, ни собаки...
Все, что сберег, — звериная любовь.

Подлинная любовь к другому человеку звериной быть не может, звериной может быть только похоть. Даже если автор и с ним его лирический герой дожили до полного фиаско в жизни, почему это откровение надо сваливать на бедного читателя, который ищет от книги, тем более от поэтической, поддержки в своих собственных проблемах и передрягах, светлого выхода из несуразностей и грязи жизни к надежде и радости? Для чего ему еще раз убеждаться, что жизнь не сахар, а лучший выход из ее сложностей — это озверение души?

На какого учителя жизни может претендовать автор, который сам в ней не разобрался, не расставил правильно акценты в своей поэзии, а, может статься, и в самой жизни, не отделил главное от второстепенного?

Где родился — там не пригодился,
Вроде нужен был, да не с руки.
Зря томился, напрочь износился,
Ну а жизнь — она не сапоги.

Думалось, и чаялось, и было...
Сплыло, да водою утекло
И такое тут тебе явило, —
Судорогой челюсти свело.
Вот так Матерь — Родина... Да мать бы
Вашу я не видел и не знал!..
С самого того бы — наплевать бы,
Ноги в руки — да и на вокзал.

Как это наплевательство на самое святое, что есть у человека, может соседствовать в одной книге со строками «Мой белый свет — Отчизна, Беларусь»? Чему верить?

Похоже, что истину жизни Валерий Гришковец, открыл на вокзале и в дороге, то есть в мотании по белому свету:

Поезд мой идет вне расписания
Прямо в дождь, переходящий в снег.
Жизнь прошла — сплошное ожидание,
Жизнь осталась — заполошный бег.

Прожит век. И с ним — тысячелетие.
Не с того ли ноша тяжела?!
Вот и скука — сука безбилетная,
Прямо в сердце гнездышко свила.

Боль и тягость — молодость вчерашняя.
Завтрашняя старость — как сума...
В поезде наплевано, нагажено.
За окном — ни осень, ни зима.

То ли поле, то ли лес порубленный —
Сиро, голо... вечер ли, рассвет?
Край родимый, словно храм поруганный.
В стельку пьян храпит в углу сосед.

Спрыгнуть, что ль, сорвать стоп-кран
Да по полю.
Да бегом обратно... А куда?
Век и я, друг друга мы прохлопали,
Просвистели мимо поезда...

Мне почему-то кажется, что его истины, добытые бродяжничеством по Беларуси и России, для которой он теплого слова не нашел, не придутся по сердцу именно тем обыкновенным людям, которые пригодились там, где родились. Его герою-бродяге не хочется сострадать, потому что бродит он бесцельно, просто по свойству своего безалаберного характера и никому не помогает на своих неправедных путях.

Сойти с ума — и не вернуться.
Пойти на Брест и на Москву
И вдруг под Пензой обернуться,
Дом не найти — упасть в траву.

И долго спать... Потом проснуться,
Глядь — ты за Киевом уже...
И в ум прийти и ужаснуться,
О доме вспомнить, о душе.

Присесть на кочку, оглядеться:
Вот лес, вон поле, там огни.
А значит, жизнь! Куда тут деться,
Живи!.. И Бога не гневи.

Неужели автор не видит, что своей неприкаянностью, бездомностью он только и делает, что гневит Бога? Ну, что он может проповедовать своим случайным встречным и собутыльникам? Только «*Primum vivere»* (прежде всего — жить)? Это латинское выражение предпослал он стихотворению, видимо, призванное выразить его квинтэссенцию жизни:

С колыбели, с самого начала,
Что ведет нас по земле, мой друг?
Разыгрались волны у причала,
Повторяя свой извечный круг.

Ну а нам в один конец дорога,
Торопись по ней, не торопись,—
Человеку путь один от Бога
И одна ему от Бога жизнь...

Как бы твое сердце ни кричало,
Гордый и всесильный человек,
Но пройти опять свой путь сначала,
Хоть умри, не сможешь ты вовек.

Ну и где тут открытие? Есть только азбучная истина. И горестно, и смешно. А вот с утверждением «человеку путь один от Бога» я, православный христианин, согласиться никак не могу. Человек должен пройти свой жизненный путь не от Бога, а к Богу, только тогда жизнь имеет смысл. Я подозреваю, что автор хотел сказать, что путь человека предначертан Богом, но стилистически вышло наоборот. Но и с этим утверждением я не могу согласиться. Человеку Богом дана свобода воли и от него самого зависит, куда, к какой цели он направит свою жизнь, к Богу или от Бога. Так что полную свою растерянность в приоритетах и неприкаянность не стоит выдавать за добытую своими ногами истину.

Если бы Валерий Гришковец построже отнесся к себе, отделил добрые зерна от плевел, — получилась бы добротная книжка. Конечно, менее объемная, но зато более цельная. Хотя ведь одним росчерком пера не переменишь устоявшегося мировоззрения автора, который видит жизнь так, а не иначе.

Гораздо интереснее читать вторую, публицистическую половину книги, хотя в чистую публицистику врываются и эссе, и воспоминания. Здесь автор рассказывает и о своем детстве, и о годах юности, и о встречах с известными и простыми людьми на путях-дорогах земных, о тех, с кем дружил, у кого учился поэзии и науке жизни. Но жаль, что очень часто он это делает через запятую, не проникая более глубоко в личности и судьбы. Так очень бы хотелось узнать нечто большее о талантливом поэте из Бреста Миколе Купрееве, чем то, что он пил, бродяжил и не имел пристанища.

От знакомства с творческой судьбой Валерия Гришковца, отразившейся в его полных обиды и недоумения стихах, на душе остается горечь. Как можно так бездумно распылить себя на необязательные пути и встречи, а за их бесконечной чередой потерять и себя, и цель самой жизни?! Оказывается, можно, если потерять ответственность перед Богом за то, что дано ему свыше.

Помните притчу из Евангелия от Матфея? О том, как один господин, уезжая в чужую страну, раздал своим

рабам деньги. «Одному дал пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе...» В то давнее время слово талант означало эквивалент человеческого труда, его цену.

Кажется, что эта притча не имеет прямого отношения ни к одному фигуранту моей статьи, ведь каждый из них пустил свой талант в оборот, реализовал его как продукт интеллектуального и душевного труда. Но если человек не потрудился в своих стихах, как ожидал Господь, над собственной душой, а это значит и над душой читателя, не значит ли это, что он своего таланта не умножил и так же зарыл его в землю, как ленивый и лукавый работник. Или, по крайней мере, получил свой целковый обратно без прибыли благодарного читательского отклика.

На какой отклик может рассчитывать поэт, посылая в широкое пространство сегодняшней литературы такое откровение?

Женщина любимая — чужбина,
Гарь да марь, полынные поля.
Не любила, сердцем всем любима, —
Сон, обетованная земля...

Шел вослед, по следу, по наитью...
Где ты? Где? Была ты — не была?..
Все смотрю — и видя, и не видя —
То ль старуха, то ли смерть пришла.

Горечь этих строк в применении к судьбе конкретного не нашедшего счастья автора понятна. Но чем эти строки могут обогатить читателя, который открывает книгу с надеждой зачерпнуть из нее лучистой позитивной энергии для одоления собственных невзгод и разочарований?

Поэзия обещает иное счастье

Да, поэзия никому не обещает счастья или на крайний случай защиты от всего того, что мешает счастью сбыться. Ни самому автору, ни его читателю. Счастья в понимании обыкновенного среднего человека как синонима житейского успеха, взаимной любви, достижения профессиональных высот, высокого социального престижа, полной материальной обеспеченности.

Поэзия открывает своему верному читателю иной вид счастья. Счастье соприкосновения с гармонией родного языка, запечатленной в отточенной поэтической форме, счастье обретения иного угла зрения на жизнь, откуда она открывается более богатой и духовно насыщенной, нежели ты ранее думал о ней. Счастье обретения единомышленника или доброго, умного советчика в прежде незнакомом тебе поэте, которому ты в конце концов можешь написать на адрес издательства и даже встретиться. (Нынешние поэты не сидят в башнях из слоновой кости и более доступны, чем поэты еще тридцать лет назад, когда у них были тиражи книг с четырьмя или пятью нулями, и на гонорар от книги можно было не только одеть всю семью, но еще и свозить ее на отдых в Крым или в Прибалтику. О Канарах никто тогда не мечтал и даже не ведал.)

Настоящая поэзия не ищет легких тем и обходных путей. Она взваливает на себя тяжкую ношу неприглаженных мыслей и неудобных чувств и несет их по целине авторской судьбы. И уж тем более она не может пройти мимо судеб народных, мимо времени, в котором они сбываются.

Дорога повернула на Отчизну.
Скрипели в небе годы, как возы.
Не плачь, родная, правя злую тризну, —
пыль под ногами солоней слезы.

Мы в небесах не отыскали тверди —
они для светлых голубиных стай.
Не дай нам, Боже, легкой, сытой смерти,
веселой нам, в дороге, смерти дай!
Мы шли и шли, — откуда брались силы! —
с уверенностью высшей правоты,
вбивая в придорожные могилы
простые безымянные кресты.

И слезы те — из той, забытой жизни, —
как горький талисман с собой несли.
Дорога повернула на Отчизну.
А кто мы есть — спросите у земли...

Трудно комментировать настоящую поэзию. В этом стихотворении тоже достаточно горечи, нисколько не

меньше чем в том, где любимая женщина названа чужбиной и в последней строке оборачивается то ли старухой, то ли смертью. Или в том, где лирическому герою хочется сорвать стоп-кран, чтобы остановиться в своем безудержном мотании по земле. Но эта горечь имеет другие истоки. Эта горечь не оттого, что тебе где-то не открыли дверь или не налили в стакан. Это горечь за обманутый народ, заплативший за свою былую «уверенность высшей правоты», за свое позднее прозрение высокую цену собственным оскудением: и численным, и духовным.

Но под этими стихами стоит имя витебчанина Николая Наместникова, тоже члена Союза писателей Беларуси. В его книге, изданной четыре года назад за собственный счет, мало стихов о любви, но те, что есть, трогательно целомудренны, хотя речь в них не чурается интима.

Мотыльки слетались на зов огня,
как на бранное поле рать.
Подойди ко мне. Обними меня.
За столом со мной рядом сядь.

За окошком ночь — до конца веков,
Время снов дурных и потерь.
То ли шум дождя, то ли стук подков...
Никому не откроем дверь!

Истинная поэзия скромна и целомудренна. Более того, она чистоплотна и не выставляет наружу исподнее. А если и выворачивает свою душу наизнанку, то в порыве исповеди перед Богом и людьми.

Исповедальны ли стихи Валерия Гришковца? В определенной степени — да. Поэт не лукавит перед читателем. Да, вот такой уж он есть: бродяга, неудачник в личной жизни, человек, далекий от святости, но зато ведь душа нараспашку, не ханжа, свой в доску любому встречному. Точнее, таков его лирический герой. Но, мне кажется, расхождение между лирическим героем и его создателем здесь опасно небольшое. Но хорошо ли это для поэзии: вот так вываливать на читателя всю свою подноготную, не давая ему никакого просвета в темной густоте своей плотской жизни?

Я думаю, Сергей Есенин не менее Валерия Гришковца отличился в разгульном и бесшабашном поведении, создавая себе дурную славу, но как он переплавлял себя в горниле творчества, чтобы на поверку выходила все же исповедальная чистота! Возьмем для примера его далеко не самое лучшее стихотворение:

Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,
Синь очей утративший во мгле.
Эту жизнь прожил я словно кстати,
Заодно с другими на земле.

И с тобой целуюсь по привычке,
Потому что многих целовал,
И, как будто зажигая спички,
Говорю любовные слова.

«Дорогая», «милая», «навеки».
А в душе всегда одно и то ж.
Если тронуть страсти в человеке.
То, конечно, правды не найдешь.

Оттого душе моей не жестко
Не желать, не требовать огня.
Ты, моя ходячая березка,
Создана для многих и меня.

Но, всегда ища себе родную
И томясь в неласковом плену,
Я тебя нисколько не ревную,
Я тебя нисколько не кляну.

Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,
Синь очей утративший во мгле.
И тебя любил я только кстати,
Заодно с другими на земле.

Видите, читатель, поэт, ища ласки у продажной женщины, остается совестливым человеком, а не превращается в зверя и не воспевает «звериную любовь». Даже такую женщину, «созданную для многих», он называет березкой. Если же вспомнить Пушкина, то Александр Сергеевич тоже не был до женитьбы однолюбом, но ни в одном его стихотворении вы не увидите оскала звериной похоти.

Нет, не по наитию только, на которое многие поэты так уповают, соединил он слова «божество» и «вдохновение» в одной строке, сведя тем самым вместе и понятия, ими обозначаемые. Стало быть, вдохновение само по себе,

как бы ни кичились им поэты, не способно выразить жизни во всем объеме ее слез и любви. Для этого нужно еще познать божество, почувствовать его во всех событиях жизни и в устроении мира, сообразовать с ним свои мысли и чувства, отдаться во власть Божьего промысла о себе и тогда, может быть, и придут к тебе строки, равновеликие тем, которые он посвятил Анне Керн.

Кстати говоря, стихи может наполнять боль и любовь за человека, надежда на его духовное выздоровление и без упоминания Бога. Стихи могут быть христианскими по мироощущению их автора, нацеленного на добро, на желание помочь людям обрести свое подлинное «Я», свободное от гордыни и погони за призрачными благами сиюминутной жизни.

Хватит поминать Бога всуе, как пословицу или, еще хуже, как междометие для связки речи. Или, много хуже, для придания более высокого статуса и себе, и своим, лишенным божественной гармонии строкам. Стихи должна пронизывать ответственность поэта за каждое произнесенное слово. Ведь слово поэта — это его дело на земле. Так не будем же делать этого дела спустя рукава или абы как. Об этом и о многом другом, что остается в подтексте, напоминает всем нам прекрасное стихотворение одной из лучших поэтов Беларуси Татьяны Лейко.

Мы на жертвенник новый
восходили с тобой
и за русское слово
заплатили судьбой.

За любовь к этой шири,
к этим песням простым,
за единственный в мире
дом под небом святым.

От печали старинной
загорается кровь...
Мы над русской равниной
повстречаемся вновь.

Невозможно вычерпать глубину этого стихотворения самым дотошным комментарием. Потому что за первым пластом смысла в наличии и второй, и третий, а, может быть, и четвертый. И рифмы-то самые обыкновенные и даже тривиальная «кровь — вновь», а поди ж ты волнует, как исповедь, как признание в любви.

Это и о судьбе самой Татьяны Александровны, которая пробилась хотя бы к малому читательскому признанию так непоправимо поздно. Это и о судьбе всех пишущих на русском поэтов Беларуси. Посему издаться русскому поэту в Беларуси, пожалуй, можно только за свой счет. А у кого денег на это нет, тот продолжает писать в стол, исповедовать гордый стоицизм и мужество творческого одиночества. Автор этой статьи за тридцать лет так и не смог издать ни одной своей книги в Беларуси. Как горько и честно написал об этом уже упоминавшийся мной Николай Наместников:

Пьешь золотую тоску одиночества.
Счастья — не выпало.
Славы — не хочется.
Все, что имеешь, осталось с младенчества:
имя без отчества,
дым без отечества...

У некоторой части русских поэтов Беларуси отечество — Россия, в том числе и у меня. Но что поделаешь, если мы пригодились не там, где родились. Видимо, таково было Божие определение о нас. Здесь, в Беларуси, исполнилась наша человеческая и творческая судьба. У каждого из нас есть проникновенные строки о нашей второй Родине. Каждый где-то работал или еще трудится на благо Беларуси. Но нет-нет порой и охватит тебя горькое чувство, что наша родина, где мы увидели свет, нас забыла, что остался нам от нее только дым воспоминаний: детства, юности, молодости.

Правда, некоторым из нас порой удается попасть на страницы московских изданий, но это как напоминание нашим бывшим друзьям, что мы еще живы. Что мы еще скрипим пером... Светлана Евсеева, Юрий Фатнев, Тамара Краснова-Гусаченко, Юрий Сапожков, Татьяна Лейко, Изяслав Котляров, Валентина Поликанина, Николай Наместников... Ну, может быть, еще с полдюжины стихотворцев. Нас так немного, для кого русский язык явля-

ется языком чувства и разума, и мы пишем на нем, как на наиболее выражающем в литературе наши личности и реальности того времени, в которое нас Бог призвал к жизни.

Но степень владения этим богатым и выразительным языком у пишущих на нем весьма различна. Как ни странно, но большинству наших сограждан освоить русскую разговорную и письменную речь легче, чем родную. Но разговорный язык — это лишь прихожая языка. Пройти внутрь зала, где живет и здравствует великая русская литература, многим мешает лень и чтение примитивов, т. е. легковесной или как ее раньше называли бульварной литературы. Но скажите мне, ради Бога, почему, обладая разговорным минимумом русской лексики, некоторые весьма популярные стихотворцы отваживаются искать чести и славы в области поэзии русской? Ведь мы же, русские поэты, зная и понимая прекрасную белорусскую литературу, не беремся писать по-белорусски. А ведь при старании и усидчивости могли бы на уровне хотя бы тех авторов, чьи книги годами пылятся на прилавках магазинов!

Есть такие соискатели и в персоналиях этой статьи.

Это слабо и плохо чувствующие русский язык писатели. Вот их и можно назвать русскоязычными, но никак не русскими. Я уже неоднократно писал о том, что *родная мова*, впитанная с материнским молоком, может дать этим поэтам чувство родины, без которого любые сплетения словес — только сотрясение воздуха. Она может помочь стихотворцу обрести свой собственный, оригинальный, ни на кого не похожий голос, а ведь в поэзии, как и в искусстве пения, это, пожалуй, главное: поставить голос для той твоей песни, которую может подхватить и народ. Как писал уже цитированный мной выше Николай Наместников:

«Осуди и покарай нас, Боже,
только эту песню спеть нам дай!»

Под этими строками с полным сознанием ничтожности своего слова перед Словом, рожденным народом и благословенным Богом, я готов с радостью подписаться.

Георгий КИСЕЛЕВ



С точки зрения рецензента

Мистическая реальность

Недавно в «Издательском доме «Звязда» вышел сборник рассказов прозаика Алеся Кожедуба «Эликсир жизни» (Эликсир жизни: рассказы / Алесь Кожедуб. — Минск: Издательский дом «Звязда», 2013). Сборник, безусловно, стал хорошим подарком читателям, которые ценят сатиру, которым не безразличен писательский взгляд на происходящие процессы в советском и постсоветском обществе. Написанные легко, виртуозно, рассказы, тем не менее, заставляют читателя еще и еще раз задуматься о нравственных ценностях.

В рассказе «Подвал» речь идет о двух соседях по даче Иване Михайловиче и Иване Федоровиче. Иван Федорович является представителем нового класса предпринимателей. Он преуспевающий директор собственной фирмы. Построил на участке двухэтажный дом из карельской сосны. К шести соткам прибавил еще десять, разбил сад, разбил парники и грядки.

У Ивана же Михайловича, единственного из старых соседей, как было, так и осталось шесть соток, домик из цементно-стружечных плит, крыша которого покрыта шифером. Иван Федорович постоянно предлагает купить у него участок. И Иван Михайлович понимает, что рано или поздно он действительно продаст свой участок.

Но у Ивана Михайловича было одно очень сильное желание, которое он намеревался осуществить: обчистить подвал соседа. Да, конечно, здесь была зависть, здесь было желание отомстить за те унижения и оскорбления, которым подвергал его тезка. Но не это главное.

«Подвал! В хоромине акулы таился подвал, с которым могли сравниться разве что закрома Гаврилы Поповича, первого мэра и, как писали газеты, взяточника и ворюги. Об этих закромах Михалыч вычитал в мемуарах одного кремлевского охранника и живо представил их, заваленных окороками, бочками, ящиками и банками. Ах, как бы он попировал в тех внуковских подвалах! Сожрал бы целиком свиной окорок, выпил бы цистерну французского коньяку, проглотил бы сотню маслин, первые бы из них съел бы с косточками, закусил бы семгой и осетринкой и отвалился бы к стенке...» Здесь мы узнаем знакомый мотив: грабь награбленное.

Высшая цель для Ивана Михайловича — выпить, поесть вкусно до отвала. Эту цель преследуют многие герои рассказов — поесть и выпить на халяву. Пытаясь достичь этой цели, человек опускается в нравственном отношении, деградирует. В рассказах не раз появляется сравнение со свиньей. Пожалуй, в рассказе «Подвал» это выражено наиболее ярко.

Перед поездкой в Америку Иван Федорович поставил на крышку подвала пружину: туда войдешь, назад не выйдешь. В эту мышеловку и попался сосед-грабитель. Замурованным в подвале он просидел больше двух недель, пока не вернулись из поездки соседи. Желание получить легкую добычу обернулось настоящим адом. Вот как выглядел Иван Михайлович, когда из подземелья его вызволил сосед:

«Иван встал на колени, повозился с защелкой и осторожно потянул на

себя крышку люка. Волна тяжелого духа, шибанувшая снизу, едва не сбила его с ног.

— Ни хрена себе! — зажал он двумя пальцами левой руки нос, наклонился над ямой. — Ты живой?

— Живой... — донеслось снизу.

— Слава богу! — выпрямился Иван Федорович. — Вылезай, но чтоб без шуток!

Он перехватил поудобнее топор.

В глубине подвала послышалась возня, показались грязные руки, ухватившиеся за край люка, затем седая борода, тоже грязная. Вид ослепшего от дневного света узника был страшен. Из зажмуренных глаз текли слезы, в провалившемся рту шевелился распухший язык, из тощего горла вырывались хрипы и стоны. Это было явление из того света, по-другому не скажешь».

И еще хочется обратить внимание на одно обстоятельство в рассказе. В подвале вор не нашел нарисованных в воображении закромов. Все, что находилось в подвале, было выращено на огороде или собрано в лесу и заготовлено хозяйкой, добыто, как говорится, упорным трудом. Когда читаешь, с какой любовью и старанием все это было выращено, заготовлено, и когда знаешь, сколько усилий на это было затрачено, представляешь особенно ясно ту несправедливость, которая могла случиться, если бы вор решил все это унести. А именно это и входило в его планы, на другой день он собирался наведаться еще раз в дом. Невольно приходится вспоминать, что в нашей жизни не так уж редки случаи, когда под предлогом конфискации якобы уворованного несметного богатства, у человека пытаются забрать последнюю рубашку, не говоря о честно заработанном.

Большинство рассказов сборника написаны в форме путевых заметок, потому претендуют на документальность, особенно те, где на сцену выступают реальные персонажи, как правило, из писательской или журналистской среды. Это придает произведениям убедительный характер. При отсутствии в таких случаях сюжета увлекательность рассказа создается за счет неожиданных ситуаций, непредсказуемого хода событий, диалогов на актуальную тематику. Отдельным деталям придается особая значимость и символизм.

Пожалуй, трудно вспомнить рассказ, в котором бы герои не употребляли горячительные напитки. Впрочем, сказать «употребляли» — значит ничего не сказать. Спиртное льется рекой. И это не столько придумка автора, сколько отражение реалий жизни. В основном хорошо угощают.

Знаменательным в этом отношении является рассказ «Миколюкас». События в нем происходят во время горбачевской перестройки. Главный герой, а от имени его и ведется повествование, белорусский журналист, который приехал в Литву на церемонию чествования победителей творческого конкурса среди изданий прибалтийских государств, Беларуси и Украины. День, что называется, задался с утра:

«Поезд из Минска пришел в Вильню в половине девятого утра, и Витас (гл. редактор литовского журнала — *Прим. автора*) лично встретил нашу делегацию на перроне. Я поставил ногу на подножку вагона — и увидел живописную композицию. Впереди стоял Витас с бутылкой водки. Его подручный держал поднос с двумя рюмками, солеными огурцами и хлебом. Симпатичная девушка протягивала цветы, по одной красной гвоздике мне и Валере». Оказалось, что у литовцев, как и у всех прибалтов, была своя философия, на которой основан прием гостей-славян:

«Вообще-то с литовцами мне уже приходилось выпивать не раз и не два на самом разном уровне. Из всех прибалтов они как никто старались напоить русского брата... Выпивая с гостеприимными хозяевами, я всегда ощущал жадные взгляды: ну когда, когда окосеешь, дорогой? Отчего не падаешь лицом в салатницу, не лезешь под стол и не бьешь посуду? Гей, славяне!

От напряженного ожидания хозяева чаще всего ломались первыми. Стекленел взгляд, леденело или краснело лицо, выскальзывал из рук фужер». Нетрудно догадаться, что для хозяев было истинным наслаждением видеть

«оккупантов» в поросячьем состоянии и найти лишнее подтверждение наличию у славян пороков, одним из которых является пьянство. Впрочем, Олексу Михайловичу, заместителю главного редактора украинского журнала, в принципе было безразлично, что думают о нем литовские друзья, он выпивал все, что ему наливали в рюмку или кружку. В конце концов прибалты увидели и услышали то, что хотели:

«И в этот момент опять очнулся Олекса Михайлович. Он встрепенулся, надул, как петух перед дракой, грудь, сделал уверенный шаг вперед и затянул, подняв руку с кружкой:

— Гей, до-лы-ною, гей, ши-ро-кою козаки йдуць!..

Голосище у хохла оказался что надо. У меня заложило уши, по всем углам завода загуляло эхо, и Миколюкас, который медленно шел к нам с новой порцией напитка, подскочил и побежал, бухая в такт песне казака-редактора. Витас поднял брови и сказал «о!». Тойво откинулся назад, как конь, которого огрели кнутом. Юзас захохотал. Я поковырялся пальцем в ухе: оглохнешь с вашими «писнями».

Олекса Михайлович закинул голову, выдул из кружки остатки бальзама и, не сгибая коленей, рухнул лицом вниз под ноги Миколюкасу».

Основные события в рассказе проходят в гостях у Юзаса, хозяина небольшого завода по производству медового бальзама, который сам и изобрел этот напиток. Славился он отменным вкусом. Судьба у Юзаса была непростой. При Советах и немцах его семья жила в лесу. Кончилась война, пришли русские. К тому времени отец его умер, братья уехали в Америку. Юзас решил остаться на родной земле. Его посадили на восемь лет в тюрьму. Секрет бальзама знал только он. И тогда он сказал коммунистам, что если ему отдадут завод, то он сделает литовский бальзам. Главный герой рассказа задал резонный вопрос: зачем русским бальзам? Прямого ответа он не получил:

— Беда, что у нас начальники русские, — улыбнулся детям-славянам Юзас. — Говорят по-литовски, а сами русские. Но меня они из тюрьмы выпустили и отдали завод. Делаю бальзамы для начальников и гостей».

Выяснилось, что в магазинах этот чудесный напиток не продают. Это уже было совсем непонятно и загадочно. И белорус попытался узнать причину этого. Но ответ прозвучал еще более загадочно:

— Коммунисты у меня тоже спрашивают: почему? — подлил мне из своей кружки Юзас. — А я им говорю: нет посуды. Сделайте бутылку, которая будет достойна моего бальзама, запущу промышленное производство. Но нет бутылки.

Они все засмеялись: Юзас, Витас, Имант и Тойво. Не поняли юмора я, Олекса Михайлович и Миколюкас. Я — ибо туп. Олекса Михайлович стоя спал. Миколюкас ждал приказа хозяина».

Белорус продолжал допытываться и узнал, что патент на бальзам выдан Британским Королевством, а не русскими, потому что они могут сделать его и без разрешения автора, и опять пожалел, что бальзама нет в магазинах, при этом добавил, что он лучше рижского. Латвийскому редактору уже было не до смеха: «Имант дернулся, отвел далеко руку с кружкой, передавая ее лакею, но того, к сожалению, рядом не было. Он растерянно поискал глазами стол или лавку. Куда можно было бы поставить дрянь в кружке, но и этого не нашел».

Пожалуй, подтвердилась старая пословица: «В любой шутке есть доля шутки». Достойный товар должен иметь и достойного покупателя. К сожалению, и сегодня в большом количестве случаев покупатель предпочитает бутылке хорошего напитка дешевое вино. Ну, а вид бутылки его совсем не интересует. Для Юзаса бальзам представляет собой предмет национальной гордости, а в большей степени — родовой. Но это далеко не все в рассказе.

Главный герой не перестает удивляться, что бальзам не продается в магазинах. Причина уж конечно не в бутылке. Сам спиртзавод выглядел более чем странно: был одновременно похож на спиртзавод, хлев и мельницу. И потом этот Юзас всю жизнь про-

жил в лесу, никого из родных в Литве нет, коммунисты почему-то отдали ему завод. По тем временам явление неслыханное. И потом эта регистрация в Британском Королевстве. Одним словом, мистика какая-то. Придавая демонический оттенок повествованию, где бальзам, а он ведь готовится на травах, мыслится не иначе как колдовской напиток, писатель утверждает всю призрачность и иллюзорность нынешнего существования при всей его видимой реальности. В некоторых местах рассказа грань между реальностью и мистикой начинает исчезать. Знаменательными в этом отношении являются воспоминания главного героя о посещении бани:

«Однажды литовские хозяева привезли нас, троих гостей, на лесное озеро. Чистую воду со всех сторон сжимали сосны и дубы. Стежка, по которой мы шли к озеру, незаметно превратилась в мостики, ведущие на середину озера к бане. Мостики предусмотрительно были огорожены перилами... Мы успешно прошли к бане, кое-кому пришлось ухватиться за гладкие, удобные перила, скинули штаны и рубашки, но остались в трусах, потому что с нами были жены хозяев.

— Нет-нет-нет! — закричали хозяева. — В наших саунах только голышом!

Кто снял трусы, как я, например. Кто остался в длинных семейных, не отважившись продемонстрировать свои мужские достоинства, — и полезли в парилку. А там уже людей, как в тыкве семечек. Худые, толстые, мужчины, женщины — и ни одной молодой девушки. Отвисали животы и груди, заливались потом морщины и складки, сбивались в паклю волосы, а девушки — ни одной. Смотрел я, смотрел, пошел и бросился в холодное озеро».

И все же Юзас, судя по повествованию, не тянет на роль лукавого. Скорее всего, он лишь производит колдовской напиток. Единственной белой вороной на этом шабаше является Миколюкас, назовем его единственным представителем литовского простого народа. Он-то и говорит о том, что литовцам и русским делить нечего: «Кричит тот, кто не работает».

С чудесным бальзамом читатель встречается и в рассказе «Случай на Никитской». Воланд со своей компанией, а представляются они другими именами, правда, без кота, посещают нижний буфет Центрального дома литераторов. Лощеный, распорядитель новой компании, угощает нынешних писателей этим напитком:

«— А что это за бальзам, которого я не знаю? — спросил Григорий. — Как он называется?

— Это очень редкий бальзам, — усмехнулся господин. — Знать вы его не можете, ибо никто из москвичей его никогда не пил...

...Бальзам действительно был отменный. Защипало в горле, одервенел язык, в нос шибанул запах луговых трав, приятно закружилась голова».

Перед уходом из буфета, после того как главный герой перекрестился, Лощеный говорит, что единственным, что здесь было, это бальзам.

Кропотливо создавая мир мистики и людских иллюзий, автор рассказов может разом его разрушить. Например, одним ударом сковородника, как в рассказе «Макрель». Абрам, один из героев, перепутал дом, в который ему нужно было попасть, зашел в соседний:

«С трудом нашарив в темных сенях дверь, он решительно толкнул ее и вошел в тускло освещенную комнату.

У печи стояла пожилая женщина со сковородником в руках.

— Здравствуйте! — вежливо сказал Абрам. — Я пришла к доктору Сашке.

Женщина попятилась, затем перекрестилась на темную икону в углу, размахнулась и шарахнула принца сковородником по голове. У Абрама из глаз брызнули искры. Он рухнул на пол, как сноп».

Вот как объяснила причину своих действий:

«— Александр Михайлович, бес попутал! — схватила Сашку за руку женщина. — Собралась спать, разбила угли в печке, закрыла вьюшку — и тут он входит! Черный, як головня! — Абрам был уроженцем африканской страны.

— Кто входит? — спросил Сашка.

— Дак я думала — черт! Как раз по телевизору показывали... Перекрестилась на святого Миколу. Схватила сковородник и — по голове. Потом пригляделась — кровь... А у них же крови не бывает. Сами знаете».

Если даже отбросить мистику, соседка была недалеко от истины: Абрам вел далеко не праведный образ жизни:

«Абрам, а если быть точным, Абрахам, был принцем то ли из Бурунди, то ли из Руанды. В местном университете он обучался социологии. Закончив университет, Абрам отбыл на родину дожидаться своей очереди восшествия на трон. Все-таки он был принц, хоть и не наследный. Но за пять лет, проведенных в стране хмурого неба, чахлых сосен и промозглой сырости, Абрам привык к праздности, неспешности и пофигизму. Вечерняя водка и утреннее пиво сделали свое черное дело. Абраму больше не хотелось на трон. Он хотел в общежитие к белокурым красавицам и веселым собутыльникам.

Абрам решил поступить в аспирантуру университета, и его даже не остановила женитьба на Делии, чернокожей красавице из знатной семьи».

Межнациональные отношения находятся в поле зрения писателя во многих рассказах. Пытаясь на бытовом уровне разобраться в причинах проявления чувства национального превосходства, автор показывает, что национальное превосходство здесь ни при чем. Все дело в человеческих качествах каждого, а иногда в бездумно подхваченных абсурдных идеях. И, как в рассказе «Праздник», где оппонентами белоруса выступают представители «нецивилизованного народа» Сослан и Султан, никакие аргументы здесь не помогут. В конечном счете диалог заканчивается следующими словами: «Ты дурак», «Сам дурак». Вот только один пример из рассказа «Миколюкас»:

«— Это моя земля! — смотрели на меня белые глаза Йонаса, Владаса или Пятраса.

— Конечно, твоя, — соглашался я.

— А ты оккупант!

— Сам дурак.

До драки не доходило только потому, что хозяева, во-первых, даже и пьяные чувствовали себя европейцами, а во-вторых, слушались своих жен. Ну и, возможно, определенное значение имела психология узника. У тебя голые кулаки, а у оккупанта автомат, танк и ядерная бомба. Подумаешь, прежде чем лезть в драку».

В рассказе «Праздник» в палатке, которая принадлежала то ли азербайджанцам, то ли чеченцам, радовались... трагедии в Америке. Отмечали событие весело: виски, шампанское, «Мартель», «Хенеси», на подносах виноград и персики, нарезанная бастурма. Как сказали гостю, которого пригласили, отмечают победу бедных над богатыми. У всех было хорошее настроение, все хохотали. Главного героя объял ужас, ведь там погибли невинные люди. Отмечать трагедию он не стал. Но очень захотелось пива после вчерашнего юбилея. Недолго длилась душевная борьба, и гость с жаждой приложился к желанному напитку. И все же совесть мучит его: «Я посмотрел на бутылку «Баварии» в своей руке. Она была наполовину пуста. Н-да, нехорошо получилось. Но и в сторону ее не отставишь. Вот оно, помрачение разума от вина. Не хочешь делать — а сделал. Господи, прости нам согрешения наши вольные и невольные...»

Господь-то простит, но верует ли в Господа главный герой, вот в чем вопрос. Он спрашивает пирующих:

«— А каково было тем, кто сидел в самолетах? — не успокаивался я. — Кошмар!

— Тот, кто сидел в самолете, — герой! — хозяин жестом приказал Сослану наполнить стаканы. — Аллах всех принял и наградил.

— Как там у вас — выделил каждому по пятьдесят гурий? — стал припоминать я.

— И десять хватит! — крикнул Аслан».

Чуть ниже в рассказе герой опять размышляет о тех, кто направлял самолеты на башни: «Кстати говоря, где сейчас души убийц?.. И есть ли у них души? Спросить бы об этом у нецивилизованных народов...» Куда Бог

отправит на Страшном суде души тех, которые убили тысячи ни в чем неповинных людей? Трудно им рассчитывать на милость. Не очень понятно, что празднуют цивилизованные народы, взывая к Аллаху. С одной стороны, они утверждают, что теракт — это победа мусульман над неверными, пилоты — герои, а с другой стороны, убеждены в том, что подорвали башни сами американцы. Тогда причем здесь Аллах и победа, и героизм. Конечно, можно отпраздновать смерть ненавистных им американцев, но уж как-то не вяжется все это с мусульманской верой. В результате, как и следовало ожидать, дискуссия закончилась как обычно:

«Ладно, нецивилизованные народы, — сказал я, поднимаясь, — кто хочет войны, тот ее получит. Но знаете, почему начинаются войны?

— Почему? — перестал жевать персик Султан.

— Потому что люди разделились на наших и ваших. И виноваты в этом вы.

— Мы?! — уставились на меня две пары черных глаз.

— Вы. Только в исламской религии награждается тот, кто убил гяура. А это и есть развязывание войны.

— Глупый ты, — сказал Султан и бросил на землю недоеденный персик. — Все русский дурак».

Рассказывая о том или другом житейском случае с присущим ему юмором, писатель пытается посмотреть вокруг глазами других людей, ищет внутренние причины происходящих событий.

В рассказе «Эликсир жизни» две молодые симпатичные русские туристки Катя и Жанна на французской устричной ферме с жадностью набрасываются на бесплатное угощение:

«Мы поднялись по деревянной лестнице на террасу для дегустации устриц. В середине стола стоял таз с горой устриц. Рядом — кастрюля с лимонами, разрезанными пополам. Здесь же — бутылки с белым вином и пластмассовые стаканчики.

Рене торжественно достал из кармана нож с кривым лезвием — и пиршество началось. Он едва успевал вскрывать устрицы и поливать их лимонным соком. Катя и Жанна заглатывали устриц, как удавы кроликов. А может, как крокодилы антилоп. Во всяком случае, моллюски во рту девиц исчезали мгновенно».

Но хозяина все это не удивляет и не возмущает. Ему приятно угощать туристов, прежде всего потому, что он очарован молодыми русскими девушками:

«Рене, бедный, упарился, оделяя их прожорливых туристов, но, во-первых, не каждый день на ферму приезжают русские, а во-вторых, когда еще почувствуешь дразнящие прикосновение упругой груди с одной стороны и не менее упругого бедра с другой. Он орудовал ножом с энтузиазмом, успевая, впрочем, отхлебнуть из пластмассового стаканчика».

Главный герой рассказа и его собеседник из туристической группы Дима, наблюдая за происходящим, обсуждают вопрос о том, уведут ли француза девицы. Своеобразно мотивирует свой отрицательный ответ Дима:

«— У нас устриц нет, — хмыкнул Дима.

— Зато девицы!

— Либо устрицы, либо девицы, — твердо сказал ветеринар. — Хотя они друг на друга похожи...

— Напишете об этом? — повел вокруг себя Дима.

— Обязательно, — сказал я. — Картина будет называться «Устрицы под Сетом», и ее героями станут плененные французы и русские.

— Как у Толстого? — засмеялся Дима.

— Как у него. Но и Толстой не вывел формулу эликсира жизни.

— Что за эликсир?

— Их устрицы смешать с нашими девицами, и бессмертие обеспечено».

Попытка писателя в своих рассказах увидеть скрытый смысл за обычным ходом событий, за фактами проявления человеческих слабостей, а иногда слабоволием и нежеланием противостоять соблазнам и искушениям создает у читателя чувство неизбежности происходящего и необъяснимой значимости существования.

В рассказе «Сюр» главный герой вместе со своим другом приезжает

в Витебск в качестве журналиста освещать фестиваль «Славянский базар». В городе его встречает его однокурсник Виктор, местный житель.

«— А я как был срачицкий учитель, так и остался, — сказал вдруг Виктор, когда мы подходили к летнему амфитеатру.

— Кто-кто?! — в который раз за сегодняшний день отвисла челюсть у Алексея.

— Срачицкий учитель. После университета меня отправили на два года учительствовать в деревне Страчицы. Захожу я в сельмаг — а там, кстати, мужчинам отпускали без очереди, такого я тоже больше нигде не встречал — и слышу за спиной: «Кто это?» — «Срачицкий вучитель».

— А почему деревня называлась Страчицы? — пришел немного в себя Алексей.

— От слова «стратить». Люди там пропадали. Вышел человек из дома и стратился. Постоянно пропадали, бесследно, и не только в незапамятные времена, но и в наши.

— Интересное место, — сказал я.

— Да уж. Вот и я пропал. Работаю в страховой компании, а сам остаюсь срачицким учителем».

Когда Виктор рассказывает о своей жизни, о происходящем в городе, понимаешь, что он имел в виду. Семейная жизнь пошла под откос, пришлось отдать детям четырехкомнатную квартиру, не защитил кандидатскую диссертацию. Его «кореша Пятака грохнули», взорвали вместе с новой машиной. Санька, одноклассник Виктора, ему памятник делает. Тот самый скульптор, что сделал Шагалу памятник:

«— Ну да, я же говорю — скульптор. Но основной его заработок — памятники бандитам. Как-то с приятелями сидим в бане, обсуждаем бандитские разборки. Один спрашивает: «А кто их заказывает, бандитов? Они же все кореша». Я говорю: «Санька заказывает. Деньги у него кончаются, он звонит по телефону: шлепнуть такого-то. Две тысячи баксов за памятник дают».

Подмечая парадоксы современной жизни, которая временами становится абсурдной и от этого комичной, А. Кожедуб не переставая напоминает: ничто не возникает из ничего, вся наша жизнь прочными нитями связана с прошлым. Наиболее ярко и образно писатель выразил это в последних словах рассказа «Сюр»:

«Мы стояли на мосту, и отсюда темные воды Двины казались бесконечной дорогой в прошлое. Именно так река уходила в глубь времен».

Александр ГАЙДУК



С точки зрения рецензента

Притяжение высоты

Всякая высота начинается на земле. С этим не станут спорить даже те, кто давно связал свою судьбу с заоблачными высотами. Рожденный на земле должен всегда на нее и возвращаться. Пока что... Может, будущее оспорит мое слишком земное утверждение. Но я о другом. Когда-то Максим Танк написал замечательные, даже афористические строки:

Можа, мы — апошнія паэты,
Што вось так цікавяцца зямлёй?

В это же самое время совсем молодой, но тоже очень земной поэт Василь Макаревич мечтал о высоком небе. И не было предела радости герою стихотворения, который уже почувствовал эту необычную связь с небом через тонкую и тугую нить, что удерживала воздушного змея:

Глядзелі доўга,
зорка
Мы ў бездані сусвету.
І ён мільгаў то зоркай,
То вогненнай каметай.
Ніколі не зважалі,
Што вецер
кроў нам студзіць,
Мы ўжо тады трымалі
Па нітцы
з небам
сувязь.

Я до сих пор хорошо помню эти стихи, напечатанные в газете «Звязда», которыми и открывается книга поэта «Неба ў руках». Они были созвучны не только нам, тогдашним юношам. Тогда весь мир не только глазами, но и мечтой был устремлен в небо. Это были 60-е годы прошлого уже столетия, время стремительного прорыва человека в космос. Сегодня мы уже знаем, что и гагаринская мечта родилась из стихотворения Янки Купалы «Хлопчык і лётчык». И все же земное, как мы поняли потом, оказалось в наших сердцах, а значит, и в стихах, сильнее того, небесного.

Я хорошо помню лето 1961 года. Мы небольшой стайкой абитуриентов БГУ толпились у крыльца общежития на Бобруйской, уже сдавшие все экзамены и прошедшие собеседование, и вдруг заметили высокого стройного парня в очках, который держался необыкновенно уверенно и, по лицу видно было, кого-то искал. Я сразу узнал в нем поэта из журнала «Маладосць» Василя Макаревича. Журнал я читал постоянно в нашей сельской библиотеке, по фотографиям знал лица всех его авторов, часто даже по несколько раз перечитывал их стихи. Не из любопытства, конечно, а потому, что сам писал и уже начинал печататься. Василь, старшекурсник, пришел тогда «болеть» за своего младшего брата Якова, который поступал вместе с нами на филфак. Тогда и познакомились. Поэт оказался очень доступным человеком, без всякого зазнайства, хотя я понимал, что мне он не ровня, давно вовсю печатается в республиканских газетах и журналах, ждет выхода своей первой книги. Потом я узнал некоторые подробности из его биографии. Сразу после окончания Ухвальской средней школы в Крупском районе он вместе с ровесниками-односельчанами завер-

бовался и уехал на лесоразработки в Архангельскую область. Поработав на лесоповале зимний сезон, попробовав вкус нелегкого рабочего хлеба, вернулся в родные места, поступил в БГУ на отделение журналистики филфака. Рабочая тема, о которой так много потом говорилось в литературном мире, в его стихах прозвучала искренне и свежо. Стихи, посвященные тайге, удивительной северной природе, обращали на себя внимание:

Прапахлая завезенаю воблаю
(станцыя. — **К. К.**)
І лютаўскай марознаю вярбою,
Ты везла у Архангельскую вобласць
Хлапцоў
як лесарубаў і вярбованых.
Ты ведала —
адтуль не уцякуць:
Яны ў агні і полымі бывалі:
І коламі вагонаў
па цвіку
У кожную ты рэйку забівала.

Тогда, печатаясь на страницах газет и журналов, Василь Макаревич вел смелую разведку по всему периметру поэтического материка и того переднего края, где работал, искал новые формы и художественные средства для воплощения своих замыслов и тем. Его стихи того времени свидетельствуют о том, что поэт активно и вдумчиво учился мастерству у русских поэтов, в первую очередь, у Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной. Конечно, он не подражал, не переписывал их. Это была творческая учеба. Но стихи В. Макаревича во многом отличались от стихов его коллег-ровесников по поэтическому цеху. Даже в стихотворении «Станция», строфы из которого мы выше цитировали, видно, как молодой поэт, преодолевая традиционность, выходит на новые для себя горизонты и возможности.

Мне повезло, я вместе с автором смог подержать в руках его первый поэтический сборник «Вогненная камета», еще пахнущий свежей печатной краской. Помню, что чувство зависти к своему почти ровеснику было тогда огромное. А творческая зависть, как известно, всегда заставляет браться за перо с удвоенной энергией. Но мы тогда по наивности своей не догадывались, да и не понимали, что творчество — это не марафонский бег. Ни усидчивостью, ни количеством тут не возьмешь.

Перелистывая сегодня книгу В. Макаревича «Неба ў руках», изданную в «Библиотеке Союза писателей Беларуси» (Неба ў руках. Вершы і паэмы. / Васіль Макарэвіч. — Мінск, 2012), где собрано все лучшее, написанное автором за годы его творчества, я мысленно прохожу весь тот путь, который довелось пройти самому автору.

Процесс самоутверждения не бывает никогда простым и легким. Поэт все время находится в движении, в поиске, ищет себя в себе, на иных непохожего. То, что нравится ему, совсем не устраивает придирчивых традиционных критиков. Поэт ищет броские и неожиданные образы, особое внимание обращает на рифмы. Из-под его пера выходят строчки и строфы, написанные далеко не в традиционной манере:

Сам жывеш, нібы жыта жнеш,
Утыркаешся ў дзень, як вілы.
Вось таму кожны новы верш
І бывае парой, як вывіх.

У читателей, в отличие от критиков, свое мнение о поисках молодого новатора. Им нравятся поэтические «вывіхі», в которых чувствуется свежесть нового видения, неожиданность мысли, необычная легкость звучания.

Сегодня его, Макаревича, узнаешь без труда. Не только по своеобразной графике строфы, но и по броской лепке самого образа:

Як быццам боль
Крыху прычах,
Ды цісне ўсё ж на вейкі
Труна шырокая ў плячах,
З даўгою крыгай века.
....
Знячэўку краем па сцяне,
Не па сваёй ахвоце,
То чыркане, то шкрабане
Труна на павароце.

Нібы сыходзячы з-пад хмар,
Узмахам ды рыўкамі
Штораз за сцены гаспадар
Трымаецца рукамі.

После прочтения этих строк даже пронизывает душу какой-то внутренний холодок, настолько отчетлив здесь авторский взгляд и детали. Образная конкретика настолько очевидна, что мы как будто воочию видим все происходящее. Очень часто обращается автор к приему сравнения, но делает это продуманно и обоснованно, без всяких натяжек.

Поэт он подчеркнуто земной. И небо своей высоты держит крепко в руках, опираясь надежно на родную землю. Поэт живет в этом мире с уверенностью, что «не забыццём, а спрэс жыццём будзеш, матчын двор, навек заселены!»

Есть в книге «Неба ў руках» стихотворение «Портрет хлеба», своеобразный гимн настоящему земному чуду, на котором держится вся наша жизнь, который согласно пословице «всему голова».

Сцяга ў яго адна:
Ідзе ён з чалавекам
З-пад небасхілу дня
Да небасхілу веку.

Ён — для усіх патрэб!
Яму штодня малюся...
Вось хлеба вам
партрэт!
Няпоўны?
Дамалюйце!

Что уж тут «дамалюеш»?! В этом восклицании-вызове есть уверенность в завершенности замысла. Портрет в самом деле получился полным. Да это, по существу, портрет самого человека, созидателя, пахаря и сеятеля, отца и гражданина, защитника своей Родины. Это — общее панно всего того, о чем идет разговор во всех других произведениях книги.

Читатель очередной книги Василя Макаревича обратит внимание и еще на одно стихотворение, связанное с хлебом, — «Боханы». Темой для него послужил реальный факт. Как-то журналист Михась Потемкин рассказал поэту о потрясающем случае, который произошел с его матерью в годы войны. Здесь как нельзя лучше высветилось то божественное, что издавна связывало человека с Его Величеством Хлебом. В самый трудный час блокады, когда простреливался даже непроходимый лес, и смерть следила за человеком со всех видимых и невидимых кустов и щелей, мать будущего журналиста направлялась в партизанский лагерь, несла на блокадный остров спасительный хлеб, свежие, только из печи боханы. И только она вошла в лес, как в спину градом ударили пули. Пряталась за стволы деревьев, бежала, пригибаясь, но пули ложились так густо, что спасения, казалось, уже не будет. Но пули принимали на себя те самые боханы хлеба, что были в хотуле за спиной у женщины. Свою дорогую ношу она все же донесла до лагеря, осталась живой и спасла от голода партизан. Правда, ржаной белорусский хлеб на этот раз имел тяжелую свинцовую начинку. Одно стихотворение очень логично и убедительно дополняет другое, хотя в книге они стоят и не рядом, а так, как и писались — в хронологической последовательности.

Ад гулу
Ажно гойдаўся навес.
Ішоў па кругу бохан, ноччу спечаны,
Хоць кулямі пабіты быў увесь,
Як семкамі даспелымі
Сланечніка.

Зірнеш у тыя дні,
Як з-пад нябёс,
Нібы ў свайго стагоддзя радаслоўную,
І ўбачыш не спіну, а матчын лёс,
Што боханамі быў ад куль
Заслонены.

Кстати, в стихотворении сама по себе возникла и еще одна тема, не менее важная для автора. Ведь речь в нем идет не только о хлебе и невероятном случае, который произошел в трагическое для Родины время. Автор убедительно говорит нам и о нелегкой судьбе белорусской женщины.

Портреты, как убедился я, — это своеобразный макаревичевский жанр, со своими приемами, художественными средствами, где всегда преобладает образная сторона зрения, но есть и хорошее историческое и бытовое подкрепление. Немало написал

Василь Макаревич портретов наших знаменитых поэтов, которые жили в далеком и недалеком прошлом. Янка Купала, Евдокия Лось, Михась Стрельцов, Юрась Свирка, Алесь Шлег, Иван Рубин — вот далеко неполный перечень тех, кому поэт посвятил свои проникновенные строки. Почти все эти стихи созданы на основе реальных фактов, событий. Их порой нет в биографии, но в судьбе они были.

Некоторые портретные стихи путем ассоциативных рассуждений и уточнений развертывались в целые поэмы.

Многим произведениям Василя Макаревича характерны исповедательные мотивы. В них немало личного, глубоко интимного, автобиографического. Особенно это присуще его ранним стихам. Однако свое собственное «я» поэт связывает с общечеловеческим и государственным. Так, автор, рассуждая почему произошла Чернобыльская катастрофа, показывает ту атмосферу и события, которые предшествовали ей и стали предвестниками страшной беды. Используя прием гиперболы и сарказма, В. Макаревич дает совсем не лестные характеристики тогдашних ответственных руководителей.

Немало в творческом активе поэта стихов с публицистическим накалом и страстью, но наполненных лирическим звучанием и душевным откровением. Характерны в этом отношении «Белавежа», «Дуб пад Нясвіжам», «Няміга», «Крычаў».

Возраст и опыт, они, как звенья одной цепи, всегда взаимосвязаны. Возраст почти всегда влечет за собой опыт, но у поэзии свои законы и условности, и она все время требует возвращения в детство, где все ощущения бывают только первыми. Даже та самая мечта о небе, о которой, повзрослев, можно было бы и не вспоминать, неожиданно заявит о себе, да еще с такой силой. Случилось так, что небо снова, как и тогда, в детстве, когда его удерживала тонкая нить воздушного змея, оказалось в руках поэта. В космическое пространство полетел земляк его, парень из села Белого Владимир Коваленок. И уже не мечта, да и не зависть, а настоящая гордость распрямила крылья и самому поэту. Воображением своим автор там, вместе с космонавтом, вблизи звезд, и, тем не менее, родное, земное, становится еще более ощутимым и притягательным. Как будто соперничают и борются между собой два сильных притяжения — небесное и земное:

Жыццёвай сталасці паўдзён
Прыйшоў ні позна, ні зарана.
Сто сорак дзён, як баразён,
Да зор высокіх узарана.

Спазнаў тугі і соль, і золь,
А ў сэрцы цепліцца іскрынка
Харошай згадкі аж ля зор
Пра хлеба чэрствую скарынку.

Читатель отчетливо понимает, какую «скарынку» имеет в виду автор. Разговор идет о все том же послевоенном хлебе, о голодном и холодном детстве, которое и у поэта, и у космонавта было одинаково не сладким. Но оно не погасило мальчишескую мечту о звездном небе, о извечных заоблачных тайнах.

Значительное место в книге «Неба ў руках» занимают поэмы. Некоторые из них имеют форму развернутого поэтического портрета. Заслуживает внимания и поэма «Лісты з Юрмалы», где автор сосредотачивает свое внимание на творчестве одного из талантливейших поэтов XX столетия Пимена Панченко. Форму переписки В. Макаревич избирает не случайно. Старший товарищ по перу в свое время поддержал добрым словом младшего. Василь Макаревич бережно хранит письма от Пимена Емельяновича, по-отцовски искренние, теплые. Не каждый может похвастаться таким вниманием к себе классика. Поэма «Лісты з Юрмалы» — своеобразный ответ на письма Пимена Панченко, но не только. Произведение, скорее всего — большой и откровенный разговор о предназначении поэзии, о весомости поэтического слова, о творческом мастерстве да и трудностях творчества. А для нас, читателей, важно и само авторское понимание великой службы поэзии. Ведь у нее жизненное, гражданское предназначение. Обращаясь к своему учителю, поэт рассужда-

ет и о времени, и о своем отношении к творчеству. Доверительный тон его рассуждений иногда сменяет гневный публицистический накал:

Страх наскрозь
З жудою прабірае.
Хто сказаў? Каму не забаліць,
Што як быццам муза прыбіральні
Выскрабаць павінна
Ды скабліць?!

Хіба мала зведала за годы
Здзеку і людской неправаты!
Досыць, што яе з вярхоўнай згоды
Босую кідалі на драты.

Когда-то любители поэзии с восторгом встретили поэму В. Макаревича «Мацярык маленства». У каждого человека есть материк с подобным названием, у каждого найдется на этом пространстве свое незабываемое и неповторимое. У Василя Макаревича оно имело свои поэтические открытия. «Ода маці» является своеобразным продолжением давней поэмы. Но это в большей степени исповедальное произведение. В нем поэт со свойственной ему откровенностью говорит о сыновьей любви к матери, обобщая свои чувства до общечеловеческих.

Возвращаясь памятью в прошлое, поэт спрашивает и себя: «Не ведаю, ці быў я добры сын і ці магу чым-небудзь пахваліцца?»

Прошлое нельзя отделить от настоящего. Оно все более явственно проступает через реалии сегодняшнего дня. То, что в юности виделось в наивном и романтическом свете, в зрелые годы осмыслилось совсем по-иному. Поэт теперь понимает, что недостаточно в жизни только созерцать, необходимо ко всему, большому и малому, подходить с чувством ответственности. Даже в том, где нет твоей вины, есть всегда твоя мера ответственности. Поэт близко к сердцу принимает и чужую боль. А это уже ответственность. «Я пра сваё, я толькі пра сваё, а значыць, кожным словам і — пра ваша! — признается В. Макаревич. И вот еще какая мысль поэта устраивает меня, читателя. Он всегда думает о тех, кто будет жить после нас, он в ответе и за будущее:

Калі навісне
Над гняздом бяда,
Яе адводзіць птушка у маленні
Не толькі ад бязвіннага гнязда,
Але і ад наступных
Пакаленняў.

Только любовь к ближнему должна руководить всегда поэтом. И нельзя тут не согласиться с Евгением Винокуровым, который однажды сказал: «Нет ничего художественней, чем любовь к людям». Именно человеколюбием и проникнуты лучшие стихи и поэмы В. Макаревича. А еще поэт всегда верен жизненной правде, и восприятие самой правды у него всегда обостренное, он не терпит поверхностного взгляда на жизнь, ему важна его артезианская глубина.

Книга «Неба ў руках» начинается стихами о телеграмме, вернее простым авторским открытием: сама по себе телеграмма весит какой-то миллиграмм, но слова на ней часто весят целые тонны людских радостей и бед. Настоящей художественной весомости желает автор и своим стихам. А книгу свою он заканчивает стихотворением «Слова», где еще раз декларирует свою основную творческую задачу: «Галоўнае — колькі заважыць і слова мае, і радок». Ноша поэта всегда взвешивается на весах времени. Уж оно не ошибется. А пока можно утверждать, что у поэта Василя Макаревича есть в стихах то, о чем когда-то говорил другой поэт, то самое «весомо, грубо, зримо». А еще есть высота, которая притягивает и к которой он стремится.

Казимир КАМЕЙША



С точки зрения рецензента

О «дневниковой прозе поэта» Виктора Шнипа

Вот она лежит передо мной, новая книга Виктора Шнипа под названием «Пугачоўскі цырульнік». Но это не очередной стихотворный сборник известного белорусского поэта, это... проза...

Проза поэта...

Странно как-то звучит... что-то вроде знаменитой «квадратуры круга»...

Впрочем, выражение «поэзия прозаика» не звучит вовсе...

Потому, может, что ни один прозаик с возрастом не превращается в поэта, а вот примеров обратного превращения превеликое множество.

Взять хотя бы Владимира Короткевича...

А из современных — Раису Боровикову и Алеся Бадака...

А вот Рыгор Бородулин так и остался поэтом...

Как и Владимир Мозго...

Виктор Шнип тоже не «изменил» поэзии в этой своей почти целиком прозаической книге. И не потому даже, что открывается книга лирическим стихотворением автора о родной деревушке Пугачи, а заканчивается целым стихотворным циклом. Просто вся проза «Пугачоўскага цырульніка» настолько пронизана лирикой, что, читая, я невольно воспринимал коротенькие эти зарисовки, как некие своеобразные свободные стихи, почему-то не разбитые автором на отдельные поэтические строчки...

Наверное, так и должна выглядеть настоящая «проза поэта»?

Точнее: «дневниковая проза поэта», где нет ни связного (а тем более, захватывающего) сюжета, ни литературных героев, ни кульминации, ни развязки...

Зато есть нечто другое, то, что заставляет читать книгу, не отрываясь, несмотря на отсутствие в оной всего вышеперечисленного...

И я, перевернув самую последнюю страницу «Пугачоўскага цырульніка», понял вдруг, что писать об этой книге можно лишь следуя ей самой: такими же небольшими лирическими зарисовками, стараясь посредством их донести до читателей свое впечатление о прочитанном и свое понимание прочитанного...

Ну, а получилось это у меня или нет — судить читателям...

* * *

Сначала никак не мог уразуметь смысла названия. Ну, что «пугачоўскі» — ясно, по названию деревеньки, а вот почему «цырульнік»?

Дойдя до одноименной миниатюры, понял (поэт, приезжая в родную деревню Пугачи, всегда брил и стриг отца), но не совсем. Не понял, почему именно эта небольшая заприсовочка дала название всей книге?

Лучших названий не нашлось, что ли?

Читая дальше, подсознательно выискивал лучшие, найдя более менее подходящее, невольно «примерял» его на предмет оглавления.

И знаете, ни одно так и не выдержало «примерки», все начисто проигрывали «пугачоўскаму цырульніку».

Что это, магия слов, что ли?

И лишь дойдя до самой последней зарисовки-миниатюры, до самых последних горько-щемящих слов

«...мне цяпер не трэба быць цырульнікам», понял...

И смысл названия, и смысл всей этой дневниковой книги...

* * *

Дневниковой ли?

С одной стороны, хронология записей в книге вполне соответствует всем правилам ведения личного дневника: год, месяц, число. И конкретное событие (или неожиданное воспоминание), произошедшее именно в этот день...

Как, к примеру, в короткой записи, от 7.09.2011...

«Усё лета чакаў хакея. А хакея заўтра не будзе... Будзе жалоба...»

Это о гибели хоккейной команды ярославского «Локомотива». Вполне дневниковая запись, хоть и вполне лирическая. Разбив на отдельные строчки: получим свободный стих...

Верлибр, то есть...

Или вот запись от 11.02.2011.

«На кніжным кірмашы прадаваў сваю кнігу, нібыта парася, каб у добрыя рукі трапіла...»

Тоже верлибр, и тоже вполне «дневниковый»... да иначе и быть не могло в «дневниковой прозе поэта»...

Но вот запись, датируемая 12.03.2011.

«Тэлефонныя коды... Тэлефонныя воды... Тэлефонная вада... Нешта ў гэтым ёсць вясновае...»

Верлибр чистейшей воды... и без всякой даже привязки к данному конкретному числу...

Разве что к самому месяцу марту с его бурным таянием снежных сугробов...

А встречаются под некоторыми датами и самые настоящие стихи... просто стихи и ничего кроме...

* * *

А может, это все же не просто дневниковые записи?

Может это... повесть?

Не отдельные, почти не связанные между собой, лирические зарисовки, а самое настоящее повествовательное произведение. Пусть и документально-автобиографическое, но с главными героями, проходящими через все повествование, с героями второстепенными, эпизодическими, появляющимися и вновь исчезающими...

Но все они, даже те, кому посвящено всего две-три строчки, живые и запоминающиеся, будь то пьяный старик, свалившийся от выпитого «чернила» под лавку возле соседнего подъезда, или... попугай Северус, которого сын поэта Максим упрямо называет Рузвельтом.

* * *

Три года жизни Виктора Шнипа охватывает «Пугачоўскі цырульнік», с 2009 по 2011... всего лишь три года...

Три года жизни — много это или мало?

Сразу и не ответишь...

Ведь столько разных событий может произойти за такие короткие (и такие долгие) три года... столько надежд и разочарований, приобретений и горьких потерь...

Потерь родных, близких, друзей...

И самое страшное, когда теряешь родителей...

Тем более, в один год...

У меня между смертью матери и смертью отца прошло более двадцати лет. Мать умерла еще совсем молодой (я служил тогда в армии), отец — будучи уже пенсионером...

Но все равно это было страшно...

* * *

В этой книге немало воспоминаний автора о детстве...

О том, как в пять лет впервые увидел гнездо с желтоклювыми птенчиками. Хотел он погладить, а птенчик вместо благодарности больно клюнул за палец...

Как бегали они по деревне летом в одних трусах, все такие загорелые и до такой степени чумазые, что даже родители часто не узнавали, где чей...

Про самодельный пистолет (который, тем не менее, как-то стрелял),

хранившийся в тайнике под полом и выброшенный потом в пруд...

О первых стихотворных опытах... и тут же — о неудачной попытке записать одно из таких стихотворений... гусиным пером...

И о том, как в тринадцать лет будущий поэт зарыл свою тетрадь со стихами, чтобы кто-нибудь когда-нибудь, обнаружив ее, возрадовался этой находке, как самому ценному кладу...

Интересно, воспользовался ли после сам Виктор Шнип хоть чем-либо, хоть строчкой одной из той, самой первой своей поэтической тетрадки?

* * *

Многие зарисовки-миниатюры «Пугачоўскага цырульніка» — это воспоминания Виктора Шнипа об учебе в Литинституте. В этих коротеньких зарисовках так много юмора, что поневоле вспоминается бравый солдат Швейк Ярослава Гашека.

И в самом деле почти по-швейковски звучит история о том, как Виктор Шнип выбирал иностранный язык для обучения, и выбрал в качестве такового... русский. И, конечно же, был там круглым отличником, среди поляков, монголов, грузин...

Как курил, сам того не ведая, вместе с никарагуанскими студентами... марихуану...

Как пригласил казашку Баху в ресторан на пиво с креветками, а денег, чтобы расплатиться за съеденное и выпитое, не хватило...

Как пил кумыс и рисовую водку с монгольскими студентами и, опьянев, рассказывал им как здорово наше ВКЛ било когда-то их Золотую Орду. Правда, рассказывал он все это на... белорусском языке, так что монголы ничегошеньки из сказанного не поняли и потому нисколечко не обиделись...

О встрече с Андреем Вознесенским в 1986 году... и как не повел свою Людмилу на рандеву с Николаем Караченцовым из опасения, что харизматичный артист возьмет да и отобьет девушку...

Так подробно, с такой теплотой и даже ностальгией вспоминает автор об этих двух годах учебы в Москве...

И так мало, вскользь, о предшествующих семи годах, когда будущий поэт вынужден был, перебиваясь случайными заработками, медленно торить свой нелегкий путь от подножия к самым вершинам литературного Олимпа.

* * *

Впрочем, за эти семь «творчески-безработных» лет Виктор Шнип познакомился со многими белорусскими писателями, а с некоторыми даже и подружился. И для каждого из них нашлось хоть несколько теплых строчек в этой книге...

Но больше всех остальных мне запомнились почему-то следующие две истории...

Как приходил начинающий поэт почти каждую неделю в гости к Рыгору Бородулину со своими новыми стихами. И как Бородулин, то ли в шутку, то ли всерьез предлагал ему посоревноваться в... чистке картофеля...

И как в 1983 году Виктор Шнип впервые встретился с Василем Быковым в Доме литератора на праздновании тридцатилетия журнала «Маладосць». И как великий писатель шутливо разрешил молодому поэту... сидеть в своем присутствии...

Почему именно эти две?

Не знаю...

Потому, может, что малая родина и Василя Быкова, и Рыгора Бородулина — неповторимый Ушачский край с его живописными лесистыми холмами, чистейшими родниками и озерами, героическим партизанским прошлым?

И потому еще, что Ушачский край — это и моя малая родина...

* * *

Поймите меня правильно: все вышеизложенное — не критическая статья и, тем более, не литературоведческий очерк.

Все это — лишь мои личные размышления о только что прочтен-

ной книге, размышления, возможно, несколько разрозненные и даже сумбурные, но, тем не менее, вполне искренние.

Читателю любая книга может понравиться, а может и нет. И до такой степени может не понравиться, что он откладет ее в сторону, не дочитав...

Новую книгу Виктора Шнипа я дочитал до конца. А потом еще и перечитал некоторые, особо запомнившиеся мне миниатюры...

* * *

О книге «Пугачоўскі цырульнік» можно писать еще и еще, но размер журнальной статьи, увы, ограничен. Но, заканчивая, я все же не могу не привести одно из стихотворений Виктора Шнипа (из этой книги, разумеется, и в моем, разумеется, переводе). Прочитайте его и вы поймете, насколько тесно переплелись между собой в «Пугачоўскім цырульніку» проза и поэзия. И как дополняют они тут друг друга...

* * *

Еще далековато до зимы,
И ты глядишь на мир и понимаешь,
Что дом чужой — подобие тюрьмы,
И до зимы никак не успеваешь
На волю выбраться, и в дом родной
Придти... так весть желанную приносят
И, души наполняя теплотой,
Она весною заменяет осень...
А впрочем, далеко еще зима,
На ниве жизни зеленеют всходы,
И, словно непрочтенные тома,
Так нелегко непрожитые годы
Считать и думать: «А позволит Бог
Все то познать, что ты познать желаешь?»
И лист осенний падает у ног,
И, как звезду, его ты поднимаешь,
И в дом чужой несешь, чтоб посветлел,
Как дом родной, что по тебе скучает...
Где белая скатерка на столе,
Как давний снег, лежит и все не тает...

Геннадий АВЛАСЕНКО



С точки зрения рецензента

Прихожане к храму усердны

Знаете ли вы (хотите ли узнать?), какое штатное жалованье получал священник, дьячок и пономарь сельской церкви в Российской империи в 1867 году?

Священник получал 160 руб., а вот дьячок — 40. Пономарь и того меньше — 32 рубля. Жалко пономаря... Правда, по усмотрению епархиального начальства ему (как и иным) могло быть добавлено еще 8 рубликов. И то сказать: из неграмотных. Пускай спасибо скажет. Но все равно жалко.

Откуда же можно почерпнуть столь незначительные, на первый взгляд, сведения? Оказывается — в церковных летописях. По Указу Святейшего Синода от 19 января 1864 года по всей России при духовных консисториях были основаны архивные комиссии, а четыре года спустя все епархии обязаны были создавать исторические и статистические описания своих приходов и местностей.

Вот, к примеру, книга «Летапіс Дукорскай Петра-Паўлаўскай царквы (1867—1917)», увидевшая свет в Издательском доме «Звязда» в нынешнем году. Текст летописи хранится в Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства.

Конечно, в том, какова окажется летопись, большое значение имела личность священника, его добросовестность, старательность, наконец, уровень образования. Дукорской Петро-Павловской церкви, конечно же, повезло: здесь служил Богу и людям священник Григорий, Федоров сын, Шимановский, священника сын.

Григорий Шимановский был известен не только деятельностью на духовном, но и на педагогическом поприще: в 1857 году при церкви он устроил училище, причем без всякого пособия от казны. Обучалось в нем поначалу 30 крестьянских деток. Ну а когда число учащихся достигло 75, было оно преобразовано в народное с жалованьем учителю 150 рублей и 6 рублями на училищные расходы. Еще через год была устроена и женская смена, в которую записалось 25 девочек, и пособием надзирательнице (супруге священника Екатерине) 50 рублей в год. Следует, однако, заметить, что посещали занятия крестьянские дети неаккуратно: и по причине отдаленности деревень, и по недостатку одежды и, конечно, из-за недостатка еды, а следовательно, слабости и болезней.

Дукорская Петро-Павловская церковь, построенная в свое время князем Агинским, долгое время была униатской. Однако посещали ее и православные, и, как сообщает летопись, прихожане часто устраивали споры, обвиняя друг друга в неправоверии. Ко времени же служения Григория Шимановского, приход стал полностью православным.

Интересно, что на территории Игуменского уезда проживали 12 семей магометан. Они хранили свою веру, и только один крестился в православие. Это были потомки магометан, приглашенных когда-то князем Витовтом для защиты границ (за что они получили права дворянства, однако ныне образ жизни вели крестьянский: пахали землю, выращивали на продажу коней).

Есть в местечке и евреи, сообщает священник, но очень бедные. Одна из молодых евреек крестилась в право-

славие, получила имя Мария и тут же вышла замуж за некоего Вишневского, унтер-офицера Воронежского полка, квартировавшего в Дукоре. Видимо, общая вера была условием любви и семейной жизни.

«Прихожане к храму усердны и покупают достаточно свечей в церкви, но других жертв не делают по причине бедности», — записывает священник. Прочитав эти сточки, я вспомнил моего деда, священника Ивана Константиновича Пушкина, у которого был приход в бедной деревеньке Ослянка на Мстиславщине, вспомнил, как мы вручную делали тонкие свечи из купленного воска — это была единственная статья дохода священника. Впрочем, случались еще крестины, соборования, панихиды... А еще помнится, как ждали деда на Пасху после всенощной, рассчитывая на какие-то вкусные пожертвования, но привез дед только корзину крашеных яиц. Понятно: недавно закончилась война, люди жили впроголодь. Что делать с яйцами? О холодильниках еще никто не слышал, а ледника не было... Ели яйца и утром, и в обед, и вечером.

Сообщает Григорий Шимановский об уважении и любви крестьян к своим предкам, о третинах, девятинах, сорочинах, которые они обязательно устраивают по умершим близким, накрывают, как могут, стол с доступными яствами, приглашают священника и внимательно, с надеждой слушают литию над кутьей и слова о загробной жизни. «Помяни их, Господи, во царствии Твоем» — известные в славянском мире слова.

Сообщает и о чрезвычайных событиях, к примеру, о «затемнении» солнца, о холодной весне и неурожайном лете, о том, что уже в середине сентября выпал снег, а затем последовал большой разлив Свислочи. И даже о частых появлениях волков, которые нападали на стада и ночью, и днем.

«В летнее время во многих местах падал скот, в деревне Матарово на 40 семейств осталось после падежа 30 штук (видимо, лошадей и коров)». Это — летом. Что же было зимой? О том летопись умалчивает.

Подписывали летопись за каждый год два священнослужителя: сам священник и дьячок Михаил Пигулевский.

Случались и чудеса в уезде. В 1858 году во время эпидемии холеры в деревне Дукорки совершался крестный ход с иконой Божией Матери — холера отступила.

Регулярно встречаются краткие записи: «Особых явлений в нравственном и физическом отношении не было». «Нравственное состояние удовлетворительное». Однако открыто и честно сообщает священник и о том, что многие прихожане имеют склонность к пьянству, а где пьянство, там и воровство. Конечно, «для отвращения от всего этого неопустительно произносятся в церкви поучения», но видимо успех таких проповедей был невелик и не явно заметен.

Читая Летопись, можно найти сведения и о личной жизни священника. Вот осенью 1874 года Григорий Шимановский переуступил право преподавать в народном Дукорском училище своей дочери, которая окончила курс обучения в училище девиц духовного ведомства и получила от дирекции свидетельство на право преподавания.

А вот и о том, что в 1875 году настоятель за ревностную службу награжден монаршей наградой — камилавкою (сие — головной убор, считавшийся высокой наградой).

Летом того года семью священника постигло несчастье: пожар истребил жилой дом, два амбара, конюшню, варивню, погреб, ледник. Потери по свидетельству полиции составили 2 500 рублей. В воспомоществование епархиальное начальство выделило ему 60 рублей серебром, посильную помощь деньгами и съестными припасами оказало соседнее духовенство. Однако поднять дом — задача не простая, прошел год, а семья священника по-прежнему жила в ветхой крестьянской избе. «Через это причт терпит большое разорение».

Дукорский храм тоже постепенно пришел в плачевное состояние. Каждый год в Летописи появляются строки о необходимости срочного ремон-

та крыши, стен, устройства притвора, замены кирпичного пола на деревянный, поскольку зимой у прихожан мерзнут ноги. На починку церкви за три года прихожане внесли 477 рублей, но этого, по-видимому, было недостаточно, и священник до начала работы рачительно хранил их в коммерческом банке.

Случались и неожиданные расходы из церковной кассы: в 1881 году по случаю убийства Александра II церковь приобрела хоругвь с изображением святого благоверного кн. Александра и святой мученицы Евдокии.

Несмотря на бедность, приносили прихожане до десяти и более рублей в год. И время от времени что-то приобреталось: риза, подризник, кадильница, медно-вызолоченная чаша, новые иконы и т. д. А то и два колокола в память об освобождении крестьян, один в пять пудов, второй — одиннадцать. Стоили они немало, по 100 рублей серебром каждый, и, скорее всего, деньги были отпущены Минской епархией.

И, наконец, в 1884 году ремонт состоялся. Храм был обновлен и снаружи, и внутри.

В 1888 году Дукорская церковь по указанию Св. Синода отпраздновала 900-летний юбилей крещения Руси. Событие по тем временам немалое, и священник обстоятельно рассказывает, как это происходило в Дукоре. О крестном ходе к реке, шатре из зелени и цветов на месте освящения воды, о всенародном пении и целодневном колокольном звоне.

В следующем году тоже был юбилей: 50-летний юбилей воссоединения униатов с Православной церковью.

Интересно, что, судя по записям настоятеля, женщины чаще посещают храм, чем мужчины и чаще исповедуются, но трехдневного говения избегают. Причем охотнее исповедуются пожилые женщины, нежели молодые. Понятное дело, у молодых больше грехов, признаваться в них не хочется, а до последней исповеди еще далеко.

В большинстве своем прихожане посты соблюдают, — сообщает священник, — а некоторые и *четвергуют*, то есть вовсе не едят с вечера четверга до Пасхи.

Сообщает настоятель и свои наблюдения над нравственностью прихожан. Здесь он находит много отрадного: крестьянин не любит обижать людей и сам не злопамятен, неблагодарность считает признаком злого человека. Сильно развито сострадание к несчастным, увечным, а особенно к погорельцам: помогают друг другу в случае такой беды.

В 1896 году протоиерей Григорий Шимановский за заслуги в народном образовании был награжден орденом Св. Анны 3-й степени.

Finis et Gloria Deo. В 1898 году Григорий Шимановский, прослуживший в храме 46 лет, умер. Место заступил его сын Николай, окончивший Минскую духовную семинарию.

Молодой иерей старался не уронить мнение и крестьян, и начальства о приходе. Он так же, как отец, добросовестно ведет летопись, занимается школьным образованием (получил благодарность от Минской дирекции за весьма хорошую подготовку учеников к экзамену). Хлопочет Шимановский и о внешнем и внутреннем виде храма.

Споспешествовали ему и изменившиеся обстоятельства. К началу нового века жизнь крестьян несколько улучшилась, усилилось желание учить детей в школах, выросли и пожертвования (например, крестьяне отвели одну десятину земли под двухклассную школу). А в 1901 году обветшавшая гонтовая крыша храма была заменена на жестяную оцинкованную.

Однако сказать, что проблем в жизни Дукоры и причта не было, нельзя. Например, священник Гахович, нарушив межевые знаки, возвел на усадьбе Николая Шимановского свои холодные постройки, отняв таким образом более ста квадратных саженей земли. Диакон Василий Мигай был уволен от должности учителя в церковно-приходской школе по жалобе того же Гаховича, заведующего этой школой. В следующем году по встречной жалобе Мигая от законоучительства был уволен уже Гахович. Так что совсем непросты были здесь отношения меж людьми.

События в Российском государстве не могли не откликнуться в Дукоре. После Манифеста 17 октября появились агитаторы, и нравы жителей начали меняться. Ослабели духовно-нравственные основы жизни, происходит огрубение нравов. Воры взломали даже вход в ризницу церкви, чего никогда прежде не случалось. А некоторое время спустя были зверски убиты два человека по подозрению в краже лошадей.

Записывает священник и о кольцеобразном затмении солнца и об ужасной гибели «Титаника».

В 1913 году Россия отмечала 300-летие царственного дома Романовых. В Дукоре на главной площади при большом стечении народа торжественный молебен служили два причта местных церквей. (А вот опять из воспоминаний моего деда: недалеко от храма выкатили бочки с бесплатным пивом. Народ очень доволен.)

Началась великая европейская война и тотчас привела к усилению благочестия в народе, увеличению пожертвований, патриотическим манифестациям... Но и к удорожанию продуктов.

А вот и последняя запись, помеченная 1917 годом. Она о том, что в России в феврале-марте произошла революция, однако «заметного разлагающего действия пока не произвела». Что готовило грядущее, священник Шимановский вообразить, конечно, не мог, ну а мы постепенно о том забываем.

Предисловие, комментарий к книге написал ее составитель Владимир Кулаженко, научный редактор, кандидат исторических наук Михаил Шумейко, а весьма обстоятельную краеведческую статью, наполненную судьбами известных (и малоизвестных) людей этого края, предложил Алесь Карлюкевич: «Летапіс Дукоры — гэта людзі. І яны жылі ў старажытным паселішчы ў суладдзі з верай сваіх прашчураў».

Олег ПУШКИН



Предметный разговор

Верой и правдой служили Отечеству!..

Сегодня мало кого можно удивить примером настойчивого генеалогического поиска. Многие хотят знать, где и от кого их истоки, откуда берет начало родовое древо семьи. Но вот то, что уже сделал белорусский исторический писатель Анатолий Стецкевич-Чебоганов удивляет, а скорее даже восхищает. И вот почему. Талантливый управленец высшего государственного звена, он в конце 1980-х занялся частным предпринимательством. За плечами были и опыт, и образование (первое высшее получил в Ленинградском институте точной механики и оптики по специальности «Электронные вычислительные машины», «Системы управления баллистическими ракетами подводных лодок», а в Великобритании окончил школу «Англо-континенталь» по специальности «Мировая экономика», «Английский язык»). Но бизнес бизнесом (у Анатолия Васильевича он связан с производственной сферой легкой промышленности), а находится у талантливого человека время на кропотливую работу по исследованию не только своего генеалогического древа, но и многих других дворянских родов. Как итог — уникальный книжный проект «Я — сын Ваш. Летопись белорусской шляхты» — серию оригинальных изданий, посвященных древним белорусским родам, благословил Высокопреосвященнейший Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет. Кстати, Анатолий Васильевич — один из устроителей памятников святой благоверной Софии, княгине Слуцкой. Памятники установлены в 2000-летие от Рождества Христова в городе Слуцке и в память 400-летия преставления святой 31 марта 2012 года в Минске. Принимал участие писатель и в восстановлении и строительстве храмов Космы и Дамиана в местечке Вишнево Воложинского района, Вознесения Господня в деревне Семково, Рождества Богородицы в деревне Семков Городок Минского района.

Анатолий Стецкевич-Чебоганов награжден Русской Православной Церковью орденами Святой праведной княгини Софии Слуцкой, Святителя Кирилла Туровского I степени, святого равноапостольного князя Владимира III степени, медалью Святителя Кирилла Туровского. Российская генеалогическая федерация научный творческий поиск белорусского литератора отметила медалями «За вклад в развитие генеалогии и прочих исторических дисциплин» I и II степени. О том, как начинался поиск, с какими трудностями сопряжены исторические изыскания, к каким выводам за годы своей генеалогической работы пришел писатель, и пойдет разговор с Анатолием Стецкевичем-Чебогановым, лауреатом специальной премии Президента Республики Беларусь деятелем культуры и искусства.

— Анатолий Васильевич, вы известны как автор серии книг по истории древних белорусских родов. Первый том серии «Я — сын Ваш. Стецкевичи, Сацкевичи-Стецкевичи герба “Костеша”. Карафа-Корбуты герба “Корчак”» в 2012 году был отмечен дипломом I степени в номинации «За вклад в сохранение духовного наследия» на 51-м Национальном конкурсе «Искусство книги», а также Республиканской литературной премией «Золотой Купидон» в номинации «Лучшая книга 2011 года».

И вот снова событие: выход в свет очередного тома «Казановичи герба «Гржимала», который был отмечен на VII международном конкурсе изданий «Просвещение через книгу» (Москва) дипломом «За сохранение духовного и культурного наследия» и специальным призом с изображением: «Святитель Филарет, митрополит Московский». Что послужило поводом для исследования именно этого известного на Могилевщине древнего рода?

— Представители рода Казановичей оставили яркие страницы в истории Отечества. Один только факт, что шесть сыновей Гавриила Петровича Казановича участвовали в Отечественной войне 1812 года, не может не заинтересовать писателя. Все они мужественно сражались во многих битвах: в Галиции, Саксонии, Франции. Награждены боевыми орденами. Один из братьев погиб под Тарутиным.

Особо хочу отметить Алексея и Гилярия Казановичей, поручиков Ахтырского гусарского полка, участвовавших в Бородинском сражении и за проявленную храбрость награжденных золотым оружием. Имя Гилярия Казановича «как кровь пролившего» увековечено на памятной доске Храма Христа Спасителя в Москве. Позднее Алексей и Гилярий Казановичи стали подполковниками, «многих орденов кавалерами».

Еще один из сыновей Гавриила Казановича, Федор, стал капитаном, впоследствии жил в Литовско-Виленской губернии Брестского уезда.

Интересно сложилась судьба Василия Гаврииловича Казановича. Как пишет в своих воспоминаниях его правнучка Елена Казанович, ее прадед во время войны 1812 года «организовывал из крестьян партизанские отряды, действовал <...> смело и решительно».

— Есть и другие упоминания о поручике Казановиче...

— Да, о нем рассказывает в своем «Дневнике партизанских действий» герой войны 1812 года Денис Давыдов. В 1814 году Василий Казанович вступил с русскими войсками в Париж. Награжден медалью «За взятие Парижа». Вернулся в Россию с молодой женой, очаровательной француженкой Терезией Колен.

— Как видно из вашего исследования, в роду Казановичей — деятели различных идейно-политических направлений и устремлений. Например, Борис Ильич Казанович — известный русский генерал, участник Гражданской войны, сделавший свой выбор в пользу белого движения...

— Совершенно верно. А вот Лидия Павловна Казанович (Езерская), например, принадлежала к партии эсеров; Евлалия Павловна Казанович — одна из основателей Пушкинского дома, собиратель фольклора Могилевской губернии, внесшая весомый вклад в культуру Беларуси и России.

В этом же томе опубликованы записанные ею «Волочобные песни» и «Говоры Озеранского края». Интересен тот факт, что Александр Блок оставил в альбоме Евлалии Казанович запись со своим последним стихотворением-посвящением «Пушкинскому Дому».

Несмотря на различие идейных устремлений, у всех Казановичей было одно общее — это верность долгу, следование которому придавало им силы в самые трудные моменты жизни. Как отмечает академик Национальной академии наук Беларуси Владимир Гниломедов в статье «Амбициозный проект белорусского историка», анализируя мой труд по исследованию рода Казановичей, «политическая направленность вряд ли играла в их (представителей рода Казановичей — авт.) жизни и поступках главную роль, более опре-

деляющими являлись традиции, мораль и нравственность, стереотипы мышления, представления о "правильном"».

И это верно, так как каждый представитель рода брал в наследство от предков опыт, жизненные принципы, традиции семьи, ее идеалы.

Представители рода Казановичей сыграли заметную роль в российской истории начала XX века.

— Расскажите, пожалуйста, поподробнее о генерале Казановиче...

— Генерал-лейтенант Борис Ильич Казанович — известный участник белого движения на юге России в период гражданской войны. Так случилось, что еще в юности, после прочтения произведения Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам», меня заинтересовала судьба одного из героев этого романа: генерала Казановича. Алексей Толстой, принявший после эмиграции советскую реальность и воспевавший ее, все-таки показал в романе «Хождение по мукам» положительный образ белогвардейского генерала Казановича, восхищаясь его решимостью, твердостью характера и личной смелостью. На примере генерала Казановича писатель создал обобщенный образ офицера Добровольческой армии, «прокаленной насквозь железной дисциплиной, поражаемой и отступающей, но, как механизм послушной воле единого командования», идейно противостоящей Красной Армии.

До конца жизни, будучи в эмиграции, генерал Казанович был председателем Главного правления Союза участников 1-го Кубанского похода и Общества офицеров Генерального штаба в Югославии.

— Анатолий Васильевич, ваше творчество представляет как для историков, культурологов, так и для простого читателя особенный интерес, позволяя следить не только за отдельными звеньями истории одного рода, но и способствует представлению о жизни отдельных представителей ряда поколений, а в целом — общества...

— Этими устремлениями я и руководствовался. Мне хотелось нарисовать целостную картину развития общества. Ведь личности тем и интересны, что работают на весь народ, служат Отечеству...

Жизнь — она разная... А генеалогия — наука объективная. С помощью документов я старался и стараюсь всегда говорить правду. А читателю самому выбирать, где, на чьей стороне его симпатии...

К примеру, Казановичи герба «Гржимала» — это история рода за пятьсот лет, дополненная сведениями о родственниках Казановичей: Островских, Кигнах, Свентицких, Эренбушах, Данненбергах, Кануковых, Ушаковых и др. Поиск, когда занимаешься им многие годы, приносит удачные находки. Часто случайные встречи помогают восстановить истину, подсказывают, куда дальше в своих изысканиях двигаться.

Однажды мне удалось познакомиться с дневниками дочери белогвардейского генерала Бориса Ильича Казановича, Елены, эмигрировавшей во время гражданской войны и в 1950-е годы вернувшейся на родину. Елена Борисовна оставила интереснейшие воспоминания о жизни представителей семейной династии Казановичей, верно и преданно служивших своему Отечеству. И я понял, что эти дневники должны увидеть свет. Воспоминания Елены Борисовны удачно дополняют историю рода Казановичей и несомненно являются определенным вкладом в мемуарную литературу.

Примечателен тот факт, что семья Елены Казанович во время гонений на церковь спасла и сохранила икону «Образ пресвятой Богородицы Могилево-Братской», которая в августе 1995 года была возвращена городу Могилеву и сейчас находится в Могилевском Свято-Никольском монастыре...

Как отмечает доктор историко-филологических наук, профессор, председатель Родословной комиссии Союза Русских Дворян князь Д. М. Шаховской в предисловии к моей книге «Казановичи герба "Гржимала"»: «несомненно, исследование рода Казановичей, многие поколения которого верой и правдой служили своему Отечеству, являя пример дворянского самосозна-

ния, имеет большое значение как для нынешней белорусской, так и российской культуры».

— В ваших книгах огромное количество иллюстративного материала, копий исторических документов и фотографий...

— Практически каждый факт у меня подтвержден точными архивными сведениями. В конце книги даны именные указатели к родословным, географический указатель, список условных обозначений, словарь исторической лексики.

— Вами поставлена перед собой непростая задача: осмыслить историю Отечества через историю конкретного рода...

— За двадцать лет работы мной исследовано более сорока известных дворянских родов Беларуси, в основном, моих предков: Сацкевичей-Стецкевичей, Карафа-Корбутов, Рудзинских, Тычино, Ждановичей-Гуриновичей, Сытько, Липских, Забелло, Татуров, Некрашевичей, князей Глинских и Лиходиевских, Корибут-Дашкевичей, Керножицких, Мостviловичей, Гетолтов и Тышкевичей из рода Калениковичей, Реутов, Скорино, Корсаков, Завишей, Круковских, Маковецких, Пилькевичей, Забродских, Корзунов, Ушинских, Казановичей, Островских, Кигнов, Косынских, Курчевичей из Сотвы Севруков, Острейко, Тарасевичей, Кавецких, Юхновичей-Бербашей, Галинских, Ивановских, Жавридов, Врочинских, Бучинских...

Такая работа помогает увидеть, что с прошлым нас связывает какая-то изначальная привязанность и нерушимое родство. Важно понять, что хотя некоторые представители рода и пребывают ныне в забвении, но ведь в свое время они жили, любили, воспитывали детей, занимали важные государственные посты, влияли на ход исторических событий и линии людских судеб.

Исследование истории жизни каждого конкретного человека, и в конечном итоге конкретного рода, установление связей между представителями многих родов за несколько столетий дает возможность значительно дополнить эпическую картину жизни общества.

Память о прошлом неминуемо исчезает, если ее не запечатлеть. Как жили наши предки, к чему стремились, кем они были? — таким вопросам нет конца, и, считаю, все они крайне интересны для исторической науки. Важно увидеть глазами предков настоящую, неполитизированную историю своей страны, сберечь и сохранить свою веру, культуру, а в конечном итоге — свое Отечество.

— Анатолий Васильевич, остается пожелать вам успехов в такой непростой работе. А читателям — скорейшей встречи с новыми книгами серии «Я — сын Ваш. Летопись белорусской шляхты»!

Беседовал Александр КАРЛЮКЕВИЧ.



Книжная полка

Выбор Игоря Лемешко

Предлагает издательство «Мастацкая літаратура»

Алесь Марціновіч. Успамін пра будучыню. Гісторыя ў асобах. *Мастацка-гістарычныя апавяданні, эсэ. Мн. Мастацкая літаратура, 2012.*

Несколько необычное название этой книги сам автор во вступительном слове «Замест прадмовы» объясняет так: «Жадаем мы таго ці не, аднак пастаянна на нас уздзейнічае вялікая прыцягальная сіла даўніны. І толькі праз памяць аб сваіх продках чалавек па-сапраўднаму можа забяспечыць сабе дастойную будучыню. Таму і назваў я гэтую кнігу крыху нечакана — «Успамін пра будучыню», узяўшы персанажамі яе чарговую кагорту тых, пра каго грэшна не ведаць, бо іхнія лёсы — часцінка нашай гісторыі, часцінка душы беларускага народа». Алесь Мартинович неслучайно подчеркивает, что герои его новой книги — «чарговая кагорта тых, пра каго нельга не ведаць». Читатель, интересующийся национальной историей, уже знаком с его предыдущими книгами, которые выходили как в серии «Гісторыя ў асобах», так и без серийного оформления, а также тремя книгами под названием «Хто мы, адкуль мы». Тем самым, получилась своего рода историко-художественная библиотечка одного автора, в которой уже более десяти книг, а количество героев их измеряется не одной сотней. И вот еще двадцать человек, достойных нашей благодарной памяти. Это князья Ростислав Мстиславович и Давмонт-Тимофей, белорус по национальности, замечательный актер, народный артист СССР Василий Качалов. В числе тех, кем должна гордиться Беларусь: князь Франтишек Сапега, который по некоторым версиям является прототипом одного из героев известного романа Эжена Сю «Парижские тайны» Рудольфа, Михаил Янковский — он первым начал выращивать женьшень, создатель космических двигателей Семен Косберг, первый российский консул в Японии Иосиф Гашкевич, Магдалена Радзивилл, так много сделавшая для белорусского возрождения, и другие, о ком также рассказывается в книге «Успамін пра будучыню». А. Мартинович, строя свое повествование на документальной основе, придерживаясь конкретных фактов, вместе с тем, свободно излагает материал, создавая такие ситуации, которые, следуя логике развития характеров могли быть в действительности. Эти качества и характеризуют историко-художественную прозу, к которой и относятся лучшие страницы книги «Успамін пра будучыню».

Людміла Рублеўская. Ночы на Плябанскіх млынах. *Раман, аповесць, апавяданні. Мн.: Мастацкая літаратура, 2013.*

Название книге Людмилы Рублевской «Ночы на Плябанскіх млынах» дала одноименная повесть — остросюжетная, с приключенческими элементами, а вместе с тем глубоко психологическая, что, как известно, и отличает настоящую литературу от поделок. Как и в большинстве своих произведений известная писательница умело сочетает реальность и художественный вымысел. В этой повести Л. Рублевская отталкивается от мифов и легенд Минска, сюжетная канва которых используется так, что создается запоминающая

мистически-романтическая картина, в которой одним из главных героев, по сути, выступает сама история. Прошлое присутствует и в готическом романе Л. Рублевской «Скокі смерці». Журналистка Ганна Барецкая и реставратор Юрась Дамагурский превращаются как бы в следователей, пытаясь раскрыть тайну средневековья. Конечно же, это сделать не просто. Нет сомнений и в том, что в таком расследовании не обойтись без многочисленных неожиданностей, приключений, которые-то и станут своего рода главным нервом произведения. Вошел в книгу и цикл «Старасвецкія міфы горада Б*», где тесно переплетаются античные мифы с реалиями белорусского местечка. Кстати, как и с этим циклом, так и с другими произведениями читатель уже знаком. Так что о книге «Ночы на Плябанскіх млынах» можно говорить, как о своего рода избранном. Также в книгу вошли и рассказы писательницы.

Мікола Чарняўскі. Босая кавалерыя. *Аповесці, апавяданні. Мн.: Мастацкая літаратура, 2013.*

Как не согласиться с утверждением, ставшим хрестоматийным: все мы родом из детства. Вспоминаются и строки из одной песни «Детство уходит вдаль, // Детства немножко жаль». Детства, как бы там ни было, жаль не немножко. Все-таки это особая пора в жизни человека, при воспоминании о которой взгрустнется светло, вспомнится немало хорошего, того, чего, к сожалению, никогда не вернуть. И чем больше взрослеет человек, тем чаще его одолевают подобные чувства и все настойчивее становится желание возвращаться в то время, когда все деревья вокруг были еще такими большими. Писатель же, как известно, способен не только мысленно прокручивать, что и как было в его детские годы, но и, при желании, обо всем этом рассказать в своих произведениях. Что и делает успешно не первый год лауреат премии Федерации профсоюзов Беларуси и Литературных премий имени Янки Мавра и «Золотой Купидон» Микола Чернявский. Больше известный как поэт, он и в прозе чувствует себя уверенно, о чем и свидетельствуют повести и рассказы, вошедшие в книгу «Босая кавалерыя». Повесть, давшая ей название, публикуется впервые, а вот еще одна — «Бегунок пачынае думаць» — имеет уже «солидный возраст»: отдельной книгой она вышла еще в 1965 году. Но оба эти произведения, по сути, сюжетно взаимосвязаны. Кстати, об этом можно узнать и из авторского предисловия к книге «Босая кавалерыя», которое называется «І трошкі — пра сябе...»: «Мне [...] у лістах і пры сустрэчах чытачы задавалі пытанні: што стала з Бегунком (главным героем первой повести. — **И. Л.**), куды яму можна напісаць, ці будзе працяг? Аднак, як бачым, цуда не адбылося: Бегунок назаўсёды застаўся такім, якім вырашыў я праз цэлага паўстагоддзя прывесці яго на сустрэчу з вамі, сённяшнімі хлопчыкамі і дзяўчаткамі, з чытачамі нашага веку». Несомненно, оба произведения понравятся сегодняшним детям, живущим в век компьютеров, ибо, благодаря им, они откроют для себя мир детства, во многом непохожий на их детство, увидят своими ровесниками тех, которые давно уже стали взрослыми. Сами же взрослые, прочитав эти повести, как бы оживят свою память, вспомнят, свое детство. Вошла в книгу и повесть «Акадэмія на колах, альбо За вясёлкай наўздагон», а также несколько рассказов. Эти произведения написаны живо, увлекательно, что, несомненно, также свидетельствует о мастерстве М. Чернявского-прозаика.



Литературное содружество

Белорусские писатели в Татарстане

Наверное, еще придут исследователи белорусско-татарских литературных связей. И будут написаны статьи, книги, раскрывающие всю полноту картины. А пока что хотелось бы записать, обозначить некоторые факты, рассказывающие о присутствии уроженцев Беларуси, белорусов, занимавшихся литературой в Казани, Татарстане. И фактов таких немало...

Хотя Александр Николаевич Вознесенский родился в Ульяновской области, значительный отрезок его жизни, творчества связан с Беларусью, белорусской литературой. В 1921—1930 годах — доцент, затем профессор Белорусского государственного университета. Автор книг «Поэтика Максима Богдановича», «Основные принципы построения белорусской науки о литературе», «Современный белорусский театр (21—26 год)», «Традиция «формальных» (эстетических) изучений в науке о литературе». В 1939—1966 годах А. Вознесенский жил и работал в Казани. В 1943—1947 гг. занимал должность декана исторического факультета Казанского государственного университета. В библиотеке университета и сейчас хранится докторская диссертация Александра Николаевича «Исследования по истории новой белорусской литературы». Возможно, когда-то она все же будет издана монографией в Минске...

В Беларуси хорошо знают прозаика Алену Василевич, автора многих книг, адресованных детям. Ее рассказы в переводе на татарский печатались в журнале «Азат хатын». В годы Великой Отечественной войны будущая писательница работала библиотекарем в эвакогоспитале в райцентре Алексеево в Татарстане.

В 1931—1974 годах жил и работал в Казани белорусский критик, литературовед, уроженец Гродненской губернии Владислав Дзержинский (Чаржинский). Работал в Татарском институте повышения квалификации учителей, затем преподавал немецкий язык в Казанском медицинском институте. В Минске в 1928 году издал книгу «К вопросу о психологическом стиле нашенивской поэзии». «Наша Ніва» — одна из первых белорусских дореволюционных газет. В 1922—1929 гг. В. Дзержинский печатался довольно часто, был одним из самых авторитетных литературных критиков, исследователей национальной литературы. В 1931 году Владислава Викентьевича осудили как участника мифической «контрреволюционной националистической организации». И выслали на 5 лет в Казань. Оказалось, что на всю жизнь...

Писатель, общественный деятель Дмитрий Лаппо (1861—1936) родился в городе Белица Гомельского уезда Могилевской губернии (сейчас — в пределах Гомеля). Учился в Киевском университете. Приезжая на каникулы домой, вел агитацию среди рабочих Гомеля и крестьян окрестных деревень. В 1885 году арестован в Гомеле и выслан в Тобольскую, а затем Енисейскую губернию. В ссылке начал писать свои рассказы из белорусской жизни, используя впечатления из детства и юности. В 1892 году поселился в городе Чистополе Казанской губернии, занимался адвокатурой. Служил секретарем городской управы. Написал и издал

в 1897 году книгу по истории Чистополя — «Город Чистополь накануне реформы 17 июня 1870 г.». А еще двумя годами раньше, в 1895 году, в Казани увидел свет сборник прозы Дмитрия Лаппо «Белорусские рассказы». В 1896 году выдержал экзамен на звание юриста в Казанском университете. В 1900 году получил место мирового судьи при Красноярском окружном суде с откомандированием в Минусинск. В 1903 вернулся в Красноярск, работал прокурором окружного суда. В Сибири активно участвовал в общественной жизни, сотрудничал с местными газетами.

В 1942 году больным выпустили из тюрьмы многострадального белорусского историка и писателя Миколу Улащика. Николай Николаевич приехал к старшему брату Ивану в Ознакаево (Татарстан). Весной 1943 года, немного придя в себя, переехал в Казань, где в эвакуации находилась его жена. Академик Орбели помог Н. Улащику оформить паспорт и осенью того же года поступить в аспирантуру Института истории АН СССР. Именно М. Улащик впервые перевел на русский язык и опубликовал «Хронику Быховца», подготовил 2-томное издание белорусских летописей и хроник. В 1950 году был снова репрессирован, пять лет провел в Мариинском лагере. В 1955 году вернулся в Москву и до выхода на пенсию (1982) работал в Институте истории АН СССР.

Будущий белорусский литературовед Давид Факторович (1917—1993) родился в Саратове. После смерти родителей переехал к дальним родственникам в Казань, где окончил СШ № 15. В выпускном классе редактировал литературно-художественный журнал «Наш РоСТ». Поступил на литературный факультет 2-го Московского государственного университета. В 1945—1947 гг. работал деканом факультета журналистики Белорусского государственного университета. Давид Факторович — автор книг «Белорусская литература за рубежом», «Зарубежные литературы. Древняя Индия, Китай, Античность, Средние века, Возрождение, литературы XVII века», изданных в разные годы в Минске. В 1941—1942 гг. учительствовала и работала директором школы на станции Васильево Татарской АССР литературовед, доктор филологических наук Любовь Ивановна Фигловская (1908—1979). Несколько монографий Любовь Ивановна посвятила жизни и творчеству Якуба Коласа.

В 1941 году в эвакуации в Казани находился известный белорусский литературовед Владимир Михайлович Юревич. В начале Великой Отечественной войны в эвакуации в Чистополе учительствовал белорусский детский писатель Алесь Якимович. Еще в 1924 году он работал ответственным секретарем детского журнала «Искры Ильича». Первые книги А. Якимовича — «Стихотворения», «Победа», «Необычный медведь», «Запятая», «Коваль Вернидуб» — вышли еще в 1920—1930-е годы.

Отдельная тема — жизнь в Казани Янки Купалы. Об этом немало написано, в первую очередь, в самом Татарстане. И, наверное, еще будет написано. Белорусско-татарское литературное, культурное побратимство — это люди, личности, писатели, которые соприкоснулись с Татарстаном, а еще — многочисленные переводы белорусской поэзии, прозы на татарский язык, публикация этих переводов в татарских газетах и журналах. Известно, что на татарский язык в разные годы переводились произведения белорусских авторов Леонида Прокши, Адама Русака, Алеся Ставера, Максима Танка, Павлюка Труса, Нелли Тулуповой, Михася Чарота (отрывки одной из его поэм прозвучали на татарском еще в 1931 году!), Эди Огнецвет, Миколы Аврамчика, Максима Богдановича, Якуба Коласа, Янки Купалы, Франтишка Богушевича... Безусловно, и переводы, и сам факт работы над ними — серьезное проявление внимания, интереса по отношению к белорусской литературе.

Вероника ЛОЗОВСКАЯ

Жизнь в искусстве

Шутки с пиковой дамой

— А теперь скажите друг другу: «Я тебя люблю». Ну что же вы? Стесняетесь? — обратилась к публике актриса Эльвира Пишкинайте во время показа спектакля вильнюсского театра «Lele» на I Международном празднике-фестивале театров кукол «Лялькі над Нёманам» в Гродно.

Зрители поддались и, смущаясь, повторили три заветных слова.

С главным режиссером Гродненского областного театра кукол Олегом Жюгждой мы тоже говорили о любви, но исключительно к профессии, а еще о спорах с Достоевским, смешном Фаусте и первой истерике от встречи с искусством.

— Правда ли, что все дети любят театр кукол?

— Ерунда! Это распространенное, но ошибочное утверждение. Не все дети даже мультики любят. А театр — это демократичное и в то же время элитарное искусство. Он требует особого склада души. Тот, кого ребенком привели сюда, и своего отведет.

— Сколько лет было вам, когда впервые побывали там?

— Три года. Смотрел спектакль «Гусенок» в театре Образцова.

— И вы помните?

— Эта история давно стала семейной легендой. Спектакль настолько понравился, что я требовал продолжения. Культурный шок сменился истерикой. Всю дорогу, пока ехали в троллейбусе, орал, плакал. Дома меня отшлепали.

— Ощущение, что сегодня белорусские театры кукол сказки ставят реже, чем спектакли для взрослых. Словно стремясь избавиться от клише «детский».

— Нет, постановочный план остается планом. Все-таки в массовом сознании театры кукол прежде всего для детей. И от этого никуда не денешься. Сейчас репетируем «Царевну-лягушку». Будет веселая сказка. Но если актер из года в год играет только зайчика, пусть и очень хорошо, то постепенно теряет профессию. Необходимо работать с серьезной литературой, драматургией.

— То, что спектакль «Пиковая дама» Гродненского областного театра кукол стал абсолютным лидером II Национальной театральной премии, повлияло на решение местных властей поддержать новый форум театров кукол?

— Скорее сыграло роль то, что в нашем театре завершилась реконструкция.

— Почему не дали возможность гродненскому театру кукол оказаться в числе «Лялек над Нёманам»?

— Принципиально не хотел включать в программу фестиваля те наши спектакли, которые публика уже видела. А новый не успели сделать. Было много поездок по фестивалям. Плюс приняты новые правила по закупкам материалов, необходимых для производства декораций. Теперь мы должны приобретать их через электронные торги. Нужно провести тендер и заключить договор с поставщиком чуть ли не на год. А откуда я знаю, сколько фанеры, например, пойдет на последующие спектакли? Пока со всем этим разбирались, подготовительный период растянулся.

— Четко представляете формат фестиваля?

— Хочется создать атмосферу, чтобы режиссеры, актеры, критики, журналисты собирались на обсуждениях после спектаклей. Высказывали мнения, спорили. Думаю, не стоит гнаться за экзотикой. Интересных постано-

вок достаточно и в странах-соседках. Кроме белорусских театров, пригласили коллективы из России, Украины, Литвы и Польши. По крайней мере, я точно знал, чего ожидать. Участники фестиваля вырвались в Гродно из большого уважения к нам. Специально перекраивали графики.

— Вы много ставите за рубежом, участвуете в фестивалях. В каких странах наиболее разборчивая, требовательная публика?

— Европейский зритель все смотрит. Не важно, плохой спектакль или хороший. На одном фестивале какой-то немецкий театр показывал ну такую скучную постановку. Смотрел и думал: у нас в театре никого бы в зале не осталось.

— Столько раз приходилось видеть безликие спектакли в минских театрах и ничего — публика аплодировала стоя.

— Да, кто-то должен отвечать за вкус...

— Каждый за свой, разве нет?

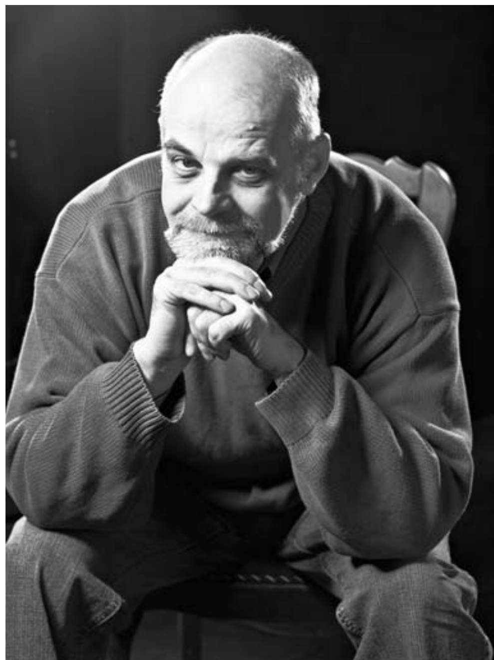
— А если в детстве его не привили?

— В вашем случае, кто и как делал эту «прививку»?

— Родители, бабушка. Всегда любил альбомы по живописи рассматривать и до сих пор люблю. Вырос в прекрасном городе Вильнюсе. Ходишь мимо старинных зданий, костелов и впитываешь. В 11 лет, когда стал более самостоятельным, садился на автобус и ехал в старый город, бродил по улочкам. Мне все было интересно. Много лет спустя впервые попал в Варшаву с группой советских кукольников. У нас было несколько свободных часов до поезда. Решили посмотреть Старое место. И я, исключительно благодаря знаниям архитектурных стилей, вывел к Замковой площади. Без карты.

— Ваши читательские пристрастия соотносятся с тем, что ставите? Книжные новинки могут найти отклик в премьерных спектаклях?

— Ходить в книжные магазины — большое разочарование. Думаю, вот бы все это раньше! Сейчас времени нет, да и книжки дорогие... Нового практически ничего не читаю.



— В этом сезоне вы поставили спектакль по «Преступлению и наказанию» в Рязанском государственном областном театре кукол. Наверняка ведь роман воспринимается иначе, чем когда проходили его в школе?

— Мне было лет 11, когда узнал про это произведение. Помню, как мамочка рассказывала: «Такая страшная книга. Когда прочла, как старушку убивают, всю ночь не спала». Мне стало интересно, как убивают старушку. Действительно — ужас! Возвращался к этой книге несколько раз. А тут, прежде чем ставить спектакль, прочел от начала и до конца. Пришлось переворошить. Получил массу удовольствия благодаря детективному сюжету, напряженной любовной линии и куче нюансов, которых раньше не замечал. Смешного много. Это не детское чтение, не школьная программа, а роман для сложившихся людей. Когда работал над спектаклем, попросил завлита подобрать выдержки из сочинений. Цитата: «Из замочной скважины на него смотрели глаза и совсем седые волосы». Или: «Такие девушки, как Соня Мармеладова, будущее нашей страны», «Старуха так посмотрела на него, что он рассердился и убил ее».

Большинство школьников именно так это произведение и воспринимает: про студента, который зарубил старушку.

— Бедный Федор Михайлович! Как у вас складываются отношения с классиками во время создания спектаклей? Давят авторитетом?

— С автором «Преступления и наказания» у нас шла борьба за каждую сцену, за каждое слово. Так написал, что ничего не выкинешь. Но задача режиссера показать не произведение, а свои впечатления от него.

— Можете описать впечатления от «Пиковой дамы»?

— С одной стороны — это ужастик. Но с другой — очень смешной текст. Пушкин же был веселым человеком. Хохмил, эпиграммы писал. Когда «Пиковую даму» делали, все время смеялись. Хорошо бы и с «Фаустом» так удалось.

— Беретесь за «Фауста»?

— Даже боюсь говорить об этом. Художник уже работает над эскизами. Литературная основа — Гете, Марло и немецкая народная книга.

— Не зря вас называют режиссером-мистиком...

— Ну, какой я мистик? По жизни — фаталист. Люблю загадывать. Приметы собирать. Искать взаимосвязь между событиями.

— Как говорил Булгаков, «Аннушка уже разлила масло». «Мастер и Маргарита» — ваша история с точки зрения режиссуры?

— Перечитал бы роман с удовольствием. Но ставить — нет. По моим внутренним ощущениям, если это и надо было делать, то лет 15 раньше. Когда первый раз прочел эту книгу, меня взбесил финал. Так был не согласен с вечным домом, с этой обреченной бесконечностью. С другой стороны понимаю: иного быть не могло.

— Помогаете актерам и куклам договориться между собой?

— Лично курирую: какими будут куклы, их управление, суставы. Заранее представляю, что они должны уметь делать. Проверяю, удобно ли с ними работать. Не все актеры могут быть кукольниками. Сначала нужно, чтобы персонаж ожил в тебе. Чтобы ты понимал, как он ходит, говорит. И все это должно соотноситься с обликом, который задан художником.

— Грустно расставаться с персонажами, которые отыграли свое?

— Многие попадают в музей театра. Или кто-нибудь из сотрудников забирает домой на память. Выбрасывать жалко, есть момент сентиментальности. В Индии, например, принято кукол сжигать. Считается, что за театральную жизнь в них поселяются демоны. Если спектакль поставлен по древнеиндийскому эпосу, например, «Махабхарате», куклы проходят обряд освящения. В этом есть указание на их историческую связь с неким религиозным священнодействием.

Наш Петрушка тоже не так прост. Этот персонаж символизирует жизнь и в то же время неотвратимость возмездия. Обычно он ведет себя не самым лучшим образом: дерется, но в конце концов его то собака за нос укусит, то черт схватит. Напоминание «Memento mori» всегда присутствует.

— Вы посмотрели на часы... А когда смотрите спектакль — чувствуете время?

— Если спектакль хороший — нет. Театр — какое-то вневременное пространство.

— А когда работаете над постановкой?

— Да. Четко знаю: сколько должен идти спектакль. «Фауст» — полтора часа. Но как это сделать — пока не знаю.

Ирина ЮДИНА

I Международный праздник-фестиваль театров кукол «Лялькі над Нёманам» проходил в Гродно с 10 по 13 мая.

Председатель жюри — Вадим Салеев, доктор философских наук, профессор. Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь.

Гран-при Форума — «Луна Сальери» по А. С. Пушкину (режиссер Руслан Кудашов, Брестский театр кукол).

Жизнь в искусстве

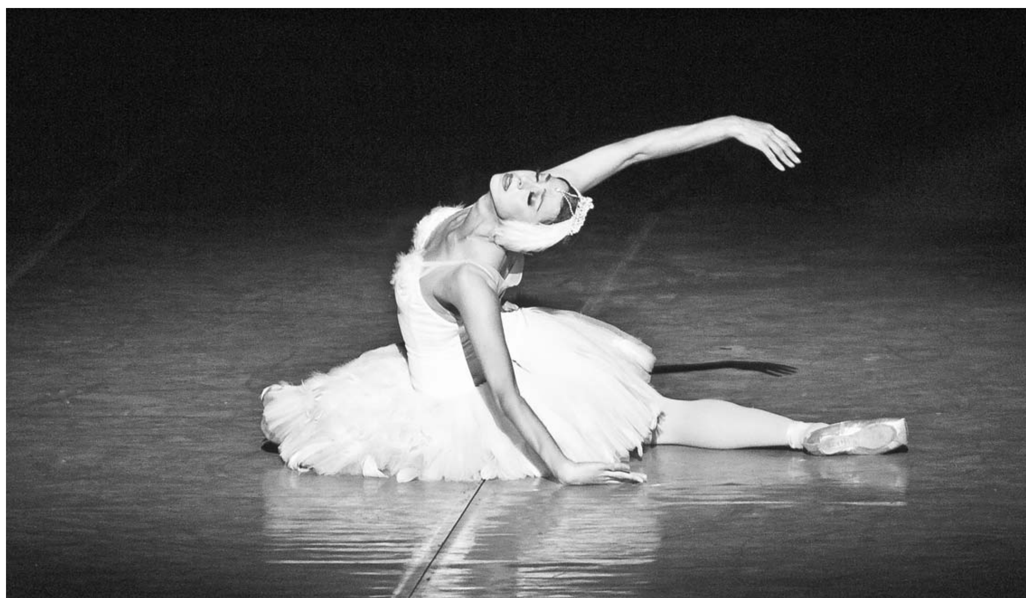
Юбилей Большого театра

В мае Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь отметил свой 80-летний юбилей. Коллектив получил множество поздравлений, в том числе и от высокопоставленных лиц, а к празднованию этого события стали причастными многие ведомства, учреждения и организации.

Так, Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпустило почтовую марку «Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь» и специальный почтовый конверт (художественное оформление Анны Малаш). На конверте изображено здание театра, а на марке — сцены из лучших оперных и балетных постановок, где представлены нынешние звезды Большого театра: солисты оперы Сергей Франковский и Оксана Волкова в спектакле «Набукко» и солисты балета Ольга Гайко и Игорь Артамонов в спектакле «Лебединое озеро». Эта юбилейная марка стала первой из новой серии почтовых марок «Театры Беларуси».

Во время пресс-конференции в театре прошла церемония гашения, которую осуществили генеральный директор РУП «Белпочта» Ирина Саксонова и генеральный директор Национального академического Большого театра Владимир Гридюшко. «Сто девяносто две страны, с которыми мы сотрудничаем в рамках Всемирного почтового союза, увидят наш прекрасный Большой театр и больше узнают о культурном потенциале Беларуси», — подчеркнула Ирина Саксонова.

Подарок к 80-летию театра преподнес и Национальный банк Республики Беларусь, который ввел в обращение золотые, серебряные и медно-никелевые памятные монеты «Беларускі балет. 2013» в нескольких номиналах: от 1000 до 1 рубля. (Интересная деталь: на одной из золотых монет вместо



Нина Ананиашвили на концерте в юбилейный вечер.

точки в букве «і» вставлен бриллиант.) На лицевой стороне монет вверху представлено рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь, а в центре — фронтальное изображение здания театра после реконструкции. На оборотной стороне монет — изображения фрагментов из балета «Лебединое озеро» (народная артистка Беларуси Ольга Гайко в партии Одетты-Одиллии). «Не случайно и на монетах, и на марке изображены сцены из «Лебединого озера», — отметил Владимир Гридюшко, — это самый любимый и самый «народный» спектакль в репертуаре нашего театра. Только представьте: с 1938 года он претерпел шесть редакций и был показан на нашей сцене 1306 раз!»

Юбилейные монеты и марка будут представлять интерес не только для тех, кто интересуется историей театра, но и для коллекционеров — нумизматов и филателистов.

К юбилейным торжествам была приурочена и выставка произведений известной белорусской художницы Оксаны Аракчеевой, которая экспонировалась в зрительском фойе Большого театра. В последнее время художница работает над созданием портретов наших известных соотечественников, внесших значительный вклад в культурную жизнь страны. На ее творческом счету уже более ста таких работ. В нынешнем году галерея пополнилась портретами ведущих солистов белорусского балета: Игоря Артамонова, Марины Вежновец, Ольги Гайко, Ирины Еромкиной, Дениса Климука, Антона Кравченко, Людмилы Кудрявцевой, которые предстают в образах наиболее ярких персонажей из лучших балетных спектаклей.

В этот юбилейный для театра год издательство «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» выпускает «Большую энциклопедию Большого театра Беларуси». Это уникальное издание отражает весь творческий путь главного театра страны — от его основания до наших дней — и показывает его роль в развитии культурного пространства Беларуси. В книге представлено огромное количество уникальных фотодокументов из архива театра, многие из которых публикуются впервые. Предваряет издание тематический очерк, в котором рассказывается об истории и современном творческом статусе театра. Алфавитная часть энциклопедии включает около двух тысяч статей, посвященных как теоретическим вопросам театрального искусства, так и постановкам, артистам, композиторам, дирижерам, режиссерам, балетмейстерам, хормейстерам, художникам театра и его руководителям. Превосходное полиграфическое исполнение и эксклюзивные дизайнерские элементы оформления придают этому изданию неповторимый и запоминающийся образ.

Кульминацией празднования юбилея театра стал грандиозный гала-концерт звезд оперного и балетного искусства, в котором приняли участие не только лучшие творческие силы белорусской труппы, но и приглашенные артисты с мировыми именами. А за дирижерским пультом в тот вечер сменяли друг друга пять маэстро: Виктор Плоски́на, Вячеслав Волич, Николай Колядко, Иван Костяхин и Андрей Иванов. Подготовил это грандиозное по масштабу и зрелищности действо главный режиссер Национального академического Большого театра Михаил Панджавидзе.

За прошедшие 80 лет Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь стал одним из самых ярких символов нашей страны. По статистическим данным — он самый популярный среди зрителей республики. А от всей театральной публики Минска его аудитория составляет 40 процентов. Каждый вечер сюда приходит более тысячи человек. Как отметил генеральный директор театра, в течение только 2012 года здесь побывало 254 тысячи зрителей. В то же время, более 160 тысяч зрителей посетили в прошлом году спектакли нашего театра за рубежом. Без преувеличения, белорусских артистов знают и ждут во многих странах. Только в прошлом году они представили свое искусство в Литве, Нидерландах, Германии, Австрии, Польше, Эстонии, Испании, Великобритании, Франции... Подписано 20 меморанду-

мов о двустороннем сотрудничестве с крупнейшими театрами ближнего и дальнего зарубежья, что предусматривает гастрольную деятельность, обмен солистами и исполнительскими коллективами, совместные творческие проекты, участие в различных конкурсах, фестивалях и т. п.

Одним из наиболее масштабных международных творческих проектов театра стал Минский международный Рождественский оперный форум, в рамках которого наш Большой представляет публике премьерные спектакли года с участием приглашенных исполнителей и гостевые постановки ведущих зарубежных театров. География этого форума охватывает 20 стран Европы. В прошлом году в рамках Рождественского форума в Минске впервые прошел всемирно известный международный конкурс исполнителей итальянской оперы «Competizione dell'Opera».

В то же время, Большой театр стремится доносить свое творчество как можно большему количеству белорусских зрителей. С этой целью в 2011 и 2012 годах были открыты филиалы театра в Могилеве и Новополоцке, а до конца нынешнего года планируется открытие филиала в Гомеле.

Все большую популярность приобретает и такой уникальный проект, как «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов», призванный расширять приобщение публики к лучшим образцам белорусской и мировой классики. И не случайно местом проведения этой акции выбран Несвижский замок, в стенах которого в XVIII веке происходило зарождение белорусской оперной культуры.

Зоя ЛЫСЕНКО
Фото Михаила НЕСТЕРОВА.

Дата

Людмила Саенкова. Монолог о кафедре

Кафедре литературно-художественной критики Института журналистики Белорусского государственного университета исполнилось 15 лет. Это важное событие. Вряд ли сегодня хоть один отдел культуры (и не только культуры) СМИ нашей республики окажется «не укомплектован» выпускником этой кафедры или (до появления) выпускником ее основателей — известного кинокритика, профессора Ефросиньи Леонидовны Бондаревой и известного театрального критика, профессора Татьяны Дмитриевны Орловой. Вряд ли хоть в одном белорусском издании (а часто и в различных зарубежных газетах и журналах) не публиковались преподаватели кафедры, которые не только занимаются научной работой, но и активно выступают в СМИ, ведут передачи на радио, участвуют в жюри крупных Международных кино- и театральных фестивалей. Большинство тех текстов о современном белорусском искусстве, которые вы читаете в газетах, просматриваете в интернете, тех новостей, которые слышите по радио или за которыми следите на телеэкране, написаны, сняты, подготовлены к эфиру выпускниками и преподавателями кафедры. Кстати, возникшей в очень интересное время. В 1998 году кафедра теории и практики современной печати тогда еще факультета журналистики БГУ из одной превратилась в три: периодической печати, социологии журналистики и литературно-художественной критики, — что, конечно, стало знаковым событием для системы белорусского журналистского образования. О том, как начиналось это большое дело 15 лет назад, мы попросили рассказать заведующую кафедрой, кинокритика, доцента, кандидата филологических наук Людмилу Саенкову. Рассказ начался с ответа на вопрос: «Помните ли вы 27 мая 1998 года, день рождения кафедры литературно-художественной критики?»

Помню, я очень хорошо помню этот день. Май в 1998 году был роскошный: зеленый, солнечный, свежий. Я помню это состояние природы — оно очень хорошо ложилось на состояние души. Очень хорошо помню и то, что предшествовало этому дню. Деканом стал Василий Воробьев. Чуть ли не в каждом интервью я говорю о том, что многое сделала для того, чтобы организовать кафедру, оформить все документально. Но у ее истоков стояли два человека — Бондарева и Орлова. Как, почему? Своим присутствием. Вот просто потому, что они такие особенные были на факультете, и потому, что они так много всего организовывали культурного и значимого. Потому, что они так много писали и так много говорили о важности культуры и искусства, что эта сфера стала одним из основных пространств факультета. Я просто случайно оказалась в одном времени с этими двумя замечательными женщинами. Было много других хороших студентов, которые могли закончить журфак, стать преподавателями, а потом возглавить кафедру. Но такой жребий достался мне. Возможно, мое присутствие в этом процессе случайное: мне досталось самое малое, что нужно было сделать, — оформить все документально. Мне остается только соответствовать той высоте, которая была задана преподавателями факультета и, в особенности, Ефросиньей Леонидовной Бондаревой и Татьяной Дмитриевной Орловой. До этого мне предлагали возглавить кафедру теории и практики современной журналистики. Но я отказалась, потому что думала, что не готова пока к такому ответственному и весьма непростому делу. А потом Василий Петрович стал деканом и подал идею организовать отдельную кафедру. Это было очень здорово и своевременно, потому что идея носилась в воздухе, а с его приходом получила конкретное воплощение. Приказы были подписаны, кафедра была организована, и, кстати, получилось, что на базе одной — теории и практики современной журналистики — образовалось сразу три: периодической печати, социологии журналистики и литературно-художественной критики. И еще я запомнила: был роскошный банкет на факультете — мы праздновали образование трех кафедр. Это было как-то очень торжественно, необычно. Сразу три кафедры: раз — и появились новые. У нас было ощущение, что жизнь развивается, что все будет намного интереснее.

Тогда, еще до подписания документов, мы были фактически втроем (Бондарева, Орлова и я), хотя для того, чтобы открыть кафедру нужно как минимум пять человек. Потом к нам пришла из Академии наук Татьяна Дасаева — четвертый человек. И пятая была лаборантка — Ира Венско. А еще Дмитрий Федоров, доцент, преподаватель филфака БГУ, работал у нас совместителем. Такой компанией мы начинали. Сначала все три кафедры жили под одной крышей, в одной аудитории. Жили дружно — даже расходиться не хотелось, но с первого дня чувствовалось, что у кафедры литературно-художественной критики своя специфика. И Василий Петрович выделил нам отдельную аудиторию на пятом этаже (тогда корпус журфака находился на ул. Московская, 15 — *Е. М.*). Помещение было маленькое, и мы жили там, как в сказочном домике, но всем находилось место — жили очень дружно. Это было очень хорошее время... Теперь я возвращаюсь памятью назад и думаю: как мы неблагодарны к своему настоящему времени. Живем — и все нам не так: и тесно, и хорошо бы расшириться, и хорошо бы отдельный кабинет. А когда наступает материальное благополучие и пространство расширяется (мы живем сейчас в таких роскошных условиях), то оказывается, что не в этом дело: ни в пространствах и стенах, а в чем-то совсем другом. Теперь я вспоминаю то время, и думаю, что оно было самым счастливым для нашей кафедры. Мы были молоды, и начинали все одинаково, и каждый в равной степени был причастен к формированию единого целого. Никаких амбиций, никаких гордынь, помогали друг другу, радовались — чувствовали, что мы едины. И нас это очень согревало, нам помогало это ощущение, что мы — единственные и в чем-то даже уникальные.

Я поняла: чтобы кафедра жила и у нее появились свои студенты (специальности тогда не было), нужно было организовать общее для студентов и преподавателей дело. Таким делом стали конференции, посвященные вопросам искусства: мы говорили о творчестве Клода Моне, Леона Бакста, Сальвадора Дали, Марка Шагала. Мы провели много таких конференций, и мне нравилось их готовить: цель была одна — приобщить студентов к искусству. Но в этом деле я не новатор: в студенческие годы я сама была участницей таких конференций, которые проводили Орлова и Бондарева. Помню конференцию, посвященную художественно-критическому наследию Луначарского (который, как известно, был замечательным критиком), посвященную творчеству Микеланджело, импрессионистов, кино. Сейчас трудно представить, чтобы факультет проводил такую конференцию, а тогда это было в порядке вещей. В общем, конференции были одними из первых шагов, чтобы кафедра стала примечательной именно для студентов. А потом дело как-то пошло дальше. Стали защищаться докторские диссертации. Татьяна Дмитриевна загорелась театральной журналистикой. Я помню, в какой она была замечательной творческой форме, как она горела этой темой, искала и очень скоро написала докторскую диссертацию. Я считаю, что это был первый успех нашей кафедры, крупный успех. Потом Татьяна Дасаева защитила докторскую диссертацию по теме «Поэтика лиризма в белорусской прозе». Мы набрали свой штат аспирантов...

У нас есть свой талисман. Человечек на часах... Когда нам дали комнату на Московской, мы пошли ее убирать и вдруг нашли тряпичную игрушечку. Ее нашла Ира Венско, нашла и говорит: «Ой! Чем-то на Бондареву похожа...» Мы присмотрелись — и правда. Ну, вот с тех пор она на кафедре все время, при часах: следит за нашим временем, охраняет наше время. Получается, что Бондарева с нами всегда.

Имя Бондаревой у нас постоянно звучит. Главным образом у тех, кто обращается к ее работам, к ее памяти. О ней говорят те, кто ее хорошо знал, да и нынешние студенты, которые ее никогда не видели, теперь пишут научные работы по ее статьям, книгам. Особенно эта личность дорога тем, кто у нее учился. Вот Артем Ковалевский (ныне известный поэт, переводчик) писал у нее дипломную работу. Потом стал преподавателем нашей кафедры. Меня в этом молодом человеке покорило отношение к своему учителю. Когда Ефросинья Леонидовна перестала преподавать и когда мы говорили о ней, у него всегда в глазах были слезы. У журфаковских людей есть ощущение традиции и уважение к своим преподавателям, которые многое им дали.

Сейчас у меня особенная потребность в таких людях, как Ефросинья Леонидовна. Мне важно именно с такими людьми общаться, спрашивать у них совета. Так порой трудно бывает, а учителей уже практически и нет. Я была бы сейчас другой. Тогда могла поартачиться, поупрямиться, не согласиться, поспорить. Сейчас бы я ни с кем не спорила, ничего бы не стала доказывать, приняла так, как есть, но время, к сожалению, ушло. А ее не хватает. Вот такого человека не хватает: прямого, откровенного, честного. В чем-то резкого, но абсолютно не злобного. У Бондаревой была способность говорить самую резкую критику так, что даже начальство на нее не обижалось. Начальству она была неудобна, но никто на нее не обижался. Принимали такой как есть. Удивительное качество. Часто вспоминаем, как она вела себя на занятиях, как она приносила сушки в кинотеатр — подкормить студентов. Хохочем, вспоминая... Как не хватает ее сейчас — тоска. Тоска вот по такому типу человека вообще...

Как ни странно, я стала к ней, к ее статьям обращаться чаще, чем, когда она была рядом. В 2012 году мы готовили конференцию, посвященную ее 90-летию, и я перечитала все, что было написано Ефросиньей Леонидовной. Для меня там очень много современных вещей. И теперь я понимаю, что Бондарева была единственным человеком в Беларуси, который стал осмысливать кинокритику на теоретическом

уровне, как отдельный вид творческой деятельности.

Я вообще за то, чтобы связи со всеми, кто когда-то работал на кафедре, не прерывались никогда. Чтобы они поддерживались не формально. Даже завела фотостенд. Теперь у нас на стене портреты всех, кто работал и работает на кафедре.

Я не заметила эти 15 лет. Хотя много чего было в этих годах: и потери, и радости, и горести, и удивления. Не знаю, сколько мне предстоит пробыть на кафедре, но я бы хотела, чтобы все те, с кого кафедра началась и благодаря кому существует сегодня, сохранились в памяти у будущих поколений...

Записала Елена МАЛЬЧЕВСКАЯ.

Книгосфера

Искусство критика и критика искусства

Зачем люди поклоняются коврам, шапкам и другим трэш-культам интернета? Падает ли на современную белорусскую литературу тень стабильности? Что представляет собой феномен «гостевой» критики? Вопросы есть… Ответы тоже!

В 2009 году в Белорусском государственном университете кафедрой литературно-художественной критики Института журналистики была основана серия «СМИ и художественная культура». За четыре года в этой серии вышли три сборника научных трудов, посвященных самым актуальным проблемам современного искусства и его анализа.

Первый сборник «Произведение искусства — предмет анализа критика» вышел в 2009 году. Его предисловие стало своеобразным «манифестом» серии, в котором говорится о смелости и ответственности журналиста, который называет себя критиком, и его праве идентифицировать себя именно так. Об отходе от движения по инерции и стереотипов. О движении от теории к практике. О проблемах взаимоотношений критика и прессы. В фокусе внимания авторов оказались подходы к анализу произведения искусства как критики вообще, так и кинокритики, критики произведений изобразительного искусства, театральной, литературной, музыкальной критики в частности.

Второй сборник серии «Время. Искусство. Критика», посвященный юбилею заслуженного журналиста Республики Беларусь, театрального критика, доктора филологических наук, профессора и преподавателя кафедры Татьяны Орловой, увидел свет в 2010 году. Следующий — «Массовая культура и журналистика», где впервые были рассмотрены некоторые особенности массовой культуры в литературно-художественной критике — был выпущен в 2012 году.

Важность появления этих книг трудно переоценить. Переход к информационному обществу изменил наше сознание. На первый взгляд, очень простая и ничем не примечательная вещь: современный человек, столкнувшись с неизвестным фактом или явлением, вбивает заброс в строку интернет-поисковика и мгновенно получает ответ. Обыденно. А теперь представьте, что уже выросло поколение, которое не представляет, что может быть по-другому. Ровно так же как человек постарше имеет смутное представление о мире без электричества. Интернет, гаджеты и девайсы изменили мир — и он никогда не будет прежним. Осмысле-

ние нового устройства мира, новых явлений, нового типа сознания, новых условий существования и распространения информации сегодня необходимо на всех уровнях, во всех отраслях. Тем более, что процессы трансформации продолжаются. Какое место в информационном пространстве сегодня должна занимать культура? Как нужно анализировать произведение искусства, как писать о нем. Пространство пересечения искусства и журналистики, науки и практики — область, в которой сегодня явления современного искусства осмысляются, анализируются, вписываются в контекст, лишаются маргинального статуса и определения «феномен» гораздо чаще, чем исключительно в академическом искусствоведении. Это подтверждают и темы статей из сборников научных трудов: «Интернет-критика: предварительные исследовательские оценки феномена», «Художественная критика Беларуси в интернете: характерные черты, контент сайтов, популярные ресурсы», «Коммуникативно-художественная практика в пространстве киберкультуры: pro & contra», «Создание трэшкультов в современном интернете».

Уникальность соединения практического и теоретического опыта в изучении современной культуры и текстов о ней, а также стремление к фиксации, описанию и анализу явлений современности — эти особенности отличают



сборники серии «СМИ и художественная культура». Среди постоянных авторов сборников — ученые, преподаватели, журналисты, критики: Людмила Саенкова, Татьяна Орлова, Петр Васюченко, Галина Богданова, Владимир Капцев, Дарья Перегудова, Наталья Агафонова, Лариса Тимошик, Оксана Безлепкина и многие другие. Кстати, к выходу готовится четвертый сборник серии, который будет посвящен жанровым трансформациям в искусстве, критике и журналистике.

Марина ИВАНОВА



Авторы номера

ЖДАН (Пушкин) Олег Алексеевич. Родился в 1938 г. в Смоленске (Россия). Окончил историко-географический факультет Могилевского педагогического института и Литературный институт им. М. Горького. Прозаик, драматург, переводчик. Автор многих книг прозы. Живет в Минске.

КАРИЗНА Владимир Иванович. Родился в 1938 г. в д. Закружка Минского района. Окончил Белорусский государственный университет. Поэт, переводчик. Автор многих книг поэзии и сборников песен, а также текста Государственного гимна Республики Беларусь. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь и Премии профсоюзов Беларуси. Живет в Минске.

МИЛАНОВИЧ (Тумилович) Жанна Владимировна. Родилась в Минске. Окончила Белорусский государственный политехнический институт. Прозаик. Автор книг «Презумпция любви», «Напиши мне о счастье». Живет в Минске.

ДЕВА Наталия (Ковынева Наталья Александровна). Родилась в 1948 г. в Вильнюсе (Литва). Окончила «Краткие литературные курсы» при БГУ и «ЕШКО» по журналистике. Печаталась в альманахе «Катарсизм». В «Нёмане» публикуется впервые. Живет в Минске.

ШЕМЕТКОВА Наталья Геннадьевна. Родилась в 1973 г. в Гомеле. Окончила Белорусский государственный университет транспорта. Поэт, прозаик, публицист. Печаталась в республиканских периодических изданиях. Живет в Гомеле.

КАЗАКЕВИЧ Вечеслав Степанович. Родился в 1951 г. в г. п. Белыничи Могилевской области. Окончил Ленинградское Высшее военно-политическое училище, филологический факультет МГУ. Автор многих книг поэзии и прозы. Лауреат премии им. М. Горького за лучшую первую книгу. Живет в г. Тояма (Япония).

ХЕЛЛЕ Хелле (Ольсен Хелле). Родилась в 1965 г. в г. Наксков (Дания). Окончила Школу писателей и отделение литературы в университете г. Копенгаген. Автор сборников рассказов «Пример жизни», «Автомобили и животные», романа «Представление о несложной жизни с мужчиной» и др. Живет в Дании.

БОБРОВСКИЙ Иоганнес. Родился в 1917 г. в Тильзите (Германская империя). Окончил Берлинский университет имени Вильгельма фон Гумбольдта. Автор нескольких книг поэзии, сборников новелл, романов «Мельница Левина», «Литовские клавиры» и др. Умер в 1965 году в Берлине.